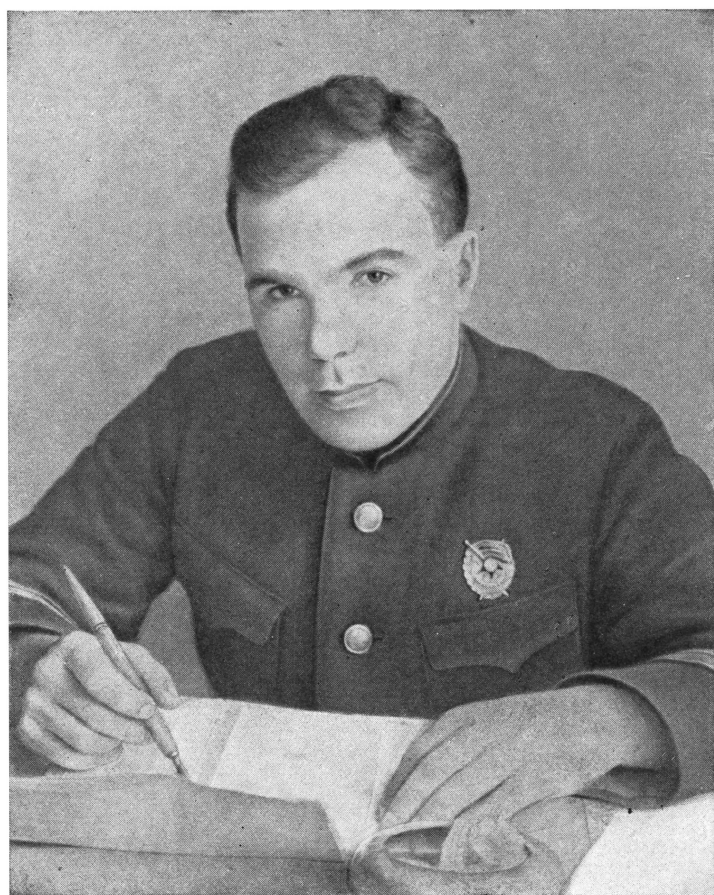


ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ — ВОЙНА

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

ВОЙНА





ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

В О Ё Н А

э п о п е я

В О Е Н Н О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

М О С К В А

1 9 5 6

РОМАН-ЭПОПЕЯ ВСЕВОЛОДА ВИШНЕВСКОГО

При жизни Всеволод Вишневский был известен преимущественно как драматург; его ранние очерки, составившие несколько небольших сборников, были изданы в конце двадцатых годов и с тех пор не переиздавались; несколько опубликованных им рассказов были напечатаны в журналах как отрывки задуманного цикла «Матросы». Но весь цикл писатель закончил лишь в 1940-м году и не успел полностью его опубликовать. Только недавно, уже в посмертном собрании сочинений, мы познакомились с Вишневым — прозаиком и смогли увидеть, как влекла его работа над прозой, как необъятно-широки были его творческие планы и как велика была мера взыскательности, с какою подходил он к осуществлению этих, годами вынашиваемых и непрерывно корректируемых планов.

Записные книжки Вс. Вишневого, к которым он обращался каждый день, хранят сотни записей, не только излагающих замыслы прозаических произведений, но и представляющих собою ценнейшие свидетельства самого отношения писателя к труду прозаика, — отношения бескомпромиссно-ответственного, неуступчиво-требовательного, до жесткости взыскательного и страстного.

Вот одна из этих многочисленных записей. Она сделана в новогоднюю ночь, в канун наступающего 1935 года, когда писатель наедине со своей записною книжкой размышлял о том, что им сделано, и ставил перед собою новые задачи.

«Тянет к прозе», — записал он тогда. И тут же, словно в споре с собою, словно сдерживая себя и себе возражая, попытался определить, чем именно является проза для художника слова: «И в то же время: она же жизнь, душа, тайны! Нести всё напоказ? Можно ли? Нужно ли? Как в сущности странно и трудно в литературе. Внутренне зрею, и вместе с тем — переходность. Кризисно очень: справлюсь ли с прозой? А внутри новые и новые главы, образы.

мысли, углы освещения эпохи, — новые в сути, а уже не в поиске формы, как было в 1930—32 годах...»

Очень характерная запись. И удивительно верно в ней сказано, что зрелость, пришедшая к художнику, отнюдь не облегчает его труда; напротив, она увеличивает его взыскательность и заставляет решать новые, всё более трудные и сложные задачи. Как часто в критических статьях мы встречаем привычные слова об «уверенном мастерстве» писателя! И как редко раскрывается, — с тою наглядностью, с какой раскрыто это в записи Всеволода Вишневского, — сколько сомнений, внутренних споров, напряженных поисков скрывается в действительности за этим «уверенным мастерством»!

Последняя фраза этой записи — о новых главах, углах освещения эпохи, об углублении «в суть», — относится к работе над эпопеей «Война». И оборачиваясь на пятилетие назад, сравнивая свой нынешний труд с поисками 1930—1932 годов, писатель говорит об одной и той же рукописи, над которой не прекращал он работы на протяжении всех этих пяти лет.

Первые замыслы романа-эпопеи были сформулированы Вс. Вишневским еще осенью 1929 года. Два года спустя, в день 14-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, на страницах «Литературной газеты» были опубликованы ответы большой группы советских писателей на вопрос, заданный редакцией: «Что вы дадите к Пятнадцатой годовщине Октября?» Среди ответов, напечатанных 7 ноября 1931 года, был также и ответ Всеволода Витальевича Вишневского:

«Дам «Войну», — отвечал он. — ...Отзывы Максима Горького и Теодора Драйзера о «Первой Конной» и их совет взяться за новую большую тему — подвинули меня.

...Каждый понимает, что в двух—трех десятках строк, да еще автору, трудно что-нибудь сказать о произведении в 35—40 печатных листов, являющемся результатом двадцатилетних военных и политических наблюдений. Книга покажет Россию 1912—1917 годов...

Форма? Не установленная критикой. Форму устанавливают художники (в форме: война — борьба — полемика с нашими противниками в области искусства, философии...).

Объем указан. Готовность на 3 ноября 1931 года — 75 процентов. Работаю два года. Заготовки дальние...»

Вишневский и этот свой анкетный ответ писал с тем особым, свойственным ему лаконизмом, где за отрывочными словами коротких фраз ощущались напряженные творческие раздумья, упорные поиски, непрестанная работа мысли художника. Здесь он говорит о поисках формы; пять лет спустя, встречая за письменным столом

Новый год, он запишет свои мысли о необходимости искать «новое в сути», справедливо отмечая это как примету зрелости. Несмотря на то, что в 1931 году автор считал свою работу на три четверти выполненной, он не завершил ее, как предполагал, год спустя. Планы книги изменились, расширились. В огромном количестве сохранившихся в архиве писателя планов, черновиков, выписок из множества исторических и статистических трудов отразилось непрерывно продолжающееся обдумывание содержания и формы книги, которая, по замыслу писателя, должна была духовно вооружить советских людей в преддверии надвигавшейся новой войны.

В январе 1933 года он записал на подвернувшемся под руку отдельном листе бумаги свою неотступную мысль:

«Сейчас, работая над «Войной» — неровно, внутренне, «подоплечно», — я все время опасуюсь: успею ли? Опасность войны прокатывается шквалами: 1923, 1927, 1930, 1932. Наиболее близка, вероятно, война сейчас».

Это ощущение непосредственной военной угрозы возникало у Вишневого в связи с активизацией германского фашизма. Писатель с неослабным вниманием следил за событиями в Германии, и уже со времен первых фашистских путчей двадцатых годов распознал под истерической демагогией Гитлера и его приспешников то отравленное оружие, которое сможет быть использовано капитализмом в его борьбе против пролетарского революционного движения. Приход фашизма к власти при поддержке крупного капитала и реваншистской прусской военщины Всеволод Вишневский оценил верно, и, как художник, неразрывно связывающий свой литературный труд с жизнью советского общества, он сразу же вывел для себя из этой оценки новые, наиболее острые творческие задачи.

В бумагах 1935 года мы находим такую запись:

«Война» — поэма истории. Надо драться... Я должен. Должен!.. Если осталось полгода, год до новой войны, надо успеть!»

Но стремление закончить начатый роман скорее не должно было, не могло ослабить требовательности к качеству книги. Взыскательное чувство ответственности за свой литературный труд было присуще Вишневскому в чрезвычайно высокой степени. Писатель вновь и вновь возвращался к рукописи «Войны», отделявая, оттачивая главы, вводя новые линии и углубляя первоначальный замысел. «Сколько за шесть лет упорных исканий! — писал он в октябре 1935 года. — Дотронулся до «Войны», и все беспредельно развилось... Это суть моей работы, мой «жизненный подвиг» — проза...»

В 1936—1937 годах Вишневский много ездил по Европе. Он был в сражающейся Испании и почти все время, проведенное там, пробыл на передовой линии, в рядах сражающихся республиканских батальонов. Незадолго перед тем на экранах Мадрида и Барселоны, на полевых бивуаках республиканских частей демонстрировался русский фильм, снятый по сценарию Вишневского, — «Мы из Кронштадта». В газетных рецензиях, в многочисленных выступлениях и письмах бойцов, смотревших фильм, говорилось о том, что героическая кинопоэма о революционных балтийцах несла зрителям Испании, поднявшейся на трудный бой за права народа, не только эстетическое наслаждение; фильм учил тому, как надо сражаться против угнетателей и эксплуататоров. И это-то свидетельство было для Всеволода Вишневского самым дорогим. Он и от прозы своей стремился добиться того же. Он считал, что благородная роль искусства, труд и цели художника в том именно и заключаются, чтобы дать народу не пустые, красивые игрушки, но оружие, необходимое в борьбе за счастливое будущее человечества. Выступая в Париже с трибуны Второго международного конгресса писателей, Всеволод Вишневский говорил:

«Опасность войны надвигается все ближе... Судьба может сделать так, что всем нам придется вновь встретиться на фронтах. Еще более укрепим себя идейно, профессионально, технически и физически для грядущей борьбы. Поставим себе целью влить в наши ряды новые сотни новых друзей, писателей мира. Двинем в ход наши новые книги, поэмы, фильмы... Не будем терять ни одного дня!»

Возвратившись из длительной поездки за рубеж, вдохнув насыщенный тревогой воздух предвоенной Европы, писатель с особым рвением принялся за окончательную доработку «Войны». Однако ему не удалось целиком отдаться этой работе. Обширной и трудоемкой была общественная работа, какую вел в ту пору писатель: и журнал «Знамя», и оборонная комиссия Союза писателей создавались в значительной мере благодаря энергичной инициативе Вишневского; он работал и в редакции, и в комиссии много и увлеченно, читал огромное количество рукописей и вел с авторами обширную переписку, не делая различия между опытными писателями и молодыми, относясь к труду тех и других с равной мерой взыскательности и заинтересованности. К тому же, кроме романа «Война», ему нужно было в то время заканчивать роман-фильм «Мы, русский народ». Наконец, тогда же ему было дано поручение, которое не могло его не увлечь: Вишневскому поручили создать сценарий для фильма о Первой Конной — «В 1920 году».

Но в эти дни напряженной работы он записывал в своем дневнике: «Все время о «Войне» думаю...»

Десятилетний труд над книгой завершен был почти целиком только в 1939 году. Однако писателя, по всей вероятности, не удовлетворял финал книги, и он продолжал искать заключительную главу, которая должна была, видимо, последовать за главою «Возвращение каторжан». Вскоре он записал:

«Финал «Войны» найден! Ура! Идет вал: штурм Зимнего. (Силы неизмеримые.) Убитый (матрос) улыбается. Это улыбка в века — Архимеду. Точка опоры найдена!..»

Такой финал был одновременно и реалистическим, и полным большого философского смысла (победоносное движение революционных масс — «рычаг», доподлинно переворачивающий земной шар, со всеми его историческими судьбами). И, кроме того, этот финал связывал роман с «Оптимистической трагедией», с «Мы из Кронштадта» — со всей творческой линией писателя; он вырастал из той же, всегда вдохновлявшей Вишневского, идеи торжества новой жизни, осознанной людьми, не щадившими себя во имя победы.

В новой главе должны были также получить развитие и завершение те сюжетные линии, которые позволили бы еще шире показать читателю роль партии большевиков в канун Великой Октябрьской социалистической революции. «Руководство Ленина. Роль «Правды», — вот короткие тезисы, записанные в одном из последних планов, в котором писатель намечал направление работы над новым финалом.

Осуществить этот план и написать окончательный, до деталей продуманный им эпилог «Войны» Вишневский не успел. Ему пришлось оставить рукопись в ящике письменного стола, отправившись на боевые корабли Балтийского флота, чтобы принять участие в зимней кампании 1939/40 года против белофинской военщины. Не удалось писателю осуществить свой замысел и весной 1940 года: отвлекли новые командировки, накопившаяся работа в редакции «Знамени» и в Союзе писателей, связанная с обобщением опыта, накопленного большой группой писателей в результате их участия в боевых действиях Советской Армии.

Затем началась Великая Отечественная война.

Рукопись, которую уже в 1939 году автор считал в основном завершенной (за исключением оставшейся ненаписанной финальной главы), не была опубликована и в последующие годы. Это произошло по причине строгой творческой требовательности писателя к себе, а также по причине столь органически присущего Вишневскому постоянного стремления во что бы то ни стало, каждым новым своим произведением, — пусть даже написанным на истори-

ческую тему, — ответить читателю на самые насущные его сегодняшние вопросы, поспеть за стремительным течением жизни.

Работая над «Войной» и ограничив вначале всю тему событиями одного пятилетия, писатель всегда помнил, что он обращается к современникам и к будущим поколениям; он стремился показать прошлое так, чтобы в нем были очевидны истоки и корни грядущих событий, и поэтому непрерывно ставил перед собой новые задачи. В дневниках, которые вел Вишневский во время Великой Отечественной войны, есть ряд записей, свидетельствующих не только о том, как много места занимала работа над «Войной» в творческих раздумьях и рабочих планах писателя, но и о том, что он намеревался продолжить свою эпопею вторым томом, посвященным героической обороне Ленинграда.

Он записал 5 апреля 1942 года:

«Как мы пропитаны темой Ленинграда — вчера, сегодня, и завтра, и снова и снова!.. Мысли, ассоциации, сны — все связано с городом... Тема этого города владела мною с такой силой только в тридцатых годах, когда я писал «Войну» (я ее еще не опубликовал) и «Мы из Кронштадта».

Это лаконическое замечание в скобках — о том, что «Война» до сих пор не опубликована, — звучит как укоризненное напоминание самому себе, как мысль о любимой работе, преследующая художника и не дающая ему освобождения, пока он не завершит свой труд...

И — еще запись, сделанная 23 августа того же года:

«Вспомнился старый Петербург — его запахи, места прогулок. И увидел я мысленно рукописи своей «Войны»...

Рукописи оставались в Москве, в рабочем кабинете; они как бы были частью далекого предвоенного быта писателя, но Вишневский мысленно возвращался к ним снова и снова, обогащенный новым опытом, новым пониманием поведения человека в войне, и хотел этим опытом, этим новым пониманием обогатить сделанное, очистить и усилить краски, еще более углубиться в историю во всеоружии своего современного опыта, чтобы сделать свою книгу еще более важной и нужной сегодняшнему читателю. Поэтому еще через три с половиною месяца, 13 декабря 1942 года, Всеволод Вишневский вносит в свой дневник активный творческий план, родившийся из этих раздумий:

«Хлынул поток мыслей о будущих литературных работах. О книге «Ленинград». Может быть, это и будет завершением долгих поисков «Войны»?

...Мне представляется год работы, а может быть и больше... Все написанное, все черновики, архивы — и моя большая первая, настоящая книга прозы «Война».

Надо дожить, дойти...»

Непрерывные поиски, неустанная работа над рукописью, непрекращающееся накопление заготовок длились уже почти полтора десятилетия (1929—1943). И несмотря на то, что работа была уже почти завершена (не зря сам Вишневский, при всей своей щепетильной взыскательности, смог записать: моя «первая, настоящая книга прозы!»), писатель все еще не решался отдать ее на суд читателя, выпустить в свет, но снова и снова возвращался к работе над рукописью.

Еще в октябре 1950 года, будучи уже тяжело больным, он вновь, как бы привычным воинским приказом преодолевая сопротивление собственного организма, записывает в дневнике обращенную к самому себе команду: «Вперед! За прозу!» Но на этот раз ответить на команду обычным флотским «Есть!» писателю помешали болезнь и смерть.

«Война» так и не была издана при жизни Всеволода Вишневского. Читатель смог познакомиться с романом-эпопеей лишь после его смерти, когда было впервые подготовлено к изданию собрание его сочинений.

Такова история работы над рукописью. Стоит еще вкратце проследить и то, как постепенно, год от года, на протяжении долгого времени работы над «Войною» изменялась и выкристаллизовывалась та **суть** авторских замыслов, о которой писатель говорил в записи, приведенной вначале.

В 1931 году, когда Всеволод Вишневский набрасывал краткое предисловие к «Войне», он так определял свои творческие задачи:

«Эта книга не роман... Это эпический документ. Это опыт (художественно-пролетарской энциклопедии о войне)¹. Старые формы рушатся на наших глазах, — сколь бы великолепны ни были отдельные из них. Беря и критически перерабатывая пласты старых культур, форм, пролетариат творит новые, высшие.

Форма энциклопедической насыщенности наиболее отвечает многогранности, глубине, научной точности марксистского метода...»

¹ После слов, заключенных Вишневским в скобки, видимо, с тем, чтобы впоследствии выразить ту же мысль при помощи более отчетливой формулировки, сделана позднейшая вставка, вписанная другими чернилами и датированная 14 октября 1935 года: «Это поэма (охватывающего типа!). Отдельные главы ее будут превращены в самостоятельные поэмы...»

Об энциклопедичности своей будущей книги Вишневский говорит во многих планах и разработках, относящихся к первому периоду работы над «Войной». Бесчисленные выписки, сделанные в тот же период из различных печатных изданий и архивных материалов, раскрывают широту и разносторонность его замысла. Мы находим тут и анализ годовых отчетов акционерного общества Путиловских заводов, и списки придворных чинов, помещавшиеся в издаваемых Сувориным ежегодных календарях, и цифру грузооборота российских железных дорог за 1913 год, и рекламные объявления, выписанные писателем из комплектов предвоенной «Низы», и ссылки на журнальные статьи, в которых можно почерпнуть данные о численности автомобилей в русской армии летом 1914 года или о стоимости артиллерийских стрельб, произведенных в том же году на маневрах кораблей Балтийского флота. Многие из этих выписок нашли место на страницах «Войны», создавая действительно энциклопедическую по широте картину последнего периода существования Российской империи. Цифры, лаконически изложенные факты, даже перечни имен и должностей использованы Вишневским необычайно умело: они не только органически входят в ткань повествования, но и приобретают точную целеустремленность.

Но весь этот обширный книжный материал был привлечен лишь для того, чтобы расширить и подкрепить огромное количество фактов, почерпнутых им из собственного жизненного опыта.

В декабре 1914 года, мальчиком 14-ти лет, Вс. Вишневский убежал на фронт. Он участвовал всю первую империалистическую войну с 1915 по 1917 год, прослужив разведчиком в лейб-гвардии Егерском полку. Воевать он закончил к 17-ти годам, имея звание ефрейтора, Георгиевский крест и две Георгиевские медали. Горький опыт окопной войны дал Вишневскому возможность познать душу русского народа. «Хлебнул полной мерой всего, что выпадало на долю русского солдата и матроса», — сказал Вишневский в одном из своих выступлений, рассказывая об этом периоде своей жизни.

«...Опыт соединения драмы, прозы и научных материалов», — так говорил о своей работе автор «Войны» в газете «Советское искусство» 9 февраля 1932 года. И это определение наиболее точно. В «Войне» действительно драматическое напряжение эпизодов сочетается с эпической широтой свободного прозаического повествования. И за этим стоит труд историка-марксиста, диалектически исследовавшего огромные пласты политических, экономических, статистических материалов, характеризующих время, о котором он рассказывает своему читателю.

Черновики «Войны» показывают, как последовательно и настойчиво добивался Всеволод Вишневский чистоты, ясности и строгости стиля. Он записал в мае 1933 года:

«Все время ищу решений, приемов для «Войны»... Несомненно то, что я постепенно отказываюсь от крайностей. Дело в том, что лучшие места «Войны» строгие, просты. Хуже «затей»... Надо все проверить, сделать ясным...»

Борьба за простоту стиля была неразрывно связана с укрупнением идейного замысла вещи. Многочисленные планы, сохранившиеся в архиве писателя и относящиеся к различным периодам работы, показывают, как раздвигались первоначальные сюжетные рамки.

Вот, например, запись, сделанная 27 октября 1930 года:

«Возобновил работу над «Войной».

В «Im Westen Nichts Neues»¹. Репарка дана личная (с биологически-психологической перегрузкой) трагедия группы окопников. Надо идти выше: дать социальную трагедию. В «Войне» я должен показать историю группы окопников с 1914 по 1918. Их нивелировку в окопах, их социальную дифференциацию»...

В ту пору и в драматургии Вишневого была очень сильной полемическая нота. Стремясь сказать новое, свое слово в искусстве, упорно отыскивая такие формы, какие, на его взгляд, оказались бы наиболее отвечающими новому социальному содержанию отображаемой искусством изменившейся (и продолжающей меняться) жизни общества, Всеволод Вишневский горячо спорил против комнатной камерности натуралистов, с одной стороны; против истерического копания в душе одиночки, к какому обращался мнимо новаторский послевоенный экспрессионизм, — с другой. В литературе он искал (на сцене ли, в кино или в прозе) той монументальной эпичности, которая смогла бы донести до читателя и зрителя ощущение подлинной эпичности реальных революционных событий. Отсюда и те литературно-полемические истоки, которые нетрудно заметить в приведенной записи первоначального замысла «Войны». Автор намеревался противопоставить свой роман индивидуалистическим, упадочным «окопным» романам, созданным на Западе обширной группой буржуазных писателей, вошедших в литературу после первой мировой войны и именовавших себя «потерянным поколением».

Вояя за туманные идеалы, смутно представляя себе, что после окончания войны «все должно измениться», это поколение писателей сочло себя «потерянным», духовно разбитым именно в результате

¹ «На Западе без перемен», роман немецкого писателя Эриха Ремарка.

того, что после Версаля оно вновь очутилось у знакомого разбитого корыта, в том же несправедливо устроенном мире, в обстановке растущего цинизма, коррупции, жесточайшей борьбы за существование миллионов растоптанных человеческих жизней, где от газа, выпущенного из открытой кухонной горелки, погибало по своей воле куда больше извержившихся людей, чем гибло солдат от немецких ОВ на полях Бельгии и Франции в дни войны.

Поколение Вишневского в дни войны, из уст большевистских агитаторов и со страниц «Солдатской правды», восприняло великие и реально-осуществимые цели. Партия большевиков, гений Ленина облекли их идеалы в форму кристально ясных и беспредельно дорогих сердцу каждого трудящегося человека понятий. Октябрьская революция превратила эти высокие идеалы в реальность.

* * *

Характерно, что самые имена некоторых персонажей, включенных в ранние планы «Войны» (например, Турбин, Берсенеv), уже имели как бы «литературную биографию», — были выбраны с намерением подчеркнуть существующую за ними литературную традицию. Но вскоре писатель отказался от этого. Список героев изменяется, дополняется новыми именами. И это не просто количественное изменение. «Война» постепенно расширяется и выходит за пределы первоначально задуманного жанра.

«По-старому опять вошел в «Войну», — записывает Вишнеvский 30 сентября 1933 года. — Читаю циклами: Германия, русская армия XIX века и т. д. Думаю, что заново пересмотрю материал. Все больше тянет к деталям, редким, неизвестным, документальным. Стиль энциклопедический — монументальный...»

Стремление показать «примат социального над личным», о котором писал Вишнеvский в плане, составленном за три года до этого, и которое определило главный тезис в его идейной борьбе с буржуазной литературой о войне, вывело героев книги за пределы одного окопа и превратило повествование в широкую картину народной жизни — в «роман-эпопею».

В 1933, 1935 и 1936 годах появлялись новые и новые планы, ставились новые задачи, все более и более углубленные, направленные к тому, чтобы расширить масштабы повествования и как можно полнее показать панораму исторических событий.

В записи, датированной 30 июня 1935 года, сказано:

«Направление мыслей о «Войне» — необходимость общего масштаба фронтов, взаимосвязанность операций (русских, французских и других)...»

На полках библиотеки Вишневого и сейчас стоят тщательно собранные труды историков первой мировой войны, сборники документов, комплекты журналов — с пожелтевшими закладками, с многочисленными пометками на полях, с выписками и со множеством сопоставляющих, оценивающих, анализирующих записей, сделанных рукою писателя.

Однако 26 февраля 1936 года новый дополнительный план развивал уже не столько военно-стратегические задачи, которым Вишневский уделял прежде большое внимание, со всею присущею ему страстью военного историка, сколько задачи историко-политические, направленные к тому, чтобы с возможной точностью и полнотою отразить картину революционного подъема масс — показать, как в самых глубинах народа назревал революционный взрыв и как затем революция вовлекала все более широкие массы пролетариата и крестьянства России.

Стремление показать руководящую роль партии большевиков на фронте и в тылу, в пролетарском Питере и в среде деревенской бедноты является главным в этом новом литературном плане и подчиняет себе все дальнейшие дополнения и доработки, которым подвергалась рукопись, вплоть до последней ее доработки в 1939 году.

Своеобразная форма вещи — итог многолетних, как мы видели, поисков писателя, — рождена стремлением писателя создать картину движения масс, показать исторические процессы, дать на небольшом сравнительно полотне книги картину сражающейся за свое будущее России. Не лишним будет подчеркнуть, что эти поиски формы велись писателем во всеоружии метода социалистического реализма, призывающего писателя к изучению действительности в ее прошлом и настоящем на основе марксистско-ленинской диалектики и материалистического понимания истории в ее развитии, но отнюдь не предписывающего художнику каких-либо закоренелых, «всеобщих» форм. Снова и снова вспомним известные ленинские слова о том, что «безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» (Соч., т. 10, стр. 28).

Как уже было сказано выше, эпопея «Война» при жизни писателя не публиковалась. Она впервые была включена во второй том собрания сочинений Вс. Вишневого, изданный в 1954 году. По тексту собрания сочинений печатается «Война» и в настоящем издании.

А. Марьямов

ГОД 1912-й

Глава первая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

I

Ночь опускалась на город капиталистической эпохи... Санкт-Петербург засыпал...

Лечь спать это значило: закрыть окна шторами, портьерами, занавесками, ставнями... Затем в тишине настороженно ощупать, осмотреть, проверить скобы, крюки, задвижки, засовы, запоры, щеколды, цепочки, замки — шкатулочные, врезные, трехповоротные, сундучные со звоном, кольцевые буквенные, подвесные, немецкие, шведские, французские, американские, запирающиеся секретными шифрами, и тому подобные, и тому подобные. Гасился свет. Само небо, как настороженное ухо, склонялось к земле.

Заборы, ограды, решетки, ворота, калитки, тыны, стены, двери, ставни — сомкнутыми массивами камня, железа, дерева, образуя первый закон: «моего не укради», — стерегли захваченную, отнятую, унаследованную собственность. Изредка тишину ночи нарушал выстрел самоубийцы...

На фасаде одного из домов на эмали архитектурного медальона коротко, по-хозяйски подчиняюще, было начертано имя владельца «Языгов» и дата постройки «1855». Хозяйский бельэтаж оттеснил соседние квартиры, загнал во тьму двора подвальных жильцов.

Окна в подвалах, без форточек, под самым потолком, были забраны железными прутьями. Окна не открыва-

лись, потому что с помойной ямы ударял кислый запах гнили.

В подвалах было темно. На полу одной из подвальных трущоб сидели трое — серые, тихие, рахитичные карапузики. Их головы казались несоразмерно большими по сравнению с худенькими, истощенными тельцами. Они вслушивались в какие-то шорохи, пугаясь их. Это сырость отдирала обои пластами. Головастики, не понимая, жались друг к другу и чего-то ждали...

На подоконнике в горшочке проросло воткнутое семечко. Головастики шептались, ласкательно звали росток «семечко» и гладили своими пальчиками усыхающий, побелевший, сникший побег. Головастики еще не спали, так как не имели представления о дне. У них всегда были сумерки, шорохи. Мир головастиков беден. Самое интересное в нем — керосинка. Керосинка — это свет, огонь, тепло... Это их мир... Он кончался у двери, — за нею, дальше была неизвестность: двор. Туда нельзя, потому что шалости и голоса детей раздражали хозяина дома. Он запретил детям жильцов играть и бегать во дворе.

В квартире хозяина дома, для красоты и прочности, полы были устланы паркетом из хорошо высушенного ясеня, дуба, клена; были и красное дерево, и черное дерево, и пальмовое, и розовое, и перламутр, и слоновая кость; дубовый пол украшали жилками и плитками из черного дерева. Квартира хозяина была обставлена роскошно и пестро: столовая в «русском стиле», кабинет в стиле «модерн» (господин Языгов любил современность), гостиная — «Louis XV»¹, спальня — в «мавританском стиле». Днем комнаты были залиты солнцем. Велокопная вентиляция обеспечивала свежайший воздух.

А три рахитичных малыша ежедневно дышали грязью и ничтожным количеством кислорода, проникавшим в щели вместе с холодком. Мать, уходя на завод, запирала их, хотя в подвале не было ничего, кроме рваных прокисших тряпок, табурета и ржавого ведра... Дверь запирали система, обычай, закон — «МОЕ», даже если это «мое» — вонючий, пустой подвал.

Сквозь камни, дерево, железо, цемент, ограждавшие человека от человека, головастики иногда слышали отдаленный, нарушавший тишину вой. Это где-то в подваль-

¹ «Людовик XV» (франц.).

ном коридоре перед сном дрались женщины. Разбухшими от стирок пальцами и мягкими, разъеденными щелоком ногтями они то молча, то визжа царапали друг друга щеки. Женщинам в доме было тесно, душно; они мучились и раздражались, когда затрагивали их «мое». Спорили по первому случайному поводу. Потом начиналась драка.

Приходил заспанный дворник, вздыхал, бил баб по костям, устало ругался:

— Халявы...

И разнимал их...

Двор и улица были безобразны. Они не приносили дохода, и поэтому о них не заботились: все, что не приносило дохода, было бесполезно или вредно. С квадратной сажени подвала шло восемь — десять рублей прибыли, а двор и улица требовали только расходов на уборку. Расходы надлежало убавлять до предела.

Город затихал. Последние из тридцати тысяч легковых и двадцати тысяч ломовых извозчиков столицы, бранясь, дребезжа и грохоча по булыжным мостовым, разбрызгивая незасыхавшую жижу рытвин, спешили воевать.

Город засыпал...

В подвалах и на чердаках засыпали люди, расплачивавшиеся своей жизнью за то, что в мировых пространствах существует земля, на которой наименьшая часть человечества захватила все, что поддавалось захвату в трех измерениях, — в полное, исключительное, бессрочное, как им казалось, владение. Из миллиона жителей столицы умирало от тридцати одной тысячи четырехсот до тридцати девяти тысяч ста человек против десяти тысяч привилегированных. Двадцать девять тысяч лишних смертей в одном городе были узаконены властвовавшим классом.

Полиция бодрствовала, охраняя столицу и империю.

У ночного города была своя жизнь.

В околodge пристав, седой, с грубо нафабренными усами, допрашивал задержанного:

— Ты кто?

— Православным числюсь.

— Что понимаешь под этим? (Пристав пальцем вывел на пыльном столе две буквы — С Д.)

— Не зна... Я занапрасно взятый. (Городовой устало посмотрел на задержанного и всеготовно на пристава.) Иду, — народ у трактира собравши. Погляжу, думаю. Темно, не понять... Слышу, поют такое, что не могу повторить... Вроде «вставай, подымайся». Я стою... А ты, говорят, почему не поешь? Я рот стал раскрывать, но безо всего. Тут вот они меня и взяли. Занапрасно. Я рубль плачу в союз архангела Михаила.

В каком-то салоне какой-то господин перелистывал календарь и красиво-рассеянно мыслил вслух: «Что будет через десять лет, через двадцать — в 1922-м, в 1932-м, в 1942-м? Есть только одна категория несомненных проникновений в будущее: подсчет будущих юбилеев. Вот один из них: в 1925 году исполнится двадцать лет наследнику Алексею. Он будет рано или поздно Алексеем Вторым...» Дамы слушали интересного господина, сочувственно повторяя неожиданные для них слова.

Телеграфист принимал последние строки частной шифрованной телеграммы императора Вильгельма II императору Николаю II:

«...Два дня тому назад моя дочь подтвердилась в фриденскирхе тчк приятно было видеть зпт каким молодцом она выдержала испытание тчк ей нужно было прочесть вслух свое исповедание веры перед всей общиной тчк стоит дивное лето зпт розы в полном цвету тчк прошу зпт милый Ники зпт считать меня навсегда твоим преданным кузеном и другом тчк Вилли».

Телеграфист выстукивал сообщение, сосредоточенно впиваясь в знаки шифра.

В убогой комнате в ночной тишине человек атаковал биосферу. Он, в мечтах своих, менял для блага человечества ландшафты равнин и плоскогорий, завоеывая и подчиняя вселенную.

Утро. Рассветало, то есть в силу сочетания сложных движений становилась видимой средних размеров звезда Млечного Пути — Солнце. Даже удаленное на сто сорок девять миллионов километров от земли, оно оказывалось чьей-то собственностью. Тепло и свет распределялись в столице неравномерно: солнце продавалось тем, кто мог дорого платить за выходящие на юг солнечные квартиры. Брали, таким образом, деньги не только за то, что существует земля и на ней отстроенные собственниками дома и квартиры, но и за то, что существует освещающее их солнце. Большинство дешевых квартир в Санкт-Петербурге выходило окнами во двор. Когда в темные дворы многоэтажных доходных домов проникали лучи солнца и скользили по стенам, люди, прильнув к окнам, тоскливо провожали их отраженный, убегающий свет.

По мере того как становилось светлее, отчетливее вскрывался изуродованный быт столицы.

В деревянном доме, на окраине города, жильцы еще спали по своим углам. Начинало светать. У печки валялись ссохшиеся опорки и портянки. На столе лежали небрунные объедки.

За ситцевым пологом тяжело зевнули, показалась голая мужская рука. Полог всколыхнулся, потом послышался скрипучий голос женщины:

— Не балуй.

— Чево?

— Вставать надо.

За пологом опять тяжело зевнули.

Лампадка едва светилась. Тикали часы. Рядом висела гитара. Под ней картинки «Гибель «Варяга», вид Пирея (хозяин был из отставных матросов) и пасхальные открытки.

— Поди, Петра, за водой.

— Иди-ка сама. Чего ты?

— Ломит.

— Ланно, иди.

Мужчина, отбросив полог, свесил ноги с койки. Он скучно и привычно разглядывал распахнутых по углам жильцов. Воздух от них шел тяжелый.

— Эй, «вставай-подымайся»! И с чего от человека дух такой?..

Часы-ходики длинно зашипели и пробили шесть.

— Вставай, ну?

Серые и рыжие тряпки зашевелились.

— Ставай, оболью-у.

Хозяин покрикивал просто так, оттого что проснулся.

Из-под тряпья, наконец, отозвался кто-то горласто и неожиданно:

— «Пасле-е-едний, нонечный диннеччик...»

— Чумовой, чего ты?

— «Гуляю сс вамми я, друззя-а!...» «Прощайте, товарищи, все па местам...»

Тряпье зашевелилось. Певец встал, одергивая рубаху. Василий — парень здоровый, ломики гнет.

— Почет хозяину.

— Чего ты пасть ни свет ни заря разеваешь?

— Призываюсь седни.

— У-у... новобранец, серая ты, Васька, душа.

Василий опустился на корточки перед печкой, разводя огонь. Стали шевелиться другие жилыцы, кряхтя и охая. Вошла хозяйка. Нагнувшись, опустила ведра с ко-ромысла.

Отметим тот факт, что вода на окраинах была нефиль-трованная, почвенная, загрязненная и заразная.

Хозяйка мыла и вытирала посуду молча, мрачно, ненавидя всех. Щепы и береста горели, потрескивая в печке. Сучья куста скреблись в окошко при порывах ветра с моря.

— Ва-ась, форсишь — колечко надел?

— Котись-ко.

— Ва-ась, с тебя отвальную.

Второй поддержал:

— Тебя в гвардею возьмут.

Хозяин с порога, сбрасывая опорки, захихикал:

— Это его-то в гвардию? Таких архаровцев и мимо-то не пускают.

— Ладно, хозяин.

Парни одевались под тряпьем, вытаскивая мятую

одежду из-под изголовий. Хозяин полез в пиджак за папиросами, потом раздумал и спросил:

— Ну, у кого курить есть?

Парни не отвечали, скупясь, зная повадку хозяина. Когда он требовательно спросил одного уже по имени, тот нехотя достал папиросу.

Стукал носик рукомойника. Вода струйкой сбегала в лоханку. Парни торопясь, без мыла, ополаскивали руки и щеки. Хозяин сказал:

— Ты, Василий, отвальную — отвальной, а за угол сегодня мне сполна давай. Где тебя, рекрута, потом искать! Пропьешь — вещи возьму.

— Ладно. Денег хватит. Получка. Подработали none.

Сося маленькие кусочки сахара, парни, ошпаривая язык и нёбо, пили белесо-желтую воду. Хозяин считал: за угол у окна — пятишник, и у печки — пятишник, у двери — трешка... У него была своя рента.

— Пошли.

Дверь глухо и сыро стукнула. Литейщики пошли на завод. От слободы версты две; как раз к семи, к гудку, и поспеть.

Хозяйка закутала чайник в теплый платок и загасила огонь в печке.

Оставшиеся в комнате зло молчали. Дверь стукнула снова. Вошло четверо.

— Хозяину. Хозяйке.

Вошедшие опустились на лавку. Вторая смена жильцов — газовщики — пришла с ночной работы. Они сидели молча, понуро, слабо реагируя на посторонние звуки. Тягостная усталость делала их безразличными. Платье их было мокро и грязно. Хозяйка налила им чаю. Люди пошевелились. Один стал пить, грея обе руки о кружку. Другие поднялись, пошли в угол и повалились на тряпье.

— Разделись бы.

Люди не ответили. Они уже засыпали.

Хозяин сдавал только бессемейным. Так по углам жили семьдесят процентов холостых и сорок три процента семейных рабочих Санкт-Петербурга.

Над позеленевшими от болотной сырости, кривыми и старыми домами шел дым из полуразвалившихся труб.

Просыпался рабочий огромный Петербург: Волин-кино, Тентелево, Вологодское-Ямское, Высково, Большая и Малая Охта, Выборгская, Полюстрово, Писаревка, Новая и Старая Деревня, Голодай; с трудом находимые на плане города улицы Болотные, Красножабицкие, Крапивинские, Заставские, Задворные, Прогонные, Глухие, Дребезговые, Тобольские и Камчатские.

Рев заводских гудков обрушивался в рабочих слободах на «низы», подымая людей, и был еле слышен в центре города — «верхам».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

		Ижди- венцы	Всего
Хозяева с наемными рабочими .	4 528	8 222	12 750
Хозяева, работающие с членами семьи и помогающие членам семьи	20 688	17 489	38 177
Хозяева-одиночки	47 620	56 324	103 944
Лица свободных профессий . . .	12 371	3 000	15 371
Иждивенцы государственных и общественных учреждений . .	94 580	18 135	112 715
Деклассированное население и лица неопределенных профес- сий	57 035	20 836	77 871
Служащие	168 288	199 263	367 551
Прислуга	72 937	50 251	123 188
Рабочие	287 326	312 306	599 632
Безработные	112 553	53 032	165 585

Рабочие привычно шагали к заводу по черно-рыжему месиву. На шоссе было посуше. На своих местах стояли городовые — в плотных черных пальто, толстые, «непромокаемые».

Люди шли продавать свою рабочую силу — свое единственное имущество, — для того чтобы жить. Это был вынужденный, тяжкий, гибельный труд... Производимое ими не являлось целью их жизни и работы. Оно не было им нужно. Более того: то, что они производили, — обогащало враждебный им класс.

Каждый брел туда, где он «свободно» нанимался. Туда, откуда он мог «свободно» уйти. «Свободные» рабочие шли «свободно» продавать двенадцать, четырнадцать, шестнадцать часов своей жизни в сутки собственникам сырья и машин.

Рабочие могли не продавать свой труд собственникам и этим обречь себя на голодную смерть. Собственники

могли не нанимать рабочих и этим приостановить нарастание своих прибылей. И то и другое было невозможно при наличии капиталистических производственных отношений, поддерживавшихся царем, законом, всей системой власти в империи Российской.

* * *

На металлургическом заводе работали тысячи людей. Заводская усадьба занимала тридцать десятин. Она была огорожена с трех сторон; четвертой — выходила к взморью, к устью Невы сырым, болотным выступом.

У ворот тянулись мелочные лавки, торговавшие холодными и клейкими пирогами, грибами, кислой капустой, солеными огурцами, клюквой...

В глубине подходных каналов стояли суда и баржи. Сплошные завалы ржавеющего железа и лома тянулись вдоль забора. Травой зарастали какие-то тихие тропинки и забытые узкоколейки. Брошенные машины начала прошлого века, с едва различимыми британскими клеймами, покрывались рыжей корой.

Ветер нес черный дым с Морского канала и из порта. В лесной и угольной гавани мачты выстрелены в небо. Они темны, как горелый лес.

Беззвучно шли пароходы на запад — за границу — в порты Старого и Нового Света и каботажем в Устье, Усть-Лугу, в ближние порты Эстляндии, Лифляндии, Курляндии и великого княжества Финляндского.

Мимо Кронштадта шел из России лесной товар, пенька и веревки, кожа, поташ, масло коровье, яйца, сало скотское, смола, рыба сушеная и соленая, лен и пряжа, зерно, мука ржаная, пшеничная, крупчатая, ячмень, овес, бобы, горох, холст, щетина, меха, мануфактура, сахар, спирт, изделия из оного и другие товары.

Из-за границы же и из портов великого княжества Финляндского, а также из Эстляндии, Курляндии и Лифляндии шли в Россию, в Санкт-Петербург: уголь каменный, кокс, химические продукты, масла растительные, глицерин, вещества дубильные, краски и вещества красильные, машины, чугун, железо, сталь, свинец, бумажная масса, целлюлоза, хлопок-сырец, шерстяные и полушерстяные изделия, шелковые изделия, рис, кофе, чай, табак и прочее, и прочее.

К заводу вели каналы застойные и черные. Сюда подвозили английский уголь. В годы 1854—1855-й, когда Англия вела с Россией войну, уголь шел точно так же, ибо и во время войны «business as usual»¹. Был изменен только флаг зафрахтованных под уголь судов.

Каналы были свидетелями двух столетий. Некоторые баржи были так же ветхи, как брошенные британские машины. Вода прогрызла палубы и люки, сломала трапы, изъязвила переборки. Искалеченные сходни как бы судорожно впивались в берег.

Разрушались следы первой поры фабричной России. А рядом гремело гигантское предприятие: оно лило, формовало, сверлило, точило и шлифовало металл. Кирпичные цеха почти вековой давности, сарайчики и деревянные срубы чередовались с новыми колоссальными светлыми строениями. Птицы взвивались среди лопухов, дорожников, лютиков и крапивы при появлении вагонеток на пустырях, постепенно всасываемых предприятием...

Все это, отображенное в литературе как «пейзаж» и называемое только своими именами: «завод», «барак», «склад», «лавка», «лом», «гавань», «пароход», «груз», «узкоколейка» и т. д., с прибавлением к ним художественных эпитетов, — являлось «капиталом». Все это — сырье, средства производства и средства существования — было инвентаризировано и принадлежало определенным немногочисленным лицам. Они, используя рабочую силу многих, употребляли все эти предметы для нового производства товаров, их обмена и извлечения прибыли для себя.

* * *

Владелец завода господин Языгов вставал по гудку — согласно фамильной традиции. Роста он был среднего, волосы имел русые, лицо чистое, года рождения был 1880-го, особых примет за ним не значилось, если не считать:

- I. Завода из многочисленных старых и новых корпусов кирпичных, крытых железом, частью деревянных, частью бетонных, со станками, моторами и прочим оборудованием.

Оценка Р. 27 500 000

¹ «Дела прежде всего» (англ.).

II. Жилого дома, 2-х этажного, частью 3-х этажного, каменного, стиля ренессанс, крытого железом. Стены снаружи и внутри оштукатурены. Потолки частью лепные. Полы паркетные. Отопление паро-водяное. Стены частью оклеены обоями, частью окрашены масляной краской. Внутренние лестницы каменные. Под домом устроено подвальное помещение под сводами.

Оценка Р. 286 200

III. Конюшни и служб одноэтажных. Передний фасад частью 2-х этажный. Строение каменное, крытое железом. Полы в жилых помещениях дощатые, крашенные, в конюшне ребристые плитки, в стойлах бетонные полы и сфагнум¹. Стойловые заграждения дубовые с верхними железными решетками и латунными шарами. Стены внутри оштукатурены, панели облицованы глазированными (стеклянными) плитками. Потолок бетонный, с верхним светом. Отопление паро-водяное.

Оценка Р. 60 000

IV. Каретного сарая и прачечной. Сарай одноэтажный и прачечная 2-х этажная. Строение каменное, крытое железом. Стены внутри оштукатурены. Потолки в прачечной оштукатурены, полы бетонные. Второй этаж занят сушилкой. Внутренняя лестница каменная.

Оценка Р. 30 000

V. Сарая деревянного, крашенного масляной краской, крытого железом. Занят под кладовую служащих.

Оценка Р. 1 000

¹ Подстилка для скота из мха.

VI. Сада и площадок: крокетной и для лаун-тенниса; зимой — катка.

Оценка Р. 500

VII. Оранжереи частью каменной, частью оштукатуренной, крытой железом. Печи железные.

Оценка Р. 28 000

VIII. Дворницкой. Строение каменное, одноэтажное, крытое железом. Стены внутри оштукатурены и побелены. Полы дощатые. Потолки оштукатурены. Печи железные, круглые.

Оценка Р. 4 000

IX. Амбара типа № XVII.

Оценка Р. 4 000

X. Навесов деревянных (6 штук), крытых толем.

Оценка Р. 9 000

XI. Жилого 2-х этажного деревянного барака, крытого толем.

Оценка Р. 18 000

XII. Помойной ямы, каменной, крытой железом.

Оценка Р. 500

И разных ценных бумаг — на сумму Р. 5 000 000

Итого Р. 32 941 200

До семи часов утра Языгов успел сделать гимнастику, принять душ и выпить молока. В семь часов он выехал на своем «Бенце» на завод.

В пути он думал, видел, ощущал:

В САСШ бесполезно тратят тридцать процентов рабочей силы, во Франции сорок процентов, в России восемьдесят процентов. Это надо проверить, но сейчас ни о чем не думать. Гигиена мозга, — избавиться от навязчивых идей, фантазировать. Мои «скромные» желания... Ну?.. Из книг я бы хотел

иметь национальные библиотеки Старого и Нового Света... Крупнее!.. В качестве чернильницы — Тихий океан, пресс-папье — Гауризанкар¹, в любовницы — деву Марию... Если Балканы успокоятся, можно рассчитывать на хорошие дела в 1913-м. Не слишком ли быстро я еду? Как взлетели полы пальто пешеходов, юбки дам. Вихрь! Великолепие мира обогатилось новой... ага, угол Невского и Садовой, гудок, педаль, меньше газа, городской... обогатилось новой красотой скорости... Гоголь кое-что понимал в Невском проспекте... «Невский проспект»! Как будто дома бросаются на мое авто... Теперь прямо... Скорость... Пажеский корпус... *Сигнал!*: Торжествующий человек — совершеннейшая машина!

Автомобиль мчался сквозь город. Город начинал жить: дворники мели улицы; волокли бидоны молочницы; мороженщики катили голубые и зеленые тележки с мороженым, сделанным из больничных опивков; на Фонтанке свистели и дымили финляндские пароходики; на Сенной закипал пот на лицах торговцев; с вокзалов Николаевской, Варшавской и Виндавской железных дорог шли с котомками, берестяными коробами, сундучками беззельные мужики... Ломовые извозчики приводили в движение грузы. Опухшие босяки покидали ночлежки.

Каждый по-своему включался в жизнь, вооруженный, как дубиной, правилом: «каждый сам за себя». Включался в жизнь, которая обрекала большинство на гибель.

Господин в автомобиле продолжал беседу с самим собой:

Омерзительная страна... Ах, да, подготовить: господа члены Государственной думы, та группа законопроектков, которая подлежит вашему обсуждению, имеет первостепенное, экономическое, общественное, государственное, скажу более, — мировое значение. Введением их в жизнь, признанием тех правовых норм, которые предлагаются вашему вниманию (короче!), мы предпрещаем ход развития российской государственности (лучше — государственности российской), нашего будущего гражданского

¹ Горная вершина в Гималаях, одна из высочайших в мире.

строю (браво, кадеты переглянутся). Значение и объем внесенных на ваше усмотрение проектов заключается в улучшении положения фабричных и заводских рабочих и разрешает кардинально вопрос бытия и область взаимных отношений работодателей и представителей наемного труда (потом о Западе — Германии). В конце концов эти идиоты даже в департаменте полиции, кажется, поняли, что теперь этим законом о страховании можно обнадежить и успокоить миллион восемьсот тысяч человек. Не проповедь междоусобиц, а идея общественного сплочения. Тут, конечно, слева будут орать, колотить по пюпитрам: почему миллион восемьсот тысяч, тогда как насчитывается наемных—тринадцать миллионов. Будут кричать: полицейские реформы! Как будто каждый из тринадцати миллионов поручил этим крикунам свою судьбу... Направо Мариинский театр, Гвардейский экипаж, консерватория... Бетховен считал, что музыка не его призвание, что ему следовало заниматься юриспруденцией... *Сигнал!*.. Может быть, великие говорят это так, для потомства — парадоксы, шутки. Например, у Флобера: «Я кончил роман, мне остался месяц работы: обдумать глагол и эпитет последней фразы...» Почему я об этом думаю, с чего я начал? Да, Бетховен... Почему вдруг о Бетховене? Бетховен, Бетховен — ну, ну? Да! Музыка — консерватория — Мариинский... Лев Толстой первый раз ребенком в опере глядел на ложи, а не на сцену; думал: театр — это где красиво, ложи — красиво... А потом как описал оперу упрямый старик, воевавший в одиночку с богом... Да... *Сигнал!*.. Какие тупые пешеходы, лезут прямо под авто! Происшествие: «Пешеход под автомобилем заводчика Языгова...» Положим, струсят, поставят инициалы, даже не инициалы, а — N. N. ...Что тут надо этому англичанину, чего он лезет к морскому министру? Ну, ладно — я обставлю его. Англичанин, вероятно, зондирует почву для получения заказов при расширенной судостроительной программе, но мы обойдемся и без европейцев... Быстрые и веские разрешения проблем — за Россией. В сущности они понимают, что рано или поздно мы их отодвинем... Калинин мост... *Сигнал!*.. Калининская больница...

Однако я не опоздал? Семь сорок семь... Завтра в двенадцать — в Адмиралтейство. Ваше высокопревосходительство, борюсь не за узкие интересы свои или промышленности, но за крупную государственную идею. — «Да-с. Ну-с?» — Надо доказать способность России стать на ноги... Обеспечить Морское ведомство... Да! — этому его капитану первого ранга надо дать две тысячи из «специальных»... Как удивительно комильфотно они берут, гениально, изящно, непринужденно, — порода, бары, бары, нельзя отказать!.. Ваше высокопревосходительство, мудрость и справедливость вашего высокопревосходительства известны всей России, мой завод (или «наш завод», или «я и мои сотрудники», или «отечественная промышленность») смело вверяет свою судьбу и всю будущую судьбу русской металлургии в руки вашего высокопревосходительства. Я кончил... — «Ну-с?» — Порода надушенных и перенагражденных собственных его величества склеротиков!.. Мы — промышленники — фактические хозяева, а судьбы России вершат вот эти склеротики. Да они не знают, как чугуном от железа отличить! Господа? Голубая кровь? Чепуха!.. Мои заводы, мои капиталы, я хозяин, я. Я! А эти только «прикасаются»... Когда же окончательно будут развязаны руки?..

Автомобиль покрыл расстояние до завода — по любимому ежеутреннему маршруту — в двадцать минут. Автомобилем управлял скромно одетый господин, рядом с которым сидел богато одетый шофер.

* * *

На завод сквозь строй сторожей проходили тысячи наемных рабочих... Сторожа высились у входов, полные внушенного им сознания, что они являются первыми должностными лицами, с которыми сталкивается всякий проходящий извне. Поэтому они должны были быть представительны, — их хорошо одевали, и лица их выражали безусловную и воинственную преданность своему хозяину и существующему порядку.

Сторожа стояли у табельных досок, впиваясь глазами в приходивших и сдававших свои номерки рабочих. Быв-

ших на подозрении, «неблагонадежных», они тут же обшаривали.

Завод изготавливал орудия, броневые плиты, башенные установки, станки и лафеты, учебные стволы, стальные пружины, снаряды всех калибров, торпеды, приборы Обри, оптические прицелы, трубы.

Наука совершала открытия — и первые ее мировые успехи в металлографии были отданы производству орудий.

Процесс изготовления дальнобойного орудия весьма интересен: изготовленная в мартенах сталь разных сортов льется в изложницы и застывает в виде колоссальных болванок — до тысячи пятисот пудов весом. Краны подхватывают их и несут к прессам. Пресс, весом в три тысячи тонн, начинает изготовление орудия. Из болванок должно выйти дальнобойное орудие для линейного корабля, называемого по-английски «дредноут», что означает — неустрашимый. В конечном счете нужно орудие, которое выдержало бы сто — сто пятьдесят выстрелов, то есть час боя.

Станки в движении... На громадных токарных станах между бабками и патронами вращаются длинные бревнообразные, обжатые прессами болванки. Станки обтачивают миллиметр за миллиметром части будущего орудия: внутреннюю *трубу* из особой стали, *цилиндры*, *кожухи*, *казенники*... Станок въедается в крепчайшую сталь, растачивая в трубе канал с винтовыми, идущими под углом, нарезами, сообщающими впоследствии снаряду правильное поступательное движение.

Станки в движении...

Детали орудий идут в обточку и шлифовку...

Шеренги людей сгибаются над точильными камнями, вращающимися со скоростью трех тысяч оборотов в минуту. Камни различных диаметров, в зависимости от размеров деталей, непрерывно, с равномерным шипением под нажимом обтачиваемых изделий отделяют песчаную и металлическую пыль

Смачивание водой, предохраняющее от пыли, не практиковалось, так как процесс точки и шлифовки от этого стал бы длительнее и поэтому дороже и, таким образом, приносил бы лишний убыток господину Языгову. Шлифовальная пыль представляла собой смесь мельчайших, большей частью острых металлических и минеральных частей; за отсутствием вентиляции она поглощалась легкими рабочими. В легких образовывались мелкие черные узелки. Шлифовальная пыль вызывала одышку, кашель, эмфизему легких, расширение бронхов, кровохарканье, гнойное кровохарканье, хронический катар гортани у сорока трех процентов рабочих и атрофию слизистых оболочек носа у двадцати трех и четырех десятых процента. Средняя продолжительность жизни рабочих сокращалась. Некоторые работали, обвязав рот платком, и поэтому их дыхание было затруднено. Большинство работало, дыша носом, сомкнув челюсти. При найме на эту работу брали только здоровых и крепких. Таким образом, металлическая пыль убивала здоровых мужчин.

Завод в движении...

Краны подают, для закалки и одеванья, к печам и огромным масляным ваннам обточенные серо-блестящие стальные тела: трубу, цилиндры, кожухи, казенники. На трубу, измеряя доли миллиметра, медленно надевают первый цилиндр, на него второй и затем третий. Тело орудия становится массивнее. Наконец подают верхнее покрытие — кожух с кольцевыми выступами, которые лягут на салазки орудийной установки (лафета). В заднюю часть тела орудия ввинчивают казенник. Казенник первым выдерживает мгновенный удар трех тысяч атмосфер давления на свои стенки. Ход за ходом многопудовый массивный казенник, в «горло» которого может нырнуть человек, плотно завинчивается, так чтобы не было ни малейших, даже волосных зазоров (щелей). Затем на казенник надевают горячее кольцо. Его обжимают. Затем другое. Обжимают снова. Когда идет обжим, в месте соединения казенника с телом орудия (до обжима) кладут прокладку и медное обтюрирующее кольцо¹. Стенки

¹ Предохраняющее от прорыва пороховых газов.

орудия герметически непроницаемы... Затем следует сборка — замок, станок... Орудие готово!

Учитывая наш лаконизм и умолчания, легко понять, что процесс был неизмеримо сложнее и шире.

Человеческий мозг, изучая строение металла и самую массу зерен металла, открыл их природу (открытие Чернова)¹. От открытия к открытию перебрасывались мостки, возникали теории и законы, но рабочего выключали из мыслительного творческого процесса производства. Его учили только механическим движениям, действиям. Однообразие и всяческие ограничения искусственно уменьшали его восприимчивость. Рабочих лишали инициативы и творчества в труде. Все делалось для создания «человека-машины» с необходимым для капиталистической системы наличием мускульной силы. Творилась оргия капиталистического принуждения.

Особо, специально внедрялись понятия — «бог», «родина», «долг», «монарх».

Шла давняя борьба с конкурирующими фирмами, например «Виккерс и К^о». Чтобы победить конкурентов, владельцу завода нужно было давать продукцию еще дешевле. Для того чтобы это было осуществимо без убытка, нужно было давать все больше и больше продукции, экономя на рабочей силе.

Металлургия мира содрогалась в пароксизме безудержного производства. Машины повышали производительность. Машины упрощали труд, сокращали издержки на рабочую силу.

Станки в движении...

Станки токарные, сверлильные, расточные, нарезочные, клепальные, фрезерные, шлифовальные и прочие. Они равномерно жужжат, стучат, воют, свистят, шелесят. Станки сверкают, они красивы... Пыль, влага, ржавчина понижают производительность. Станок делает восемь сложных движений — ать-два-три-четыре-пять-шесть-

¹ Чернов Д. К. (1839—1921) — выдающийся русский ученый-металлург, основоположник современных методов тепловой обработки стали; производил на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге исследования по строению и кристаллизации стали.

семь-восемь! Ать-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь! Ритм точен, интервал в полсекунды после пяти движений. Глаза и руки рабочих подчинены этим движениям. «Номер» стоит, ритмично взбрасывая одну руку к готовым частям, другую — к пусковой рукоятке.

«Номер» стоит весь день, исполняя обязанности придатка станка, придатка, который пока еще не заменен механизмом. Равномерный ритм восьми движений в четыре секунды — заполняет мозг, слух, нервы... Десять — двенадцать часов в сутки. Десять — двенадцать часов в сутки... Ритм беспощаден и неизменен. Он преследует «номер» даже во сне.

Машины неистово гнали людей, бездушно подчиняя их себе. Ритмично сверкали исполинские валы, шатуны, шпиндели, молоты. Люди были прикованы к машинам, как неотъемлемая часть, и напрягали все силы, чтобы соответствовать их сверхчеловеческим скоростям и сверхчеловеческой точности. Изредка вырывался чей-то вопль ярости.

Не сообразный ни с чем порядок вгонял миллионы людей в нищету и рабство.

Эксплуатация человека человеком была вопиюще жестока. Капиталисты, присваивая себе чужой, не оплаченный ими труд, извлекали из него грандиозные прибыли. Рабочим же эта прибыль обходилась, в зависимости от рода производства, в четырнадцать, тридцать пять и семьдесят пять чахоточных на сотню и от пятидесяти до трехсот увечных на тысячу человек.

В сражениях, веденных Российской империей в XIX веке, на тысячу солдат выбывало от шестидесяти до ста тридцати человек.

Таким образом, промышленность была войной, она представляла вся облитая кровью и грязью.

Какое надо было иметь упорство, волю, силу, чтобы противостоять этой системе и в конечном счете победить!

Предприятие грохотало. Дым нависал над цехами... Уголь с эстакады ссыпался в бункера высокого четырехэтажного кирпичного здания и порциями проваливался в газогенератор. Это был импортный английский уголь по двадцать четыре копейки франко-склад. Пробки в

полу в газогенераторной были открыты для шуровки. Газы (химически обозначенные — CO), вырывающиеся из-под пола, где топка, окутывали все помещение. Газовщик разбивал спекшиеся массы угля. Газ выходил все сильнее.

Это был угарный газ — от неполного сгорания угля, — газ, которым отравлялись самоубийцы. Не-обыкновенно ядовитое действие его объясняется тем, что окись газа при вдыхании химически соединяется с гемоглобином крови, вытесняя кислород, вследствие чего кровь перестает питать организм. Газовщики были подвержены хроническому отравлению. Начальные стадии не характеризуются специфическими признаками. Поступавшие рабочие не подозревали об опасности, которой они подвергались. Постепенно появлялись симптомы отравления: тяжесть в голове, головокружение, общая слабость. У подверженных хроническому отравлению начинались расстройство пищеварения, душевная подавленность, иногда доходившая до тупости, необыкновенная бледность кожи, общая слабость, переходившая в губительную анемию.

Газовщики, тщетно стараясь не вдыхать газ, разбивали спекшуюся корку угля. Физические усилия, торопливость и нервирующее сознание опасности вызывали учащенное глубокое дыхание. Люди бледнели, задыхались, но прерывать работу воспрещалось, так как шуровка и загрузка не ждали: газ должен был поступать к мартенам точно, в определенных количествах и определенных качеств. Подступала тошнота, учащался пульс.

— Давай, давай, ребята!

Гнали «экстру»: заказ для Балтийского флота.

Упавших без сознания выволакивали во двор.

Единственной мерой предосторожности было бы удаление газа путем усовершенствованной вентиляции, но это не входило в расчеты дирекции, к сведению не принималось, и посему в железоделательной и сталелитейной промышленности империи десять процентов всех

повреждений, травм и смертей рабочих относились к отравлению газами.

Функции рабочих были хозяином определены так: «Давать мне наибольшее количество металла, наивысшего качества, в наименьший срок, за наименьшую цену». Это внушалось, внедрялось, вбивалось безостановочно всей той практикой и теорией, которые были в то время законом на всех широтах и долготах земли.

Узкоколейка гнала к мартенам мульды¹ с ломью (скрапом) — обсеками рельсов, железной и стальной листовой мелочью, полосовой, фасонной, бракованными литниками, чугуном и известью. Вагонетки летели со свистом сквозь пар и дым.

Паровичок водил машинист. От него шел острый запах иодоформа: машинист болел, от худосочия все тело его покрылось чирьями. Для экономии он лечился сам: осторожно на ходу, в определенные часы, разматывал бинты и присыпал язвы желтым порошком. Он часто гонял кочегара за сороковкой или полбутылкой к заводскому спиртоносу. Когда паровичок стоял, машинист и кочегар, выпив и подбодрясь, пели романсы о любви... Кочегар мечтал «нечаянно» налететь на кого-нибудь из администрации и посмотреть на его «требуху». Паровичок мчался, качаясь и трясясь, поливая заросшее травой полотно жидкими теплыми струйками, пробивавшимися из краников и флянцев.

Паровичок мотался, свистел, грохотал, влетая в грандиозные коридоры закопченных строений, подскакивал на стыках и стрелках, уносился от матерщины шагавших по шпалам и шарахавшихся в сторону рабочих и, повинаясь порядку вещей, неустанно гнал мульды. В грохоте кочегар, подкинув угля, орал машинисту:

— Знаешь, как дьяк и поп с богом в очко играли? А? В очко-о! Играли, играли, дьяк и говорит попу на ухо, попу говори-ит (Эй, давай свисток!..): «А как же он, всемогущий, ежели я пойду козырным тузом, а? Чем покроет?» А поп дьяку и шепчет: «Дура, ужли он тебе хошь одного туза сдаст?» А? Охо-хо-ха-ха! Вот дьявол, а?

¹ Вагонетки.

Оба смеялись, а паровичок мчался вперед, и у машиниста от тряски болталась на тощем животе потемневшая медная часовая цепочка, которую он носил так же, как носят машинисты царских и курьерских поездов на Николаевской дороге.

Когда паровичок ходил в дальний край завода — к пустырю и к взморью, — это называлось «поездка на дачу». Там были запахи моря, трав и цветов. Там хотелось двигаться и шутить. Там рождалось ощущение того, что действительно есть трава, вода, воздух и вообще жизнь.

— Давай трогай, отец благочинный!

Кочегар с яростью рванул дверку топки.

— Гони лом! Мечтаешь? Не полагается.

Один раз в паровичке они нашли листок. На листке мелким шрифтом, в середине, было напечатано:

«...все средства для развития производства превращаются в средства подчинения и эксплуатации производителя, уродуют рабочего, делая из него неполного человека, принижают его до роли придатка машины... все время его жизни превращают в рабочее время, бросают его жену и детей под Джаггернаутову колесницу капитала»¹.

И добавлено, что это сказал «основоположник ученья Маркс».

Прочитали с опаской, каждый про себя, успокаиваясь на том, что читали оба. Этот листок они, прочтя, кинули в топку. Листок несколько секунд висел там в воздухе, потом, вспыхнув, растворился, исчез, погиб, но мысли о прочитанном — остались.

— А ведь верно пишут?

— Верно, только Джернаутова — это что?

— Не знаю. Валяй трогай!

* * *

Языгов осматривал цеха своего завода, проверял все фазы производства и констатировал в сотый раз поразительное несовершенство процесса — и на своем предприятии и на всех им изученных в России и на Западе.

¹ Текст листовки заимствован из «Капитала» К. Маркса. (См. К. Маркс, Капитал, том I, Госполитиздат, 1953, стр. 651.)

Он рассматривал процесс с точки зрения будущих прибылей и возмущался его недостаточной продуктивностью... Владелец представил себе идеальное агрегированное оборудование, работающее непрерывно, от первой до последней стадии автоматически: от момента засыпки угля и шихты до выпуска собранного и готового для полигона орудия. В сущности, полагал он, это возможно. Человек, прошедший путь от каменного топора до заводов «Steel Corporation» и Krupp'a, сможет додуматься и до комбинированного завода-автомата.

Языгов вновь и вновь продумывал переустройства, особо необходимые в свете сложившихся за последнее время отношений с работополучателями. Статистика, за которой он пристально наблюдал, давала следующие показатели ¹:

1905 г. —	13 995 забастовок с	2 863 173 участниками;
1906 г. —	6 114 забастовок с	1 108 406 участниками;
1907 г. —	3 573 забастовки с	740 074 участниками;
1908 г. —	892 забастовки с	176 101 участником;
1909 г. —	340 забастовок с	64 166 участниками;
1910 г. —	222 забастовки с	46 623 участниками;
1911 г. —	466 забастовок с	105 110 участниками,

и по предварительным данным—1912 год уже давал до 2000 забастовок с 700 000 — 800 000 участников.

Предстояли огромной важности решения. Языгов предвидел враждебную инертность бюрократов в министерстве торговли и промышленности, в морском министерстве; он предвидел напор рабочих, учитывал их возрастающую силу. Но он опирался на опыт Запада, его финансовое содействие и на «великолепные» результаты последних лет, показавшие, что русская промышленность за десятилетие с немногим, несмотря на удары 1905 года, подняла доходы на шестьдесят процентов и по концентрации живой наемной силы уже превосходила Запад, уступая ему, однако, в абсолютных показателях.

Началась жестокая война за изгнание или сокращение людей опасных, требовательных и политически неблагонадежных... Система работодателей выступала против

¹ Таблица стачечной статистики в России с 1905 по 1911 год заимствована из статьи В. И. Ленина «Стачки в России». (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 19, стр. 484).

всех рабочих и каждого из них в отдельности, за производство автоматизированное, менее зависимое от живой рабочей силы, предельно ускоренное и предельно прибыльное.

А пока вся жизнь рабочих заключалась для Языгова и ему подобных в краткой формуле: «Они мне стоят четыре процента себестоимости стали». Сталь же продавалась ими значительно выше себестоимости.

Владелец покинул цеха и находился сейчас в своем рабочем кабинете, откуда были без огласки, но непочтительно вынесены все фамильные предметы убранства (фирма была основана в 1803 году) — кожаные, бронзовые, красного дерева и тому подобные. Их заменила шведская и американская мебель. По стенам висели снимки всех крупных металлургических предприятий мира, географические карты издания Главного штаба, светописные схемы, планировочные картоны. На особом столе стояли модели — «Мой завод в 1803 г.», «Мой завод в 1853 г.», «Мой завод в 1912 г.» и «Мой завод в 1935 г.». Модели были рельефны, точного масштаба и давали наглядное представление об эволюции завода — от площади в полторы десятины к тридцати десятинам и т. д. На видном месте под стеклом красовалась справка:

ПЕРВОБЫТНЫЙ СЫРОДУТНЫЙ СПОСОБ ПЛАВКИ

На каких основах зиждется производство мадрасских кузнецов-металлургов, сохранивших первобытный способ?

В их горне за 24 часа можно сплавить 200 кг руды и при расходе 200 кг угля можно получить сырой болванки около 80 кг.

Таким образом, потери металла в производстве, на что прежде всего надо обратить внимание, составляют около 150% от всего веса годного металла. Не менее чудовищен и расход топлива, равный 250% по весу годного металла. При этой операции занято рабочих вместе с мастером — пять человек, что дает затрату около 1500 трудчасов на тонну выплавленного металла.

По данным инженера Ritter von Schwarz'a, при производстве этого количества металла они зарабо-

тают только 83 копейки, что дает немного меньше 0,7 копейки за рабочий час.

Для дальнейшего производства из этой сырой болванки подков, скоб и прочих мелочей элементарного хозяйства потребуется, по тем же данным, труд шести рабочих и четырех мальчиков, которые все вместе заработают 1 р. 29 к. в сутки. За это время из 80 кг полупродукта они получают около 42 кг всяких готовых изделий, с затратой 120 кг угля, то есть эта поделочная работа потребовала расхода топлива в 350% по весу готового продукта.

Всего, таким образом, потребуется на производство этих изделий 320 кг угля на 42 кг изделий, что даст одиннадцати взрослым рабочим и четырем подросткам заработок в сумме 2 р. 21 к.

Несмотря на такую расценку труда, оплата рабочей силы ложится на себестоимость продукта в размере около 37%.

Мы производим сталь, тратя почти в 50 раз меньше труда, и оплата труда ложится на себестоимость от трех до четырех процентов.

Снизу, синими чернилами острым почерком Языгова, было приписано:

*Стремиться в идеале к нолю затрат
при максимуме производительности.*

Технический персонал завода знал эту любимую хозяином справку о мадрасских плавильщиках и кузнецах... Она была неотразима, так как являла прогресс системы воочию и блестяще парировала недовольство людей малосведущих.

В некоторых предприятиях письма сортируются служащими и рассылаются по отделам; в этом случае директора не просматривают всей почты, а ограничиваются лишь просмотром адресованных непосредственно им писем. Но Языгов считал это нерациональным. «Директорам не стоит большого труда просмотреть всю почту, — говорил он, — зато они получают полную картину работы всего предприятия. Главным же здесь

является то, что от них не может быть скрыта никакая переписка, вследствие которой предприятие могло бы потерять хотя бы и незначительные убытки».

Почта доставляла владельцу английскую, американскую, германскую и французскую корреспонденцию.

Языгов отложил немецкий глянцеви́тый проспект и попросил вызвать директора. Они совещались с девяти часов десяти минут до девяти часов двадцати четырех минут. Директора раздражала необходимость изображать американского businessman'a ¹, но он подчинялся, так как получал тысячу триста рублей в месяц и премиальные.

В результате четырнадцатиминутного разговора, одной телефонной справки и личных подсчетов Языгов записал в блокнот:

«Снести́сь с Düsseldorf'ом ². У них на тонну продукции была оплата живой силы в переводе на наши деньги — 63 копейки. Введение новых механизмов уменьшило оплату до 19 копеек. С амортизацией — 27 копеек. Осуществить у нас!

Послать в Düsseldorf ознакомиться...»

«Прогрессивное» мероприятие будет осуществлено. Часть рабочих окажется лишней, ненужной, обесцененной, но себестоимость продукции будет снижена. Пропорционально увеличится доход господина Языгова.

* * *

О прогрессивности процессов в металлургии думал и молодой инженер выпуска 1911 года Санкт-Петербургского Технологического института, наблюдая за посадкой лома в мартен. Мастер Прохор Андреевич, приглядевшись к инженеру, полагал, что хорошо бы снять штаны с этакого хлюста и выпороть его, а пока что тайком просматривал газетку.

Прохор Андреевич обожал чтение, преимущественно объявлений, находя в них особый вкус и разнообразие жизни. Например: «Приданое готовое и на заказ —

¹ Дельца (англ.).

² Дюссельдорф (нем.) — город в Германии.

«Магазин Шварц» — блузы, капоты, мятинэ, жабо, постельное белье, английское столовое белье, чистка и штопка настоящих кружев, приданое для новорожденных». Живут же люди! «С этого дня у вас не будет неудачных снимков! Покупайте Келерские пластинки «Электра-экспресс»! «Швейные машины Зингер продаются исключительно в собственных магазинах, рассрочка платежа от одного рубля. Остерегайтесь подделок! Магазины во всех городах империи». «Требуйте журнал «Геркулес», гл. редактор И. В. Лебедев». «Мол. массажистка приходит на дом...» Хе-хе...

Инженер присел на штабелек динасовых кирпичей, взял один в руки и пощелкал указательным пальцем. Это должно было означать, что он, молодой инженер, даже машинально проверяя качество, хочет услышать обязательный полуметаллический звук кирпича... Инженер волновался. Ужаснее всего было то, что его могли спросить, какой это кирпич, русский или импортный, а он не ответил бы на такой простой вопрос... «Держать кирпич или положить его? Вдруг этот мастер-плавильщик спросит меня?» Инженер ковырял ребро кирпича ногтем и почему-то вспомнил последнюю лекцию в Соляном городке:

«Милостивые государи, металлургия — «творяй ангелы своя и слуги своя пламень огненный» — завладела тайными египетских жрецов, алхимиков, потомков Прометея. (Любил профессор красиво говорить!) Сталь, милостивые государи, совершеннейший металл. Пойдите, милостивые государи, в Эрмитаж, это лучше, чем идти к «Медведю», или «Донону», или куда там вы ходите, и посмотрите клинок толедской шпаги, поднесенной населением Толедо государю Александру II в бытность его наследником. Клинок этот лежит с 1849 года в малой шкатулке, и умещается он там потому, что свернут в виде восьмерки! Вот какова сталь! Более полувека лежит. И клинок изумителен: стоит его вынуть — он идеально прям, пружинит, звенит...»

- Можно начинать, Аркадий Робертович?
- Гм... Начинайте, мастер... Как вас величать?
- Прохор Андреевич.
- Начинайте, Прохор Андреевич.

Инженер вновь предавался размышлениям, забыв о посадке лома:

Как делают карьеру? Что я должен сделать? Вот Чернов сидел, ждал, смотрел, изучал и открыл тайну металлургии, познал разное строение кристаллов при разной температуре — это гениальное открытие, переворот! Весь мир использовал его открытие... Может быть, и я что-нибудь открою — нечто удивительное! Вот здесь, рядом, есть все возможности. Нужен такой металл, который бы противостоял химико-механическим разрушениям при выстреле, вот и все... «Святое беспокойство!» — сказал молодой инженер, то есть я...

— Я был бы рад, Аркадий Робертович, если б вы внимательнее относились к вашим обязанностям...

Начальник цеха был встревожен: невниманием и неопытностью нового инженера (близкий родственник Языгова — ох, эти родственные связи!) могли быть чреваты последствиями... Сталь требует знаний, опыта...

Сталь самых совершенных качеств можно испортить случайной малейшей оплошностью. Формы отливок могут быть испорчены малейшей примесью посторонних веществ, неудачной высотой струи; металл может, захватив воздух, забурлить, образовать массу раковин, пузырей — и принести убыток владельцу...

Но еще больший убыток может принести нарушение заводских порядков совокупными действиями наемных рабочих. Это страшнее неопытных инженеров. Начальник цеха знал, чувствовал настроения в цехах и боялся их.

* * *

Колоссальное, остро осязаемое, то скрытое, то явное влияние приобретала на заводе Российская социал-демократическая рабочая партия (большевики). Гневные, гениальные слова Ленина передавались рабочими из уст в уста, читались ими на страницах большевистской газеты «Правда». Новые раскрывшиеся перспективы воодушевляли рабочих, и тут происходили явления, опрокидывавшие нормы, доселе известные науке. С точки зрения физиологии, рабочие в массе были предельно истощены работой по десять, двенадцать, четырнадцать, а в некото-

рых отраслях и по пятнадцать — шестнадцать часов в сутки. Находить в себе силы для борьбы, требовавшей добавочного крайнего напряжения, могло казаться невыносимым. Но беспримерное движение, питаемое самыми значительными и высокими целями в мировой истории, попирало обычные нормы. Истощенные люди шли на борьбу во имя наконец найденных, подлинных и осуществимых идеалов человечества, шли на борьбу за коллектив, за класс. Они развивали эту борьбу с необычайной энергией, постепенно расшатывая, казавшиеся незыблемыми, законы и порядки.

В связи с этим за заводскими заборами, оградами, проволочными сетями, решетками, кованными железными воротами, за стенами — «надзидала и бдела» заводская полиция и заводская охрана... Люди работали, вынуждены были работать, под надзором полиции, охраны и частных шпионов...

* * *

Старичок, из отставных, просунул носик в цех, сощурился и, подобрав полы сюртука, шагнул вперед, к мастеру.

— Здравья желаю, Прохор Андреевич.

Старичок поздоровался с мастером по-воински, а потом за ручку, и попроще, отечески кивнул рабочим. Те, снимая шапки, кланялись.

— Почет.

— Почтение.

— Аристарху Матвеечу...

Старичку не поклониться — беду сделает. Рабочие знали, что старичок следит за цехами, за отхожими местами: чтобы не засиживались, не курили, не болтали зря, чтоб листков и «Правду» не подбрасывали.

По должности старичок должен был интересоваться всем: не шабашат ли ранее гудка, нет ли где распития вина или иных неуказанных деяний. Во время обхода он должен был убедиться, что заводу не грозит опасность пожара из-за брошенной тлеющей спички или окурка, самовозгорания угля, прямого замыкания проводов и т. п. Все недочеты должны были им заноситься в журнал, с доведением до сведения владельца. Далее он должен был выяснить, все ли огнетушители находятся в порядке на своих местах, а также находятся ли на своих местах

пожарные рукава. Зимой он должен был следить за тем, чтобы во всех нетопленых помещениях был выключен водопровод и спущена вода. Но все это делалось для отвода глаз. На самом деле Аристарх Матвеевич был надзирателем над надзирателями, сторожем над сторожами, главным осведомителем Языгова.

Старичок побеседовал с мастером о том о сем — о здравии, погоде, прочитанном и наблюденном. Мастер с огорчением сообщил, что недосчитались большого количества болтов.

Эти беседы доставляли как бы питание для положенных рапортов владельцу, и, поскольку была суббота, рапорт уже надлежало представить. Беседуя, старичок мысленно нанизывал строки рапорта, писавшегося всегда рыжеватыми чернилами, посыпаемого песком, ибо клякспapiers старичок не признавал:

«Его Высокоблагородию: имею честь донести, что в рассуждении состояния мастеровых литейной за истекшую неделю можно сказать, что оно достаточно, и оные ведут себя тихо, и даже приметил роскошь. Так, у мастерового Василия Белова замечено кольцо, чего ранее не было. О нравственности начальство имеет попечение, но молодые уклоняются. Однако их умеренное число и им предстоит военная служба. Мастер попрежнему является добронравным и отличается поведением, искусством и усердием, с каковыми делает казенные заказы. Отхожее побелили, на что израсходовал сумму, каковая в прилагаемом счете приведена, ибо на стенах этого помещения были начертаны возмущающие слова. В одном из подсобных помещений был наклеен лист с подписью «РСДРП(б)», мною изъятый (прилагаю его при сем) с некоторым повреждением ввиду крепости употребленного неизвестными клея».

Старичок огорченно покачал головой: «Маловато», — и тут же обрадовался, вспомнив о пропавших болтах. Аристарх Матвеевич, дыша в платочек, внимательно присматривался к каждому из проходивших рабочих и, наконец, подозвал к себе молодого парня, недавно поступившего на завод.

— Строгин, тебе сколько болтов дано было?

— Двести.

— Так. А почему недочет?

— Как недочет?

— Так недочет. Поди, друг ситный, да поищи, а то...

В цехе не оказалось недостающих болтов. Причины их пропажи неизвестны: болты либо попали в стружку, в обрезки, в лом, либо отнесены в другой цех. Строгин сообщает старичку:

— Нет. Не найти.

— Гм... Не найти? Сегодня у тебя не найти, завтра у другого. Глядишь, и у завода нехватка будет.

— Сделайте вычет.

— А ты меня не учи. Я — человек ученый. Зачем я тебя обижать буду? Ты мне болты верни и получку получи сполна. А не вернешь, иди на все четыре стороны, сокол... И пометку тебе сделаю: «За воровство».

— Я...

— А ты помолчи.

Строгин остается один. Вор. Вор. Вор! «А ты помолчи...» Расчет. Волчий билет, безработица.

Строгин понимает: он ни за что ни про что приговорен к голодной смерти. Строгин просит позволения остаться в ночную смену. Он поищет, он постарается... Аристарх Матвеевич разрешает.

Утром охрана и полиция обшаривают труп. Аристарх Матвеевич привычно прощупывает подкладку пиджака, перебирает горсточку найденных в карманах вещей: шесть гривен мелочью, карандашик, немножко карманной пыли, состоящей из хлебных крошек, остатков махорки, комочков свалевшейся и истертой материи, и клочок белой бумажки, на которой наспех нацарапано несколько слов.

— Экая скотина. Нашел где повеситься.

Пальцы старикашки теребят застывшие веки, пытаются закрыть мертвые глаза, но веки не поддаются. Старичок ищет в своей книжечке, где по алфавиту записаны все рабочие.

— Строгин — он из тихих.

— Удивили, папаша. Громкие — они не вешаются. Они сами до чужой глотки добираются. Веревку, папаша, вы оставьте. Вам достатка хватает, а мы люди бедные.

— Торговать веревочкой будете?

— Как бог даст.

По двору уже шли в цех рабочие. Старичок, городской и охранник не успели унести покойника и быстро по-
дались в сторону.

Увидев распростертое тело, мастеровые бросились к товарищу. Старикашка стоял, сняв шапку, иногда всхлипывал, крестился и бормотал:

— Сыночек... Прямо, как живой... У меня такой был. Тоже пропал. Владыко, один ты, боже, знаешь горе и грехи человечьи. Девушку он любил. Любовь его засушила. Это бывает. Бабы, они такие...

Старичок говорил тихо, потрясенно.

— А что при нем было?

— Шесть гривен оставил покойник.

— Капита-ал!

Рабочие вздыхали:

— Эх, дура-парень, из-за бабы.

— Куда его теперь? В участок?

— А что при нем было все-таки? Кто его нашел?

Старичок глядел на покойника, не отвечая, пока его не дернул кто-то за плечо.

— Выкладывай его имущество!

Старичок метнулся, поглядев на городского и охранника. Те посмотрели на толпу и отвели взгляд от старичка. Старичка еще раз толкнули. Сказывалось вечное недоверие, питаемое ненавистью. Покойника мало кто знал, парень он был молодой, из другого цеха, но что-то в горести надзирателя вызывало подозрения. Личность эта была рабочим хорошо известна.

Старичок полез в карман, долго ковырялся, укоризненно качал головой:

— Эх, господа, господа...

Он вынул деньги, сочувственно вздыхая о бедности людской. Один из рабочих подставил руки, и медяки тяжело падали под общий счет: «Пять, восемь, двенадцать, двадцать...»

Старичок покопался еще и сказал, не вынимая руку из кармана:

— Все.

Товарищи в упор глядели на надзирателя. Один встряхнул его:

— Не верти вола! Отвечай, чего зажимаешь?

Старик удивленно расширил глазки и переспросил:
— Что зажимаю?

Спрашивавший вытащил руку Аристарха Матвеевича из кармана и стиснул ее до боли. Старикашка пискнул и выронил бумажку. Казалось, что белый листок на прокопченном полу — как крик — взывал о мщении.

Бумажку подняли, расправили и прочли:

— «Старик меня обвиняет в воровстве. Я невинен, но доказать не могу. Разве голосу рабочего верят? Решаю обратить внимание на положение рабочего и кончаю себя. Прощайте».

— Товарищи, снимите шапки!

Молчание наступило... Тишина...

Самоубийцу подняли и понесли...

Растерявшиеся охранники испуганно, снимая шапки, давали мастеровым дорогу... Пусть уносят подальше от завода...

Покойник лежал на двух составленных столах, ногами к двери. Голова была чуть откинута назад. Руки беспомощно свисали, усталые от работы руки с натертыми мозолями, с резко обозначившимися царапинами от металла.

Люди вглядывались в мертвое лицо, в открытые глаза, которые, казалось, приказывали помнить просьбу — обратить внимание на положение рабочего. Посоветовавшись, товарищи пошли обратно на завод. В комнате остались женщины: хозяйка, соседки.

На шее покойника темнел след от веревки. Женщины прикрыли его. Они твердо блюли похоронный ритуал: отыскивали вещи покойника, вынули белье, почистили и отряхнули его праздничный пиджак, обмыли и одели покойника.

Женщины, наконец, распахнули дверь. Окно было завешено одеялом, и в комнате поэтому было полутемно. Покойник был прибран. От нескольких зажженных свечей шел восковой теплый дух... В ногах стояла одна из женщин в черном платке и монотонно читала псалтырь...

Комната наполнялась людьми... Кто-то подходил и целовал покойника, кто-то тайком отрывал кусочки его пиджака — на счастье. Перекрестясь, вошел и замер в

стойке околодочный надзиратель, придав себе осуждающий, но в то же время скорбный вид.

Огоньки тонких свечек дрожали, воск стекал... Чтица, застыв, бормотала какие-то молитвы. Подходили с ночной смены рабочие — весть о самоубийстве облетела весь завод.

Присутствие покойника, полутьма, шепот, свечи, молитвы, с детства утрашавшие «законы» и незнание того, что именно следовало бы делать, — держали людей в оцепенении.

В комнату вошел человек и громко спросил:

— Товарищи, что же это?

Он сорвал с окна одеяло, и в комнату ворвался солнечный свет. Стало сразу спокойнее, проще... Человек вынул из рук мертвеца вложенный женщинами образок и задул свечу.

— Гаси остальные, товарищи. Покойник не об этом нас просил.

Свечки погасили. Женщины стояли, пораженные ужасом. Околодочный, поддерживая шашку, шагнул вперед:

— Незаконно самоуправствуете и кто вы такой?

— Действую я именно законно, извольте заметить. По законам империи (товарищ произнес это слово медленно, веско), самоубийцы лишаются церковного погребенья и отлучаются от церкви. Знать бы надо.

Околодочный шагнул назад, но продолжал соображать — кто же именно этот человек.

— Но, виноват, все-таки кто, пожалуйста, вы будете?

Товарищ ответил четко:

— Член Государственной думы. От рабочих. Мартынов — моя фамилия.

— Виноват.

Околодочный соображал, как ему надлежит поступить, и припоминал инструкции, вменявшиеся в подобных случаях. Вмешательство непредвиденного обстоятельства, а именно — законоположение об отлучении от церкви самоубийц, вносило неясность в вышеупомянутые инструкции, и посему околодочный побежал докладывать о происходящем по начальству.

К шести часам, после работы, пришли заводские.

— Наши в «Правду» объявление дали.

— Гроб покупают.

— О покойнике есть кому позаботиться.

К дому подходил народ и с других заводов и фабрик. Некоторые несли железные крашенные венки с белыми и красными лентами.

Женщины собирались на лестнице, выбегали на улицу. Предчувствуя, что придут «усмирять», они загоняли детей в квартиры и снова, сгорая от страха и любопытства, бежали во двор.

Околодочный скоро вернулся с нарядом городских. Он задерживал в подворотне рабочих, отбирал венки, читал написанные черной краской на лентах слова: «Ты жертвою пал в борьбе роковой». «Спи, товарищ, месть за тебя будет», «Вечная память страдальцу». Околодочный, оторвав первые две ленты, аккуратно сложил их и спрятал в боковой карман, оставил третью, отрезав ножом — «страдальцу»...

— Виноват, служба. А теперь пожалуйста, но без лишнего шума...

Комната, где лежал покойник, уже не вмещала пришедших. Двор, подворотня, улица заполнились людьми.

На лестнице рыдала женщина. В толпе спрашивали: «Жена?» — и старались рассмотреть. Потом узнали, что не жена, а так — от чувства плачет резинщица с «Треугольника». От нее пахло бензином и резиной — неистребимым запахом производства... Она иногда шептала: «За семьдесят пять копеек жизнь травишь». (Работницы «Треугольника» получали за десять — двенадцать часов самоотравления — семьдесят пять копеек.)

К дому шли и шли рабочие, побуждаемые чувствами возмущения, тоски и гнева... Они видели полицию — появилась уже и конная, — но со злой решимостью не обращали на это внимания.

На стене дома появились надписи, повторявшие надписи на срезанных околодочным лентах: «Спи, товарищ, месть за тебя будет», «Ты жертвою пал в борьбе роковой»...

Конные полицейские нажимали на людей, бросая короткие «оссади!».

Наконец показался гроб. На крышке гроба алели ленты венка. Он двигался медленно, плыл, колыхаясь, над головами. Толпа сняла шапки.

Конные разом двинулись вслед. Один, шпоря коня, поравнялся с гробом и, перегнувшись к нему всем телом, рванул алую ленту. Венки упали, оцарапав острыми

железными листьями лицо Мартынова, несшего гроб. По лицу побежала кровь... Товарищ осторожно утер лицо рукавом и сказал: «Пошли дальше...»

Толпа двигалась плотной колонной, окруженная конной и пешей полицией, вливаясь в общий поток улицы, нарушая движение ломовых подвод, извозничьих пролеток, оттесняя пешеходов. Окрики городских заглушались ременными ударами по спинам битюгов, матерщиной извозчиков, дребезжанием трактирных органчиков, гомоном торговцев, лотошников и барахольщиков.

У кладбища процессию поджидал новый наряд полиции. Гроб опустили у вырытой заблаговременно ямы.

Распоряжавшийся всем Мартынов встал у гроба. Люди тихо стояли, обнажив головы, ощущая всю тяжесть своей жизни.

Мартынов взял слово.

— Выполним волю покойного — обратим внимание на положение рабочего класса. За десяти-, а то и двенадцатичасовой рабочий день мы получаем по шестьдесят пять — семьдесят пять копеек. Промышленники заставляют нас подымать выработку так, что выходит у нас по пятьдесят дней вместо месяца. Люди не видят жизни, не видят даже своих убогих углов... Мы начали, товарищи, объединяться! Сообща легче добиваться своего...

Каждый из присутствующих знал все это, но точность фраз, громко произнесенных, выразительность слов и убежденность оратора вызывали в людях жажду активности, протеста и чувство солидарности.

Мартынов продолжал говорить:

— Прощай, товарищ Строгин, смерть твоя — лишний урок нам, живым...

Полицейский пристав стоял, заложив руку за борт шинели, и напряженно кивал головой, как бы подтверждая слова оратора. Но этот странный жест выражал удовлетворение пристава тем, что Мартынов не касался политики и говорил только о материальных нуждах, тем, что пока все благополучно и речь подходит к концу. Но он ошибался... Мартынов заговорил еще горячее:

— Погибший просил обратить внимание! Мы видим, что управы на зажавшихся хозяев нет. У них круговая порука против нас, рабочих! Терпеть, как безгласный

скот, мы больше не будем! Ясно, что нам делать надо: веточки не общиплешь,— по корню рубить надо!

Пристав встrepенулcя и гаркнул:

— Не давай говорить! Держи его! Конных — сюда!

Конные рванули на кладбище, топча могилы и осенние цветы, высекая искры из могильных плит.

Конные врeзались в толпу, хлеща нагайками направо и налево.

Рабочие пытались вырвать могильные кресты, выломать прутья решеток, чтобы защищаться. Кто-то крикнул:

— Партийных не выдавать!

Прижатый к чьему-то памятнику, стоял Мартынов. Его схватили, но он продолжал говорить. Тогда пристав засунул ему в рот свою перчатку. Один из мастеровых подхватывал тяжелые цветочные горшки с соседней могилы и, повторяя беспрестанно: «Вас, сукины сыны, на Дальнем воевать не было, а тут вы есть!» — швырял их в полицейских...

Два городских скрутили ремнем руки мастерovому... Он ударил одного головой, тот упал; другой городской — тяжелый, грузный — вскочил на гроб, чтобы схватить мастерового сзади. Крышка гроба треснула, и нога городского наступила на мертвеца.

Рабочих разогнали... Мартынова, мастерового и еще человек пятнадцать — шестнадцать увели городовые.

Растоптанный и изувеченный труп скинули в разбитом гробу в могилу. По дорожкам валялись какие-то обрывки одежды, втопанные в грязь шапки... В наступивших сумерках могильщики, торопясь, забрасывали могилу землей.

* * *

Упрямо, систематически, вооруженная ни с чем не сравнимым умением познавать действительность, ее законы и корни жизненных явлений, в предвидении широких исторических перспектив действовала Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков). Бесстрашно попирая законы империи, обращались большевики к рабочим, настойчиво и терпеливо направляя и подготавливая народ ко второй революции. Не сгибаясь в тюрьмах и на каторге — они являли примеры небыва-

лого мужества. Они упорно сохраняли силы, чтобы бросить их при первой возможности на службу народу, готовые отдать всю свою жизнь борьбе за революцию. Они шли, как командиры, в первых рядах, когда заводской народ, измученный и доведенный до предела человеческого терпения, — поднимался на борьбу за свои права.

* * *

В час дня Языгов вышел из Адмиралтейства. Он только что произнес в кабинете министра обдуманную вчера в автомобиле речь об интересах отечественной промышленности, опередив на тридцать минут представителя английской фирмы «Виккерс и К^о», которому он успел передать приглашение пожаловать к нему на завод. Он имел в виду сегодня же использовать, под видом беседы, этого англичанина как бесплатного консультанта с европейской репутацией и, может быть, наметить с ним некие пути соглашения.

Чтобы не терять времени и дважды не гонять машину, он нанес визит в Главный штаб — через площадь, пробыв там ровно столько, сколько требовалось, чтобы вернуться к подъезду Адмиралтейства именно в ту минуту, когда оттуда выходил англичанин. Последний несколько удивился, увидя Языгова, но был гостеприимно, по-русски — *wonderful manners*¹ — увлечен в автомобиль. В последнюю минуту Языгов объяснил англичанину, что по рассеянности забыл трость, извинился и вернулся в вестибюль, где его, как было условлено, уже поджидал сияющий, выбритый, румяный капитан первого ранга. За полученные им две тысячи рублей он дал Языгову всю необходимую информацию и негромко сообщил про представителя фирмы «Виккерс и К^о»: «У него не выгорело». Сообщение это, в переводе на одну задуманную Языговым финансовую операцию — *coup de bourse*, — могло дать пятьдесят тысяч рублей.

Языгов вернулся к ожидавшему его англичанину и, попросив прощения за «невольное отсутствие», любезно заинтересовался успехами высокочтимой фирмы «Виккерс и К^о». Разговор шел по-английски, так как англича-

¹ Прекрасные манеры (англ.).

нин разделял взгляд Теккерей на то, что при встрече двух лиц, принадлежащих к разным национальностям, поневоле один играет роль дурака, говоря на чужом языке...

Автомобиль пересекал Дворцовую площадь. Англичанин смотрел на дворец, занимаемый одним из акционеров «Виккерс и К^о», крупнейшим мировым капиталистом, вкладчиком Bank of England¹, русским джентльменом, который очень тонко вел свои дела. Так, например, он во время русско-японской войны получал доход от быстро выросших дивидендов «Виккерс и К^о», поставившей вооружение Японии. То обстоятельство, что джентльмен был *русским царем*, никак не влияло на аккуратность расчетов и платежей, тем более что они благодаря заказам Японии, повысились: дивиденд в 1901, 1902, 1903 и 1904 годах определялся в 15%, а в 1905 — в 20% и курсовая цена бумаг дошла до четырех с половиной фунтов стерлингов, то есть каждая акция в один фунт стерлингов нарицательной цены представляла стоимость в четыре фунта десять шиллингов. Это было финансовым выражением войны, за время которой было убито и утоплено 53 000, искалечено 57 000 и ранено 148 000 русских.

Англичанин, отведя взгляд от Зимнего дворца, вспомнил отправленное им сегодня утром в Англию письмо:

«Dearest! Your name woke me this morning. Oh, how are you? Awake? Up? Have you breakfasted? I ask you a thousand things. You are thinking of me, my beloved? But what are you thinking, my beloved? Your dear letter is with me while I write... Your never satisfied... Oh, no, no! shocking...»²

Он был спокоен и лыс, новобрачный господин от «Виккерс и К^о». Он лишь десять дней тому назад вернулся из

¹ Английский банк (англ.).

² «Дорогая! Ваше имя разбудило меня утром. О, как вы живете? Вы проснулись? Встали? Вы завтракали? Я спрашиваю вас о тысяче вещей. Надеюсь, вы думаете обо мне, любимая? И что Вы думаете, моя любимая? Ваше письмо здесь, рядом со мной. Ваш, вечно неудовлетворенный... О нет, нет, это неприлично...» (англ.).

свадебной поездки в Шанхай и Индию. Он думал о ней, о своей прелестной маленькой, самой дорогой...

Машина шла по Невскому проспекту. От Михайловской до Караванной двигалась толпа в солнечно-голубом свете петербургского полдня. Феноменальные женщины прогуливались, наслаждаясь собой, поджидая знакомых, разглядывая витрины. Английские блузы, присланные из Германии, ценою по десять, тринадцать и пятнадцать рублей, просились с витрин на их роскошные бюсты. Обувь у Вейса была пленительна. Изгибы нежно окрашенных корсетов в витринах магазина «Modes» волновали гимназистов. Из Пассажа неслись одуряюще сладкие запахи духов и пудры. Оптика Урлауба сверкала, как Голконды¹. Львы «Сан-Галли»² стерегли несгораемые шкафы банкиров.

Невский проспект сверкал...

Языгов продолжал беседу с англичанином уже в своем заводском кабинете. Англичанин делал свои замечания, сося трубку «Брайар», и после каждой фразы, будто глотая собственный язык, произносил: «I beg your pardon»³.

— У нас не знают этих выпуклых камней...

— Булыжник.

— Б'юлиджник, yes...⁴ увеличивает расход на транспорт. Мы не так богаты, и мы делаем гладкие улицы и дороги. Потом я видел, I beg your pardon, у вас пиленые куски ценных деревьев.

— Дрова.

— С какой целью они содержатся на металлургическом заводе?

— Мы ими отопливаем служебные помещения. В России избыток леса...

— Значит, дерево у вас сгорает? I beg your pardon, нужно всегда и везде тушить горящее дерево. Оно имеет большую промышленную ценность. Употребляйте лучше английский уголь... Вы можете из дерева делать винто-

¹ Алмазы Голконды. Голконда — местность в Индии, славившаяся шлифовкой алмазов.

² Фабричная марка фирмы «Сан-Галли».

³ Прошу прощения (англ.).

⁴ Да (англ.).

вочные лежа, стеллажи для снарядов, зарядные ящики и много других предметов, которые могут сейчас же найти спрос на Балканах...

Англичанин говорил, как лектор. Языгов слушал его, испытывая острое чувство зависти. Мысли одна за другой сверлили мозг:

Вот, вот, он, английский делец! Вот собранные воедино City, Bank of England, King, British Empire, Parliament, Army and Navy, Nelson and Trafalgar, Rudyard Kipling¹.

Вот один из джентльменов, насилующих крохотных китайков и посылавших домой своим sweethearts² нежные письма; один из сторонников трезвости, напивающихся «случайно» каждое воскресенье; потомок купцов-завоевателей, проткнувших по очереди в холодной торгашеской злобе кишки Испании в XVI веке, Голландии в XVII веке, Франции в XVIII и в начале XIX века и увеличивших колонии Британии в девяносто четыре раза против размеров метрополии; один из «географов», рассматривающих океаны мира как свои территориальные воды; один из представителей колониальных компаний и компаний метрополии, знающий наизусть — сколько будет заплачено им за каждый «полезный» шаг.

Языгова жгла зависть. Он видел отсталую царскую Россию, зависимую от этих джентльменов, от их кредитов и поставок, и он, в мечтах, превращал ее в «просвещенное» единое блестящее европейское предприятие:

Династия, двор... Это лишь *faux frais* — накладные расходы... Устарелые конституции эти следует модернизировать, «und der König ist absolut, wenn er unseren Willen tut...»³. Государь может заняться единственным полезным делом — вложить свои средства... Дворянам нужно превратить свои тухлые «гнезда» в рациональные предприятия либо убраться

¹ Сити, Английский банк, король, Британская империя, парламент, армия и флот, Нельсон и Трафальгар, Редьярд Киплинг (англ.).

² Возлюбленным (англ.).

³ «И король абсолютен, когда он выполняет нашу волю...» (нем.).

и очистить место хорошим хозяевам. Им бы поучиться у фермеров, хотя бы в Дании. Убрать Синод, и пусть они конкурируют — деловые люди различных типов, занятые производством и распространением религиозных идей через свои деловые аппараты. Каждый в конце концов волен оплачивать своего бога, как этот бог того заслуживает...

В раскрытые окна кабинета врывается шум железнодорожных составов. На шестиосные американские платформы грузили готовые изделия: орудия, броневые плиты, башенные установки, станки и лафеты, учебные стволы, стальные пружины, снаряды всех калибров, торпеды, приборы Обри, оптические прицелы, трубы.

Отправляемые машины и части были упакованы в сплошные или брусковые ящики. Упаковка была не только тщательной, но и прочной.

Языгов сказал англичанину:

— Наши заводы в движении всюду: Путиловский, Обуховский, Охтенский, Адмиралтейский, Франко-Русский, Балтийский, Невский, Николаевский, Пермский, Тульский, Ижевский, Шлиссельбургский... Военная и судостроительная промышленности указывают путь империи Российской. Наши заводы в движении и множат славу Российского оружейного производства: Grand Prix¹ — российским орудиям на Всемирной выставке в Вене в 1873 году! Grand Prix — российским орудиям на Всемирной выставке в Париже в 1900 году! И в будущем Grand Prix — в битве народов!.. Российские оружейные заводы льют особую сталь. Обуховский льет два миллиона пятьсот тысяч пудов в год и к июлю 1912 года выпустил тринадцать тысяч двести третье орудие со дня начала работы завода...

Беседа коснулась исключительного значения металлургии. Англичанин перелистал свою записную книжку:

«Тонна брони стоит 2650 марок. Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1894 г.			
»	»	»	1750 марок. Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1895 г.

¹ Первый приз (франц.).

«Тонна брони стоит	1700 марок.	Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1898—1899 гг.
» » »	1530 марок.	Завод Карпеджи, САСШ, 1905 г.
» » »	1575 марок.	Южно-Вифлеемский завод, САСШ, 1905 г.
» » »	1430 марок.	Завод Мидвэйл, САСШ, 1903—1905 гг.
» » »	1265—1360 марок	на всех трех заводах, 1908 г.»

— Итак, I beg your pardon, сталелитейная промышленность за четырнадцать лет борьбы конкурирующих фирм снизила цены на броню на пятьдесят процентов — с двух тысяч шестисот пятидесяти марок до тысячи двухсот шестидесяти пяти — тысячи трехсот шестидесяти марок. Вам известно, что этот процесс продолжается по сей день. Чтобы устоять, I beg your pardon, российское производство также должно снижать и снижать цены, повышая производительность труда и снижая оплату рабочим...

Металлургия, военная и судостроительная промышленность Старого и Нового Света состязались:

«Заводы Шихау принимают к исполнению броненосцы, минные крейсера и миноносцы со скоростью хода от 21 до 35 узлов. Германия, Данциг, Эльбинг». «Товарищество Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» в С.-Петербурге prepares всякого рода предметы из наичистейших сортов резины, отвечающих техническим условиям Военного и Морского ведомств: накидки для гг. офицеров, шланги, шины, рукавицы, прокладки, фланцы и т. д. и т. д.». «Акционерное о-во «Вулкан» в Штеттине и Гамбурге. Десять тысяч рабочих и служащих; изготовляет броненосцы, крейсера, минные крейсера, миноносцы всевозможных величин и скоростей хода. Представитель — С.-Петербург, Троицкая, 20». «Вифлеемский завод, Соединенные Штаты. Лучшая броня, броневые установки, станки, отливки...». «Фабрика гнутых буквых изделий, Братья Тонет из Вены. Специальная

мебель типа «Флот», прием заказов на полные обмелровки кают-компаний, офицерских собраний, казенных учреждений. Иллюстрированные каталоги, планы и сметы бесплатно. В Санкт-Петербурге: Невский 16 и улица Гоголя 9». «Завод масел А. Эльрик и К°, Рига. Специально для флота: масло для динамомашин, моторное масло для подводных лодок». «Товарищество Тентелевского химического завода. Краски для надводных частей судов, специальные краски для подводных частей судов, краски «Дельта» против ржавчины». «Карл Цейсс. Бинокли. Большое поле зрения. Высокая светосила. Для гг. офицеров умеренные цены». «Вильям Крейтон, Або. Быстроходные крейсера, миноносцы...». «Григорий Иосифович Рабинович, Невский 24. Продажа натуральной нефти, нефтяных остатков, керосина, бензина, машинного масла». «Торговый дом А. А. Добрынин, Апраксин двор, Инструментальная линия 14, телефон 23—11. Специальное производство корабельно-каютных работ».

Ежедневно, ежечасно капиталистический мир хрипел, скрежетал, вопил в погоне за прибылью, за дешевыми ценами.

— Дайте сбыт!

— Больше покупайте!

— Массовый сбыт необходим. Это главное условие жизни! Это воздух, кислород!

День и ночь, настойчиво, всюду конкуренты преследовали, душили, давили, топтали друг друга... Остервенелые капиталисты ускоряли и удешевляли производство, не останавливаясь ни перед чем: мужчина производит за рубль меньше, чем две женщины или трое детей, — мужчину выгнать, взять за рубль двух женщин или трех детей. Хаотический поток товаров был подобен потоку лавы. В начале XX века за выгодную коммерческую сделку шел смертный бой... Взлеты и кризисы, взлеты и неизбежные кризисы, вызванные отсутствием сбыта продукции, банкротствами и прочим.

Каждая фаза этого чудовищного процесса имела глубочайшие социальные и исторические корни и, следовательно, была закономерна. Капитализм, разбухая, поли-

рал все. Но, создавая грандиозную частную промышленность, он породил новый класс рабочих-пролетариев — класс будущих победителей!

— I beg your pardon, позвольте поделиться еще некоторыми моими взглядами. В наступающем 1913 году мы израсходуем на армию и флот восемьдесят миллионов фунтов стерлингов. Сообщения об этом встречаются неприятными для слуха восклицаниями на левых скамьях парламентов, в частности и у вас. (Англичанин польстил русской Государственной думе.) Я наблюдаю за этой полемикой... Я остановлюсь непосредственно на интересах, касающихся России. Это факт, что Россия дает уже двадцать пять процентов всего мирового урожая пшеницы — 27 миллионов тонн из 110 миллионов тонн, пятьдесят процентов мирового урожая ржи — 25 миллионов из 50 миллионов тонн, и более трети мирового урожая ячменя — 13 миллионов тонн из 35 миллионов тонн. В ближайшее трехлетие, к 1916 году, Россия имеет шансы по продукции хлеба перегнать янки. Экспорт же стоит в катастрофической зависимости от до сих пор неразрешенного вопроса о проливах. Проливы пропускают до пятидесяти процентов всего экспорта России. Стоимость русского экспорта — я говорю о зерне — в прошлом, I beg your pardon (англичанин снова раскрыл свою записную книжечку), нет, в позапрошлом 1910 году была равна, если я не ошибаюсь, семистам тридцати пяти и трем десяткам миллиона рублей. I beg your pardon, я никоим образом не думаю, что я сообщаю лично вам что-либо новое. Вопрос идет о степени вреда, причиняемого нам Германией, стремящейся утвердиться на Балканах, на проливах. Речь идет о роли морской торговли и о роли российского военного флота, судостроения, о пользе дружественных сношений с британскими организациями, имеющими известный опыт и вес в данной области.

При упоминании о Германии у Языгова возникла острая ассоциация: он представил себе сразу хорошо знакомый ему Мюнхенский музей естествознания и техники — идеальный парад машин. Это — немецкий музей сокровищ немецкой техники; демонстрация немецкой энергии,

немецкого упорства и немецких материалов... Этот музей являл миру, какие творения созданы немцами, начиная от детских сосок до артиллерии Круппа. В почетном зале высилась статуя Вильгельма II, и Языгову почудилось, что он слышит слова немецкого гимна: «Deutschland, Deutschland über alles!»¹

Джентльмен продолжал говорить, оперируя абсолютно точными данными. Их без труда можно было найти в «Statesman Year Book»² за 1912 год, но манера подачи этих фактов импонировала. Англичанин располагал их так, как это было нужно для того, чтобы прийти к двум выводам: 1) размер прибыли России будет больше, чем стоимость войны, ценой которой будет получена эта прибыль, и 2) в данном предприятии наибольшую роль может сыграть представляемая им Англия, в частности фирма «Виккерс и К^о», сотрудничество с которой оказало бы прекрасное влияние на укрепление давних братских связей металлургических заводов России и Британии. Последний вывод пришлось сделать потому, что попытка обойти Языгова, предпринятая англичанином час тому назад в Адмиралтействе, не удалась. Оба прекрасно все это понимали, но не показывали и вида... Языгов знал, что ему делают вынужденное предложение, не лишенное выгод для него. Он понимал, что за беседой о проливах (с английской точки зрения это была лишь подсобная деталь — конкуренция Британии с Германией) стоит гораздо более важный вопрос об Азии, и в перспективе времен Языгов видел Левант³, Монголию, Тибет, Китай, Индию, Персию, морские пути, на пространствах которых должны были решаться англо-русские споры. Русский учитывал жадность династии, двора, дворянства. Он брезгливо представил себе потного, в чесуче исправника Константинопольской губернии... «Ну что ж — без того...»

Англичанин понимал, что рекомендуемые им деловые сношения приведут к росту русских сил, которые уже были намечены новым стратегическим планом (извест-

¹ «Германия, Германия превыше всего!» (нем.).

² «Ежегодник государственного деятеля» (англ.).

³ В то время этот термин употреблялся для обозначения стран Ближнего Востока.

ным английской разведке) к передислокации на борьбу с Англией, после разрешения вопроса о Германии и о проливах. Но тем не менее дела есть дела: в ответ на русские «приготовления» немедленно последуют английские, что повысит доходы фирмы «Виккерс и К^о».

Собеседники оперировали грандиозными политическими категориями, гарантиями и прогнозами.

Со стороны могло показаться, что правительства являлись для них лишь агентствами для поощрения международной торговли металлическими «изделиями»... Оба умышленно обходили молчанием вопрос о неотвратимо нараставшем революционном движении, так как оно было вне их прогнозов и гарантий.

* * *

Расставшись с представителем фирмы «Виккерс и К^о», Языгов обдумывал основные положения только что состоявшейся беседы. Механически перелистывая подготовленные ему отчеты, он заметил донесение Аристарха Матвеевича и внимательно прочитал исписанные витиеватым почерком старика страницы.

— Гм... Самоубийство! Перестарался старикан!

Языгов расправил смятую листовку, приложенную к донесению.

«...пролетариат, — говорят Маркс и Энгельс, — в борьбе против буржуазии непременно объединяется в класс... путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные отношения...»

«...вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата...»¹

— Руки коротки, но... проповедь этих преступных взглядов все усиливается. Видимо, мне придется на заводе принимать особые меры.

¹ Текст листовки заимствован из «Манифеста Коммунистической партии». (См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии, Госполитиздат, 1948, стр. 80 и стр. 78.)

Языгов еще раз перечел листовку и сделал на донесении Аристарха Матвеевича следующую надпись:

Действовать осмотрительнее! Сообщать ежедневно!

* * *

В отдельном кирпичном здании, напоминавшем казармы, помещались контора и управление завода: коммерческий отдел, главная бухгалтерия и касса; отделы корреспонденций, продажи, внешних сношений, рекламы; представительский и технический отделы, конструкторское бюро, учетный отдел, расчетная бухгалтерия.

В узких длинных комнатах, заставленных столами и конторками, среди которых, как форты, возвышались огромные дубовые шкафы, склонившись над конторскими книгами, от юности до старости, в вечной повторности одних и тех же служебных обязанностей, сидели в панихидной тишине люди обоего пола, одетые в костюмы, похожие по крою и цветом на костюмы «привилегированных».

Эти костюмы были необходимы их обладателям, чтобы подчеркнуть разницу между собой и заводскими рабочими, чтобы неустанно уважать себя хотя бы за это, не имея на то других оснований.

За небольшой дверью с окошечком, над которым была надпись: «Вход воспрещен. Вызывать звонком» — действовал секретный отдел. Отдел следил за несколькими тысячами технических и научных изданий и за всеми конкурирующими металлургическими предприятиями. Он изучал все материалы мировой патентной литературы, систематизировал четыреста тысяч справок и донесений. Он составлял сводный отчет о состоянии техники и науки. Отдел фиксировал всякое открытие и изобретение, используя его, если оно было выгодно господину Языгову. Отдел проверял, не нарушаются ли где-либо и в чем-либо монопольные права их хозяина. Отдел следил за малейшим движением научной мысли, немедленно пресекая на заводе практическое осуществление целесообразных, но почему-либо невыгодных Языгову опытов.

При регистрации поступающих печатных произведений различали: печатные проспекты, каталоги и деловые бумаги фирм-поставщиков; фирм, которые могут быть

привлечены к поставке; и, наконец, печатные брошюры и каталоги фирм-конкурентов. Последние часто оказывались весьма ценными, но получение их было связано в большинстве случаев с трудностями. Иногда приходилось доставать их окольными путями.

Здесь же регистрировались и учитывались донесения заводской и полицейской агентуры. В секретной литературе документы систематизировались по их содержанию. Папки хранились в шкафах. Между папками ставились заглавные карточки, на выступающих частях которых имелись надписи. За карточками с надписью «рабочие» ставились папки, в которых хранились все материалы, относящиеся к рабочим: справки полиции, внутренней охраны, биографии, фотографии, договоры и т. п.

Переводчики обоего пола годами, в молчании, видя только белые полосы воротничков и спины впереди сидящих, шелестели страницами огромных, похожих на библии, технических словарей.

Требовалось невероятное усилие воли, чтобы представить себе всех этих людей возбужденными, радостными, веселыми, болтающими. Почти невозможно было представить себе их в домашней интимной обстановке.

Запах бумаги, графита, чернил, резины, сургуча, клеенки был какой-то специальной средой для одновременного массового «консервирования», которому подвергались служащие по двадцать, тридцать и более лет подряд. Это давало поразительные результаты в соединении со следующей волшебной рецептурой:

«Терпение и труд все перетрут». «Стремись жить в согласии со всеми, но извлекай пользу из всего». «Не всякий родится богатым — стремись к богатству». «Богатый бедному не товарищ». «Послушание и терпение — залог успеха». «Просьпаясь утром, спрашивай себя: «Что я сегодня сделаю, чтобы заслужить благодарность начальства?» — и ретиво приступай к работе». «Каждый — кузнец своего счастья».

Результатом являлось то, что служащие работали со всем напряжением сил, со слепой преданностью чужому делу, в тщетном ожидании наград и повышений.

В этой среде (мелкой буржуазии и обнищавших дворян) высоко ценилось «воспитание». Главной и неис-

каемой темой были разговоры о погоде, ибо они их ни к чему не обязывали. В постоянной заботе о корректности эти люди исключали непосредственность и воодушевление. Даже их веселость была печальной.

Крупнейшей фигурой среди них, несомненно, был главный бухгалтер, который презирал американскую бухгалтерию и веровал в то, что, несомненно, лучшим видом бухгалтерии является двойная. Главное ее преимущество заключалось в том, что бухгалтер в процессе работы немедленно замечает ошибку и избавляет предприятие от убытков; кроме того, при двойной бухгалтерии получается точная картина состояния предприятия и каждого его отдела в любой момент. Главный бухгалтер вел следующие книги:

1. Инвентарные книги и книги балансов.
2. Книги закупок для всех закупаемых товаров.
3. Книги продаж всех продаваемых товаров.

В эти книги закупок и продаж заносились все суммы, которые позже переносились в контокоррентную книгу.

4. Кассовые книги для записей всех выплат и поступлений наличными деньгами.

5. Мемориал для всех вексельных операций, продаж и покупок акций.

Далее бухгалтер вел ресконтро по векселям, акцептам и ценным бумагам, в которых записывались поступления и выдача векселей, акцептов и акций. В товарном ресконтро регистрировался приход и расход товаров. Кроме того, были еще различные вспомогательные книги, как-то: для выплаты заработной платы рабочим и служащим, для удержаний из таковой и т. д.

В расчетной конторе все стены были увешаны пожелтевшими наклеенными на картон мелкопечатными правилами и инструкциями, полными слов: «воспрещается», «вменяется», «карается» — и объявлениями об особых богослужениях в мастерских. Большие желтые шкафы хранили под замками дела завода. Тайны коммерции охранялись законом. По углам у икон с темными, строгими ликами горели лампы. В зеленоватых сюртуках с начищенными пуговицами и медалями стояли у дверей курьеры, ничего не оставляя без наблюдения. Внизу, в подъезде, всегда дежурили полицейские.

Дни выплаты рабочим их жалкого заработка были ненавистны всем служащим. В эти дни в затхлую тишину конторы врывались шум толпы, чужие запахи, чужие, враждебные им нравы — «плебс!..»

Снимая шапки, входили за получкой мастеровые. Они толпились у перегородок, в коридорах и на лестницах. Не глядя на вошедших, чувствуя их в полной зависимости от себя, конторщики неспешно шелестели списками.

Считалось профессиональным позором присчитать хотя бы лишнюю копейку, и поэтому сведения проверялись с необычайной точностью. Цех, фамилия заведующего цехом, текущий номер, имя и фамилия рабочего, квалификация рабочего, заводской номер рабочего, число рабочих дней, дни недели с соответствующими графами для проставления числа рабочих часов (для почасных, сдельных и премиальных часов отдельно), сумма проработанных часов, плата за час, недельный заработок, аванс, графы отчислений (последние были весьма различны для различных фабрик), сумма отчислений, сумма, причитающаяся к выплате, — все было учтено. Имелись и следующие надписи: «составлено» — здесь бухгалтер вписывал день составления ведомости и свою фамилию; «подсчитано» — здесь ставилась фамилия служащего, проверявшего ведомость; «просмотрено» — здесь подписывался заведующий данным цехом и ставил число, когда им просмотрена ведомость; «выплачено» — здесь подписывался и ставил число дня выплаты кассир, выдававший деньги.

Дубовые перегородки разделяли людей разных социальных категорий, и, хотя уровень платы у рабочих часто был выше, чем у конторщиков, самым фактом своей чистой работы и наличием воротничка (дюжина два рубля тридцать копеек) последние приобщали себя к «приличному» обществу и принимали все меры к тому, чтобы дать это почувствовать мастеровым.

Конторщики щелкали на счетах и небрежно-значительно помешивали ложечками чай. Он был выдан им ввиду работы в сверхурочное время, но производил на рабочих впечатление барственной независимости конторщиков.

Ожидавшие в конторе переминались, вздыхали, и только на лестницах шли разговоры в открытую.

— Задержечка, говоришь?

— Ага.

— Она — денежная. За июль тебе в августе дадут, ты поклонись. А им прекрасно. Нас, гавриков, тут сколько тысяч? Деньги наши в банке, процент бежит. Они неделю, полторы оттянут — на молочишко и набежит. С рыла даже если по рублю — сколько им выйдет?

— Мало им всего...

Курьеры слушали молча, осуждающе, подчеркивая свою суровость.

— Чего ждут?

— Артельщиков нету.

Люди ждали. На окленных зелеными кантами картонах плотным шрифтом были выписаны правила внутреннего распорядка. В ожидании полочки каждый мог читать и вникать в свою судьбу.

ПРАВИЛА

- § 1. Урочным временем на заводе считается для всех рабочих непрерывно продолжающаяся работа — 12 часов днем и 12 часов ночью, для ночной смены.
- § 2. Рабочие обязаны оставаться на работе и по окончании урочного времени, если по техническим причинам работа должна быть закончена без перерыва.
- § 3. Ремонтные рабочие обязаны выходить как ночью, так и в праздничные дни, а также оставаться по окончании обычных работ по требованию мастера.
- § 4. Все рабочие без изъятия обязаны выходить в часы непредусмотренные: в случае внезапной порчи котлов, проводов, двигателей и тому подобное.
- § 5. Перед началом работ даются гудки и ворота закрываются. Опоздавшему засчитывается прогул, накладывается штраф в размере половины дневного заработка, и к работе в первую половину дня означенный опоздавший не допускается. Опоздавший на 15 минут штрафуются в двойном размере. Отработка производится в сверхурочные часы по номинальной оплате.

- § 6. Вход в мастерские неработающим воспрещается и штрафуются.
- § 7. Из мастерских без письменного разрешения мастера отлучаться воспрещается.
- § 8. За оставление работ до прихода смены, за выход без разрешения, за неотметку, за нахождение в мастерской после смены и за неподчинение мастеру накладывается штраф в размере тройной часовой оплаты.
- § 9. Недоработанные часы — пропуск по болезни — отрабатываются по нормальной плате.
- § 10. За выполнение работ с опозданием против указанных норм рабочие переводятся в низшие разряды и при повторении увольняются.
- § 11. Заработная плата выдается только в рублях; оставшиеся копейки присчитываются к следующим выдачам, причем заявления о неправильности расчетов принимаются лишь в течение трех дней, после чего расчет считается правильным и никаких уплат за прежнее время не производится.
- § 12. Больные обязаны накануне испрашивать особое разрешение на явку в больницу и представлять его в контору.

Люди ждали...

Артельщики с кожаными сумками и мешками, наконец, приехали. Толпа колыхнулась. Конторщики и кассиры приступили к выплате, пропуская каждый по шестьдесят человек в час. Рабочим не позволялось спрашивать, спорить, жаловаться. Некоторые задавали вопросы и получали отрывистые ответы, отсылавшие их к другим инстанциям.

Василий, послунив пальцы, пересчитал получку — двадцать семь с полтиной за месяц — всего! Хотел спросить, но его оттерли:

— Не задерживай!

Парень был возмущен и убит:

— Эх, наградные огреб! Напоследок... Ведь призываются я...

После долгих переговоров и категорических требований токари по металлу получили прибавку.

Об этом им было сообщено с праздничным оттенком, и в ответ послышались ожидаемые:

— Покорнейше благодарим.

Один из токарей, значительно улыбнувшись, сказал:

— Так-то оно лучше, без шума быстрее дело делается.

Смысл этой фразы был таков: экономический нажим дает свои результаты, а политическая стачка, кроме локута, арестов и неприятностей, не дала бы ничего. Меншевицкий яд этих слов сбивал многих, не разбиравшихся в сложных расчетах Языгова, согласившегося на прибавку. На людей действовал непосредственный факт: прибавка — в руках были лишние деньги. Не вникая в фактический смысл прибавки, они не рассматривали ее с единственно правильной точки зрения, а именно — с точки зрения разницы между ничтожным ростом оплаты их труда и ростом дивидендов Языгова.

Дивиденды господина Языгова росли. Выделив прибавку одной части рабочих, владелец выиграл, внеся элемент зависти и подхлестнув к повышению производительности остальных.

«Да и самый факт возможности этой незначительной прибавки мирным путем, — говорил Языгов, — поможет на некоторое время оттянуть стачки, волнения, особенно учитывая то, что на заводе с некоторых пор, с моего благословения, работает с десяток меньшевиков. Пусть нам помогают».

Господа Языговы начинали кое в чем разбираться!

В конторе ругался седой мастеровой.

— Это за что штраф? Прибавка у меня боком? У-у, стервецы, в закон ваш...

— В церковь ходишь, хоругви носишь, а закон ругаешь? Нехорошо, отец.

— Самсона стригли, он слабел, а нас стригут — сильнеть надо. Прорывайся! Требуй!

— Товарищи, не продавай совесть за прибавку! Требуй неурезанно!

— Ну, ты! Поехал, сосал-макал!

— Социал, безусловно. Мы кланяться не будем. Своего добьемся.

— Расчет схватите.

— Мы уж пуганные.

Около социал-демократа (большевика) собрались рабочие, слушали.

— Разворотить им лавочку...

Подоспевший околodочный, придерживая шашку жестом, перенятым у офицеров, укоризненно произнес:

— Что, господа, опять безобразить хотите? Похороны, видать, забыли?

Василий не уходил. Он еще на что-то надеялся и все продолжал пересчитывать свою получку.

— Да как же так?.. За целый месяц двадцать семь с полтиной? Хозяину за угол — пять, харч — пятнадцать, одёжа-обушка, табак, баня... Не выйдет... Хозяину за угол пять, харч пятнадцать... Так — выходит двадцать... Сколько же это остается?.. Семь, семь... Семь с полтиной. А сапоги взять! Ну, на Александровском — трояк, а то и более клади. А не брать — ходи в штиблетах, а в них не погуляешь. А тут призывают... Без проводов нельзя — что ж я хуже всех?.. Хозяину — пять, харч — пятнадцать, сапоги, скажем, три, рубаха и шапка новые — полтора... Долги три... Как же быть-то?

— Что стоишь, как столб?

Парня отодвинули в сторону.

В глазах Василия можно было прочесть все его торопливые, горячие, гневные, обличительные, уничтожающие мысли и чувства. Но не было у Василия слов, которые надо было сказать. Пригвоздить ими виновных, и тогда все стало бы правильнее, лучше, — так казалось Василию. Смысл этих слов должен был быть, не мог не быть, неопровержимым и значительным... Надо было только суметь поймать, найти эти слова... Где-то они рядом, вот-вот, тут... Василию кажется, что слова пойманы... Оставалось лишь выкрикнуть их так, чтобы вылетели стекла, швырнуть в лицо владельцу свой гнев, всю горечь своей обиды... Оставалось... Но нужных слов не было...

Все сковывало и устрашало. Комната, где стояли рабочие, ожидая платы, в каждой мелочи своей была чу-

жой и угрожающей. Запах, окраска, назначение вещей — все было враждебным. Перила не пускали и ограждали. Двери не пускали и ограждали. Надписи останавливали. Стрелки и указательные знаки на стенах — черные указующие персты — повелевали. Строгие, чужие люди, казалось, никого не замечали.

Василий вновь и вновь вспоминал прочитанное им на листке, подброшенном в цех: «Существует такое слово: «благородство». Его захватили себе дворяне. На их языке это значит — «хорошо рожденный», хотя, как известно, все рождаются одним и тем же путем...» Вот они сидят... Вот они «благородные» сидят...

«*Благо*. Что есть благо? Всякое благо рождается трудом людей. Значит действительно благородными являются люди труда, производящие блага жизни».

Прочитанное врезалось в память, в мозг, в душу. Значит, что-то на этом свете не так... Но все трудные, горькие мысли Василия выразились лишь тремя словами:

— Обсчитывают! Что ж это?

Околодочный, как бы сочувствуя, посоветовал:

— Если против закона поступлено, ищите. Закон — это, господа, первое, первое...

Выдачу денег прервали.

Особо доверенные служащие оформляли (для отправки на дом в конвертах) жалованье членам правления, высшему техническому персоналу и взятки лицам, готовым защищать интересы предприятия при малейшей в том надобности. В ведомостях по графам заносилось: «квартирные», «разъездные», «консультация», «стипендия» — каковые термины облагораживали отсылаемые взятки.

Во дворе столпились не получившие денег рабочие. Их сдерживали городовые, не пускали в контору. В толпе стояла женщина с измученным серым лицом... Она, не мигая, смотрела на городских, потом рванулась вперед.

— Пропустите, дяденьки! Дети у меня голодные... Ждут...

Городовой грубо оттолкнул ее. Женщина сделала какое-то безнадежно-печальное движение рукой и вдруг, неожиданно для самой себя, плюнула в лицо городовому...

Городовой схватил ее за жидкий пучок волос, собранный несколькими шпильками на затылке... Голова женщины дернулась назад, глаза закатились. Городовой поволок женщину к выходу. Отскочили пуговицы кофточки... Грязный шнурок, на котором висел нательный крестик и крошечный медный образок с богородицей, вывалился наружу. Женщина рыдала...

Наступила злая тишина, и в тишине раздался хорошо знакомый, властный голос Мартынова:

— Товарищи! Вот до чего людей доводят!

У многих отлегло от сердца — партийного освободили! Говорившего не видели, — плотной стеной, своими телами мастеровые закрыли его от глаз городских.

Голос товарища гремел:

— Машину и ту больше нас щадят. Испортится — хозяину убытки, хлопоты. А мы, люди, гораздо дешевле стоим — работаем по сорок пять, а то и по пятьдесят дней в месяц, если сосчитать сверхурочные. Машине в топку нужное подбросят, а нам бросают, что господам негоже, — падалину. Ешь, чтобы не помереть, а не хочешь — не ешь, работай голодный, а не поработаешь — совсем помирай... Других вот липовой прибавкой покупают... А вы, токари, меньшевикам не доверяйте. Сумели они к вам в цеха пробраться, мозги вам мутят... Товарищи, пользуюсь случаем и напоминаю вам: сейчас мы, как вы знаете, накануне выборов в четвертую Думу. Заявим свой голос! Выбирайте верных членов РСДРП (большевиков). Они единственные будут защищать ваши нужды, а меньшевики нам в Думе не нужны...

Городовые и курьеры расталкивали рабочих, стараясь обнаружить говорившего. Но это им не удалось... Товарищ исчез...

* * *

В особом помещении старичок Аристарх Матвеевич и два околодочных допрашивали женщину:

— Волосенки повыдерем — кто научил?

Мысли о том, что женщина могла сама на это решиться, они не допускали. Они задрали ей юбку и шупали, нет ли где листовок — в чулках или в белье. Худые дрожащие колени подгибались... Мужские стертые сапоги сползали с ног.

— Прикончить с вами пора... Кто научил?

Женщину таскали за волосы по деревянному полу и спрашивали:

— Кто, кто, кто?..

Женщина была в полубеспамятстве. Она вскрикнула только один раз, когда в тело впиалась большая заноза.

Один из охранников, — певчий заводской церкви, наклонился, наконец, над ней и сказал:

— Да бога побойся, расчет получишь, дура... Мощи свои пожалей...

Женщина очнулась, приподнялась с пола и ответила:

— Покажу, все...

Городовые и Аристарх Матвеевич переглянулись. Один из них помог ей одеться. Женщину повел Аристарх Матвеевич, за ними на расстоянии шел околодочный. Аристарх Матвеевич иногда спрашивал:

— Адрес знаешь или как?

Женщина отвечала:

— Покажу.

Они долго шли, и, наконец, старик с удивлением узнал дом Языгова. Пройдя двор, женщина ввела его в подвал и, пропустив вперед по коридору, указала на дверь, с которой свисали клочья клеенки:

— Вот...

Аристарх Матвеевич пошарил в кармане, потом осторожно приоткрыл дверь и заглянул в подвал. В сумраке были видны темные пятна сырости... Раздался плач:

— Ма-ам, хлебца-а...

Один из трех рахитичных, серых карапузиков, бедный, маленький головастик, ковылял на своих кривых ножках навстречу матери... Он кричал о хлебе...

Мокрые бумажные лохмотья на стенах, грязное тряпье в углу, опрокинутый порожний чугунок, трое полумертвых ребят — все кричало о чудовищной нищете...

Женщина молчала, бессильно прислонясь к стене...

Околодочный потянул за рукав старичка, и они, пятясь, ушли.

* * *

Рабочие расходились по грязи и разбитым мосткам, некоторые заворачивали по пути в трактиры.

Нельзя сказать, что малоимущее население было лишено попечений. Для означенного населения содержа-

лись: сто домов терпимости, тридцать ночлежных «приютов» и десять народных читален с религиозной и квасной «патриотической» литературой.

Означенное население могло также в неограниченных размерах получать водку: в пятистах винных лавках, в портерных, на постоянных дворах, в чайных, закусовых, в трактирах без права продажи крепких напитков, где водка именовалась «холодным кипятком», в банях. Водка имела всюду...

Толпа разливалась на четыре версты в оба конца: до Нарвских ворот и до Автова.

По Обводному каналу уже шли рабочие на вечерние смены... Над ними в закатном солнце, блестя и сверкая лаком, по насыпи пронесся поезд в Павловск... В парк! На музыку!

ПАВЛОВСК

II

Город мелькал за зеркальными окнами вагонов.

Он загорался вечерними огнями, он искрился, был полон обещаний, эффектов, событий, он бурлил, шумел, кипел, кружил голову — несравненный Санкт-Петербург!

Жизнь была прекрасна! Империя праздновала столетие Отечественной войны — победу над Наполеоном. Праздновала и свои кровавые победы над «врагом внутренним». А над столицей, славя сущее и всевышнего, на целые версты покрывая другие шумы, растекался тяжелый звон соборов, монастырей, часовен — Исаакия, Казанского, Преображенского, Владимирского, Троицкого...

Поезд мчался, блестя сине-голубым и желто-коричневым лаком вагонов первого и второго класса.

Они летели к осенней прелести резиденций («Уж небо осенью дышало...») — рантье, банкиры, промышленники, «прогрессивные» социологи, талантливые адвокаты, властные инженеры, модные поэты, бородатые славянские деятели, владельцы газет, небеременеющие дамы, популярные депутаты, проповедники смелой морали, образованные филистеры, благородные рахитики, непонятые

натуры, идеалисты с брюшком. Они летели, чтобы испытать радость, подъем, чтобы развлечься и послушать один из последних в сезоне концертов — в Павловск...

Полнокровные, все более входящие во вкус деловой жизни, увлекаемые примерами Запада, давно избавившего себя от примитивности феодального строя, представители третьего сословия империи Российской — буржуазии — вкушали радости капиталистической эпохи. Функционировали промышленность, торговля, банки. Показатели — биржевые курсы, дивиденды — головокружительно возрастали... Стремительно развивалось промышленное производство России. Взлетали цены на землю, на русскую пшеницу. Текли через банки иностранные кредиты, ибо *порядок* в России, казалось, был «незыблем». Росли новые и новые предприятия: «Двигатель», «Капитал», «Прогресс», «Рекорд», «Универсаль», «Экспресс», «Энергия». Названия звучали уверенно и вызывающе. Концентрация сил порождала у буржуазии притязания на прямое соучастие в управлении империей. Внутри общества возникали необычайные противоречия.

На различных участках конкуренты то дружно шли вместе, то расходились, то схватывались насмерть. Кровь бурлила, страсти накалялись.

Сплетенные тысячью кровных, правовых, финансовых и психологических нитей с деловым миром, выступали на арену деятели интеллигенции новой формации. Шли сложные процессы брожения, распада старых и кристаллизация новых групп в искусстве. На глазах рушились и истлевали старые теории, корнями уходившие в дворянскую культуру XIX века. Становившаяся на ноги новая промышленная аристократия выдвигала своих учителей и идеологов.

Создавали своя литература, свой театр, своя философия, отвечавшие определенным потребностям и вкусам буржуазии.

Некоторые промышленники влюблялись в старину, — их пленяли серо-голубые просторы Петербурга, белые колонны, золото Исаакия и Адмиралтейской иглы... Но большинство новых магнатов увлекалось пышностью безвкусных особняков с их вычурными формами, обнаруживавшими величайшее безобразие, вопиющую убогость и вульгарность вкуса их творцов.

В Петербурге вырастали палаццо деловой знати — каменные громады с фасадами поддельного ренессанса, напыщенная имитация старых дворцов...

Презрительно кривя губы, дворянство оценивало это «наглое» вторжение примерно так: «Некультурные, безродные, фабричные воротилы хотят перешеголять старый барокко и русский ампир... Вандализм вкуса...»

Павловск!

Господа петербуржцы наслаждались красотой вечернего северного неба, переливами опаловых, сиреневых, серо-голубых, бледножелтых тонов, шелестом добела просвечиваемой фонарями листвы, шуршанием гравия, запахами ресторанов, цветов, травы, табака, напоминавших о путешествиях, о пространствах, о морях, о пристанях и вокзалах Кисловодска, Ялты, Биаррица, Довиля, Трувиля, Лидо... Этим господам приходили на ум то мысли о природе, ее благости и чистоте, то нежно-раскаянные мысли о собственной бренности, то мысли о собственных делах.

Вокруг все двигалось, пульсировало... В темных аллеях возникали неизвестные, слабо различимые силуэты; приближаясь и попадая в боковые, падающие сверху лучи электрического света, они превращались в живых, влюбленных мужчин и женщин. Непрекращающийся поток новизны таил в себе невыразимый интерес и неисчерпаемое разнообразие, содержал в себе ошеломляющие возможности. Но они оставались нераскрытыми, недоступными, утаенными, так как господа не разрешали себе больше того, что позволяли расчеты и приличия.

В поощряемой империей войне каждого против каждого, каждого против всех и всех против каждого, что укладывалось в невинную формулу: «каждый — кузнец своего счастья», — эти люди наглухо замкнулись друг от друга. Господа чинно передвигались по парку, подчиняясь законам, охранявшим порядок империи...

Среди жадно-любопытных, незамечающе-равнодушных, светлооко-наивных и просто безразличных взглядов, среди шепотов и приглушенных восклицаний — злых, глупых, остроумных, бретерских — прокладывала себе путь группа молодых людей, старавшихся не походить на всех.

«Они» шли, разглядывая всех в упор, манерами и костюмами своими раздавая пощечины общественному вкусу и вместе с тем забавляя господ. «Они» перебрасывались словами:

— Зеледело!

— Веселёж!

— Грехож!

Это было похоже и непохоже на русский язык. Казалось, что Даль утонул в безднах «их» словесных «открытий».

«Они» хотели производить впечатление особых, ни с кем не связанных существ. «Они» хотели быть предтечами новой фантастической «будетлянской» жизни. «Они» хотели доказать, что все органические восприятия жизни, все рефлексy — у них иные, что «они» поправили все традиции, что «они» постигли четвертое измерение и раздавили жалкую планиметрию. Так хотелось «им».

Но в действительности все это сводилось к одному: «Épater les bourgeois»¹.

Господа разглядывали их по-разному: с улыбкой, с любопытством, с участием, с недоверием, с презрением: «они» не дрались, не кусались, от них пахло знакомыми духами; «они» были даже интересны и не походили на этих, ну как их... рэволюсьенеров...

Господа, приглядевшись, амнистировали их. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Господа своим безошибочным классовым чутьем сразу определили их безвредность. «Они», эти экстравагантные молодые люди, рассчитывали на это, знали это, понимали это, но делали вид, что не замечают амнистии, что непримиримое отношение к ним бесспорно. Ведь «они» — бунтари! Но непримиримости не было... Ее и не могло быть, ибо в движениях молодых людей, в их внешнем виде, а главное, в их образе действий не было опасности, которая чувствуется мгновенно, той опасности, которую ощущают господа при встрече с молчаливыми, невзрачно одетыми рабочими...

Молодые люди, презиравшие медленно шествовавших по гравии господ, все-таки тянулись к ним. Одна почва взрастила их. «Они» жили ненавистью и притяжением к этим людям, рожденные этими людьми. «Они»

¹ «Поражать буржуа» (франц.).

буйствовали, придумывая какие-то «пространства = гласным». «Они» тщетно пытались силами маленькой кучки людей (а еще лучше — в одиночку!) опрокинуть все законы эстетики. «Они» были гибридами загнивающих западной и русской буржуазных культур, зараженными их тлением. «Они» были плотью от плоти тех, кто вызывал их протест.

И никто из наблюдавших за порядком в империи не схватил бы этих молодых людей за шиворот, и никто, в ответ на их «бунтарство», не стрелял бы в них.

Господа глядели им вслед... О них говорили:

— Что за экземпляры?

— Кажется, сим-воль-исты...

— Mais non! ¹ Фу-у-исты...

— Ах нет, вообще — исты...

Внезапно, подчиняя все своим ритмам, поплыли первые фразы симфонии. Тема была пронизана бряцанием доспехов, звоном металла. Она взлетала со стремительностью боевых колесниц, устремляясь ввысь — к звездам.

Музыка овладевала людьми.

Музыка совершеннейшей чистоты и прозрачности сложными ходами, озаряющими взлетами и сокрушающими падениями постепенно доводила даже этих пресыщенных людей до смиряющей тишины молитвенного экстаза. Слезы — действующие как-то очистительно и в то же время служащие почтенным доказательством тонкости натуры и наличия музыкального понимания — дрожали на ресницах дам...

— До слез...

— Как волнительно...

— А дирижер? Какая страсть!..

Господа радовались «приобщению» к тайнам искусства, особенно потому, что все совершилось сравнительно быстро и со всеми удобствами...

Штраусовский вальс первыми тактами, казалось, усилил благоухание цветов... Нежный и мечтательный, он бесечно и сладостно кружил головы, вызывая при-

¹ Но нет! (франц.).

зрачные ночные образы Дуная, сладко-щемящие воспоминания о бальных залах, красивых женщинах конца минувшего века — пышных и элегантных, о помпезной Второй империи, о Вене, о Париже — «этих упоительных далеких источниках очарования и изыска».

Желудки свершали благотворный процесс переваривания принятых в шесть часов, до поездки в Павловск, изысканных обедов...

Вальс убаюкивал и нежил...

Свисток очередного поезда заставил всех вздрогнуть. Произошло несколько сот мгновенных, свирепых и молчаливых бурь в оскорбленных этим кошунством господских душах, и только пять — шесть тактов вальса, во вновь наступившей тишине, вернули им то блаженное состояние, которое должны были уважать все.

Мингрельского полка поручик под звуки вальса нашептывал соседу:

— Недавно успокаивал на Кавказе стервецов, из тех, кои, так сказать, вознесены ныне в Государственную думу... Был и в Персии на усмирении. Отправились мы из Баку по каспийским водам в Энзели и «справа по отделень-ям!» по Персии. Курите, пожалуйста, я с Кавказа привез... Ля-ля-ля, как чудесно, слышите? Инструкция была — «учинить серьезное возмездие бунтовщикам по своему усмотрению ввиду бессилия персидского правительства». Инструкцию выполнили с блеском! Эффект колоссальный! Даже в Англии забеспокоились, насколько передавали... Ну, как табак? Ля-ля-ля... Прелестный вальс... Да... Тихо все стало в Персии — поверите ли, необычайно тихо. На базарах даже галдеть перестали. Идешь, расступаются. Все консулы приглашают. Вот, так сказать, значение силы... Я раньше как-то не задумывался над этим. У нас, в юнкерском, не до этого было... Но тут, знаете, ночи, Персия, «все пред тобой трепещет» — и именно тут я осознал, так сказать, мощь России... Трепет...

Мингрельского полка поручик был взволнован...

Большинство слушавших вальс не хотело ощущать того, что с ними происходит, произойдет, а между тем за каждой житейской мелочью вставали противоречия, которые неотвратимо вели к столкновению двух мировых

групп контрбалансирующих империалистических держав. Быстро и интенсивно разворачивались поиски рынков. Биржевики скупали бумаги и акции, раздували цены, устраняя нормальные критерии, разжигая в людях ненасытность, ведя беззастенчивую спекуляцию... Акции распространялись с поразительной легкостью, суля необычайный рост доходов участникам сотен азиатских, африканских, ближневосточных, дальневосточных, транс-океанских и прочих безгранично рискованных предприятий.

Все указывало на приближение бурь...

Шли непрерывно столкновения интересов. Вдруг, сразу, внезапно все останавливалось и сотрясилось...

...Агадир! «Пантера»...¹ Осложнения! Франция потребовала у Германии обратно все краткосрочные кредиты. Отлив денег вызвал панику, бумаги упали и обесценились на десятки процентов в день. За одну неделю сентября 1911 года держатели бумаг в Германии потеряли больше, чем за весь ошеломляющий американский кризис 1907 года. Нормальные европейские расчеты остановились, и в четыре грандиозных главных банка Франции полился поток баснословных капиталов. В полнейшей зависимости от них было все население Европы, имевшее хотя бы малейшее касательство к деньгам. Иммобилизация обескровила все. Изымались вклады, лопались мелкие фирмы... Банкротства, крахи, драмы, самоубийства, беды прокатились по тысячекилометровым пространствам, властно вторгаясь даже в сибирские деревни пониженными ценами на русское масло. Армии и флоты приводились в движение.

Гроза рассеялась в последнюю минуту... Инцидент был исчерпан лишь потому, что не все державы были готовы к войне. Лицемерные обозреватели «Temps», «Times»² и «Нового времени» писали: «Таким образом, материальные интересы, служившие прежде яблоком

¹ Порт в Марокко Агадир стал известен из-за так называемого агадирского инцидента летом 1911 г. между Францией и Германией, оспаривавшей особые права Франции в Марокко. Чтобы оказать давление на Францию, в Агадир было послано германское военное судно «Пантера». Это вызвало обострение отношений Германии не только с Францией, но и с Англией. Некоторое время война казалась неизбежной.

² «Тан» и «Таймс» — французская и английская буржуазные газеты.

раздора, благодаря прогрессирующей связанности цивилизованных стран, начинают функционировать в роли миротворцев».

Успокоенные мнимым международным затишьем, верхи русской буржуазии старались взять от жизни все, вплоть до штраусовских вальсов на последнем концерте сезона в Павловске...

* * *

В багрец и золото одетые леса Павловска, Царского Села, Петергофа — окрестностей Санкт-Петербурга — источали нежный, горьковатый осенний запах.

По подсохшей пригородной лесной дороге шагали рабочие с металлургического завода. Печаль людей как бы отражала печаль стынувшего дня, болотных пространств, оголенных сизых перелесков и безразличия природы — грандиозной и унылой в своем осеннем превращении...

Издали доносились жалобные переливы русской гармоники — плачущие, нежные, растворяющиеся в беззвучии, распростертом до горизонта.

Белка стремительно слетела с ели, и все на секунду оцепенели. Глухо на слой хвойных игл упала шишка. Далекая гармоника агонизировала. Она всхлипнула несколько раз и умолкла...

Рабочие шли на сходку. Они торопились, боясь, что их настигнет полицейский наряд...

Российский пролетариат начинал избирательную кампанию в IV Государственную думу.

Рабочие вступили в чащу леса. Каждое дерево, лист, шорох внушали опасения. Лес казался западней, лабиринтом. Красота леса — багрец и золото — являлась его недостатком, ибо поредевшая осенняя листва легче выдает присутствие людей. Но — вперед!

Товарищи круто свернули в лес и, ускоряя шаг, пошли, углубляясь в чащу, обходя болотца и замедляя движение у мест, казавшихся подозрительными. Люди хмелели от воздуха, чистого и совершенно непривычного, — им ведь редко приходилось бывать вне завода и своих углов. Стараясь идти бесшумно, сдерживая

дыхание, они, наконец, пришли к условленному месту. Их уже поджидали товарищи с судоремонтного и Мартынов. На траве была разложена скромная закуска — колбаса, хлеб, несколько бутылок пива. Пришедшие, присев на пеньки и корневища, закурили, переговариваясь с остальными:

— Оратор, значит, придет?

— Придет.

— Мартынов, а ты говорить будешь?

— Смотря по тому — кого пришлют.

В сторонке, в ожидании оратора, пожилой рабочий рассказывал молодым о делах 1905 года:

— ...Раньше я на земле был, да земли-то не было. Я избу бросил и пошел скитаться с женой и с дитём неизвестно где по России, — куски собирали... Нашел, наконец, работу — карьер, разработка песчаная. Дитё под вагон садим, а сами с женой грузим и грузим, тысячу пудов к ночи нагрузим, валимся тогда с ног, зато хлеб покупаем. К жене свои же из золоторотцев лезть стали, хотели ее телом попользоваться. Уйти пришлось. Всего не описать скитанья... И на Волге был, и у малороссийцев. Наконец до Москвы добрались. Тут, верно помните, дело недавнее, японскую войну проиграли... Народ беспокоился... А партийные товарищи-большевики предлагали нам отречься от старого мира. Говорили — «время пришло». О восстании народ заговорил... Готовились... Записался и я в дружину Красной гвардии. Населенье, которое к рабочим не относится, частная публика шипела: «Жулики, проходимцы». Ну, мы дождались дня девятого декабря. Дали нам условный знак. Пресня нам знак гудком дала, привычнее так рабочим. Народ в дружину — кто с кольцом, кто шест волокёт, кто флаг, кто с рога-чом, с крюками, с другим холодным оружием, кто с чем. Просто порешили, соединившись воедино, защищать восьмичасовой рабочий день. Неученые мы были, только один был солдат-позиционер — с Маньчжурии приехал, подсоблял. Позиционер этот объяснял на спичках: «направо», «налево», «ряды вдвой», «в цепь», — как воюют, он наглядился на Дальнем. Учили, сколько нас... По Москве, по России кругом движенье... Дратся надо. У кого дух падает — не надо, но члены партии держались, и мы с ними. Друг у меня в этой партии социал-демократов был, большевик он, а я еще не был. Ребята

некоторые в ноги от страху падали. А друг мой кричал: «Гордись! Нас царь проклял! Завоеюем склады, форму наденем с красными розеточками, сами стеречь фабрику будем!..» А чем драться? У солдат трехлинейные ружья, а у нас что?.. Нагнали их, карательщиков, властелины из Питера: Семеновский полк, гвардию. Демократы столбы валили, заборы. Один, старый, тряс бородой: «Не отступать, пролетария! Раз и навсегда. Я приказываю. Или смерть получить, или что хорошее сделать!» Делали, поперек улиц баррикад понастроили. Народ с нами действительно. Бой приняли. Одного крюком поймали, карателя. Нагнали они артиллерии против нас шесть штук, поставили все шесть — чтоб разбить Пресню. Ахнули, — кто молиться кинулся. Мой друг молчал-молчал, да как заорет: «Какой бог у рабочего! Нет рабочего бога, не работает бог, брось!» И стал понемногу покрикивать, команду давать. Тут одного повредило. Смотрят все, для знакомства: что есть рана, не знали до тех пор. Почувствовали!.. Духу нахватались понемногу... То нас загоняли, то мы загоним... Горело все, улицы были по-карябаны, окна побиты, подушками, чем попало заткнуты... Они, то есть гвардия, не наша красная, а ихняя, как пешки злые, как пешки в ряд, в ногу шли, а мы соображали: из-под ворот, с окон, с чердака лупили. Водой поливали улицы, чтобы они поскользнулись... Холод. Из пищи кое-что варили, да мало. Организмом приходилось держаться. А старик все нас поддерживал. Наши в худых польтах, корчились, изнуждены, а старик ходил, говорил: «Не холодно, не существует нам холода, вот я вам клянусь, а я большевик!» — и ходил, будто и всамделе не холодно... Жгли на улице что подвернется, но теплом не удовлетворялись, а только выедало глаза дымом... Народу все меньше. Один магометанин пропал: угодила ему пуля в сердце, другому череп снесло, мозги выпали. Сильное напряжение нам эти семеновцы сделали. Мы удалились несколько, попятись. Кто попал под драгунов, тем настегали: на спинах до трех золотников куски мяса болтались. Жолобы выбиты на спинах были! Старика нашего убило. Тут друг мой его заступил, мало-мальски на нас покрикивал: «Держись!» Набросали планчик в голову и этих драгунов с тылу побили, но не всех. Один попался офицер, обутый хорошо. «Вас карал, говорит, теперь вы меня можете карать, но отдал бы все,

чтобы вас еще карать», — и кровь у него из глаза перла от злобы... Понятное дело. У их по сорок тысяч рубашек графини носят... Тут с успешно держались. Слухи дают: «Будет помилование». Ну, друг мой дал толпе слово: «Не веры!» Тогда казенку стали указывать, с целью или не с целью — соблазн. Один был алкоголик у нас — боевой, котельщик, чахотку имел, пошел в казенку, все перебил: мерзавчиков, соток, полубутылок, бутылок, четвертей набил. «Жизнь всю пил, а сейчас бросай!» Он за-прещенный припев знал и нас научил: «Царь Николашка, жена у него Сашка, с крови суп варили, бедных не любили, богатых дарили...» Пели мы и стреляли, держались; у ружей — накладки называются — дымили, почернели... И все ж таки разбили они, каратели всё. Своих фабрик не пожалели, лишь бы не допустить туда нас, рабочих. Всё выжгли, пожаром кругом всё занялось, крови полно. Потом солдаты пограбили фабричных, можно сказать, у нищего кусок отняли. Громадная ненависть к нам — зачем мы роптали... Разбили в конце концов нас... Но сколько царство ни крепко, а мы его рاسبилим... Вот семь лет прошло, мы тут живем и, други мои, не теряем время... А что про это я вам рассказывал — молчи. Кто выдаст — тому несдобровать.

Раздался хруст ветвей. Рабочие насторожились. С противоположной стороны, сквозь чашу, пробирался человек. Он нащупывал палкой почву, часто останавливался, вглядываясь в лес. Заметив вдалеке группу рабочих, он, как было условлено, три раза тихо свистнул.

— Оратор?

— Он.

Ему ответили. Человек зашагал быстрее, потерял галошу, поднял ее, застеснявшись, подошел и всем по-очередно молча пожал руки.

Потом зябко потер ладони, поправил пенсне, мельком поглядел на разложенную на траве закуску и шутливо сказал:

— Ну что ж, благословясь, начнем?

— Давайτε.

Люди зашевелились — от сырости было холодно, —

запахнулись поплотнее, оглянулись во все стороны, поерзали и уселись поближе.

Оратор сразу приступил к делу:

— Дума, как вам известно, послушное орудие в руках господствующего класса, и социал-демократическая фракция в ней не может играть решающую роль. Но, как вам известно, социал-демократия не отказывается от участия в выборах. Мы развернем там свои требования. И это будет иметь значение для всей России.

Оратор говорил осторожно, делая паузы для усвоения рабочими каждого раздела хорошо подготовленной им речи, подмечая и сейчас же используя знаки сочувствия. Он развивал удручающие картины положения рабочих; он пользовался самыми простыми, взятыми из жизни стальных завода примерами. Он знал сумму их заработной платы, заводской распорядок, знал о штрафах, о самоубийстве, об увечьях — обо всем.

Оратор вызвал, наконец, несколько улыбок, используя ходовые народные словечки. Когда внутренняя настороженность рабочих и недоверие к «постороннему» были отчасти преодолены, оратор несколькими короткими фразами закрепил свои положения. Затем он перешел к обрисовке задач, начав с главного для него аргумента, из-за которого он и решился на эту встречу.

— Прежде всего нам необходимо сохранять единство социал-демократов. Вы сами понимаете, что это значит. Достаточно нам, социалистам, начать между собой раздоры, и мы проиграем.

Слушали очень внимательно.

— Исходя из этого, мы должны намечать кандидатами от себя в Думу — честных, известных рабочим товарищей, наиболее стойких, достойных и качественно подходящих. Принадлежность к меньшевикам или к большевикам — в данном случае не имеет решающего значения.

Оратор выжидающе помолчал. Слушавшие переглянулись.

Один из рабочих с судоремонтного спросил:

— Товарищ дорогой, а сообщите нам: за восьмичасовой и за конфискацию земли вы стоите? За демократическую республику вы стоите?

Оратор насторожился:

— Признаем. Стоим. Будто вы не знаете!

Вмешался литейщик:

— А как признаете? «Борьба за законодательство...»
А земля? Опять «пересмотр (чуть запнулся) аграрного законодательства», Христа ради... А республика? «Полновластие народа». Раз за полновластие — выговаривай по-нашему: демократическая республика!

Оратор улыбнулся:

— Выговорим со временем...

Его перебил Мартынов:

— Говорить мы будем в открытую, стесняться нам нечего. Они (жест в сторону оратора) обрисовали свою точку зрения, а я обрисую нашу. Какое именно они единство предлагают? Единство, а сами в меньшинстве! Выбирать каких-то «стойких», «подходящих»? Это что за партия «стойких»? А мы говорим: выбирайте уполномоченных — стойких социал-демократов большевиков... Вы с кадетами на союз идете. Пора выводить вас всех на чистую воду!

Оратор вскочил:

— Вы, товарищи, свидетели! Кто начинает в наших рядах раздоры?

Рабочие зашумели:

— Проваливай!

— Нечего больше время терять...

— Вопрос ясен...

Уже темнело, когда взбешенный оратор подходил к своему дому, к своей квартире, к своей библиотеке, к ожидавшим его друзьям, среди которых были и Дан и Потресов¹.

— Что я им скажу?

Рабочие не спеша возвращались к своим углам. Один из них проворчал:

— Меньшевики... Кой черт к нам этого оратора послал? Слов у них, что у дяди Якова — товару всякого...

¹ Лидеры меньшевиков-ликвидаторов.

* * *

Переступив через испуганных «социалистов», пролетариат продолжал свою борьбу, предпочитая ясные большевистские лозунги:

«Долой самодержавие!»

«Демократическая республика!»

«Восьмичасовой рабочий день!»

«Земля крестьянам!»

И никакие угрожающие «так было — так будет» господ Макаровых¹ — уже не могли остановить ход истории.

УСАДЬБЫ ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ

III

Парки, старые парки усадеб! Есть парки — в них версты аллей, дорожек, тропинок. Сверкают водопады, фонтаны; бегут по всем направлениям ручьи. Среди лип, каштанов, лиственниц, дубов, кустов жасмина, персидской сирени и роз разбросаны беседки, скамейки и гроты — творенья мастеров галантного века. Белеют галереи и колоннады. Роскошь вытесняет чистоту стиля.

Есть парки, где все прямолинейно, строго и симметрично — деревья, кусты, цветы. Спокойное холодное великолепие даже в июле. В других — буйство вычурных насаждений, завезенных с Востока и Юга; оранжереи, как горы из стекла. Есть лабиринты, кущи, рощицы, возрождающие в русских губерниях — руинами, мрамором статуй и жертвенниками — Элладу.

Здесь, в усадьбах и парках, прошла вся история российского дворянства. Здесь провальсировали александровскую эпоху — эпоху поражений и побед... Здесь сплетались семейные хроники с историей империи.

* * *

Зеркала отражали золото рам, гравюры, акварели, пастели, полотна лучших живописцев... Изысканно нежные гаммы акварелей, прозрачные лиловые, лимонные и

¹ Царский министр Макаров ответил в Думе на запрос о Ленском расстреле: «Так было — так будет».

голубые тона рождали живопись воздушную и свежую. Скачут генералы с плюмажами; недвижны одноликие шеренги перехваченных накрест белыми ремнями солдат; стелется дым орудий и в дыму фальконетовский Петр...

Со стен глядят фельдмаршалы, губернаторы, предводители дворянства, посланники, гофмейстеры, камергеры, генералы, полковники, дамы в платьях «ампир» и в необъятных кринолинах.

В шкатулках — почти истлевшие связки писем («Я к вам пишу, чего же боле?..»); дневники с вырванными страницами; таинственные броши, в которых сплетены русые и темные волосы (любовы!); старинные медали — «Не нам, не нам, а имени Твоему»¹; портрет-миниатюра первой исполнительницы гимна «Боже, царя храни».

За стеклами библиотечных шкафов — книги в светлокорицевых кожаных переплетах с золотым тиснением, выцветшими автографами, закладками и засохшими цветами, первые издания «Евгения Онегина», «Nouvelle Eloise»...²

В старинных бюро хранились пистолеты, простреливавшие дерзких штафинок³, сургучные печати, древние фамильные документы и среди них забытые, пожелтевшие от времени записки: «Вчера продали трех девок, крепостных российской породы, по шестнадцать лет от роду, за цену ходячей российской монетой 30 рублей...» «Купил музыкантов: оркестр с женами, детьми и мелочью за 500 рублей». Реликвии затхлые, тлеющие и печальные...

Сундуки хранили тщательнейше оберегаемые платья бабок и прабабок: подвенечные рубашки, за вышивкой которых девки сидели по году; волшебные, воздушные, блистающие гладью пенюары — их вышивали по два года двенадцать девок, из которых трое ослепли.

На жанровых картинах, написанных крепостными художниками в угоду господам, все мужики, бабы, дворяне изображались тихими и послушными: они встречают господ, провожают рекрутов, сеют, косят, жнут — они все на одно лицо.

¹ Надпись на медали, выбитой в честь победы над войсками Наполеона в Отечественную войну 1812 года.

² «Новая Элоиза» — роман в письмах Жан-Жака Руссо.

³ Штатских.

В гостиных стояли покрытые чехлами клавикорды, фортепиано красного дерева с бронзой, и рядом новейший блютнеровский рояль с неубранными нотами нежных романсов Глинки, Брамса, Шуберта, Чайковского...

Анфилады комнат были полны тишины. Люстры закутаны в марлю. Господа уезжали на лето в Ниццу, Остенде, Виши, Наугейм, Карлсбад, Монте-Карло, на Лидо... На цыпочках ходили, смахивая пыль, старые лакеи, вспоминая, как семьдесят тысяч свечей были сожжены, когда «батюшка покойный князь бал давали»...

В барских конторах занимались господскими делами управляющие, бухгалтеры, письмоводители, писцы, выполняющие одну волю, один закон — помещичий. Скрипели десятилетиями перья...

Господа повелели собирать арендную плату и продавать имущество тех, кто оные платежи просрочил (телеграфные переводы летели в Санкт-Петербург)...

В людские, размещенные в подвалах, был затиснут штат дворни.

Господа приезжали, и у парадных подъездов появлялись бородачи с булавами, в ливреях и треуголках. Навытяжку, ожидая приказаний, вставали тишайшие слуги. Гладко выбритые дворецкие, подражавшие господам, открывали шествия лакеев в белых перчатках...

Бело-желтый ампир победоносно захватил семьдесят миллионов десятин русской земли. На фронтонах парили екатерининские, александровские и николаевские орлы. Тридцать тысяч дворян-помещиков владели этой землей, а вокруг и около бродили угрюмые, обутые в лапти мужики — среднестатейные, недостаточные и попросту нищие...

* * *

Как дно древнего моря, иссякшего от зноя и суши, был распростерт Юго-Восток России.

Крестьяне — казанские, симбирские, самарские, саратовские, оренбургские и уральские — кляли жаркое лето и отчаянно молили дождя. Ветры Юго-Востока несли бурю горячую пыль среднеазиатских пустынь. Ветры

шли истребительным валом. Колосья сжимались, никли, усыхали и погибали на растрескавшейся от суши земле. Как встарь, когда на Руси свирепствовал голод (в XVIII веке — тридцать четыре раза, а в XIX веке — сорок раз), на Поволжье и в Заволжье готовились есть иссушенные травы, солому, корье и глину, резать скотину, бросать избы, идти по миру и умирать. Поколение, замученное тринадцатью недородами и тремя голодовками, похоронившее у Волги на погостах сотни тысяч родичей, уstraшенное последней голодовкой 1906 года (в России голодали тогда двадцать девять губерний с двадцатью пятью миллионами населения), в отчаянии било лбами раскаленную землю и поливало ее слезами. Мужики молились, не видя иного средства.

Мелкое, жалкое, раздробленное, вечно оглушаемое ударами со всех сторон, крестьянское хозяйство окончательно гибло. Крестьянам внушали, что голод — господнее наказание. Крестьянство «фаталистически» покорялось. Крестьяне видели, что помощи ждать нечего, неоткуда... Чудовищные запасы влаги — осенние и зимние осадки, весенние разливы Волги, Узенья, Большого и Малого Кутума, Иргиза, несущие в Каспий миллиарды кубических саженей воды, бесцельно размывающей берега, — пропадали. Водоемы высыхали и испарялись в беслесных пространствах.

* * *

С капельками воды, оставшимися от купанья на локнах, девушка в мохнатом халате писала среди флаконов, коробочек и июльских цветов:

«Моя дорогая, стоит чудное жаркое лето, и прежде, чем ехать, — рара¹ нужно в Nauheim,² — мы «вволю», как выражается нянюшка, наслаждаемся здесь. К брату (дед разрешил) приехал его друг — поэт. Он вечно что-нибудь придумывает... У меня гостит Верочка, она пишет стихи, чудно — о Наполеоне! Ты не можешь себе представить, как дивно вечерами на Волге, она совершенно похожа на море...

¹ Папе (франц.).

² Наугейм (нем.) — курорт.

Мы устраиваем до отъезда в Nauheim небольшую прогулку по деревням. Там так чудно — парное молоко, ржаной хлеб. Надо поближе узнать народ, любить его — так учит нас наш поэт. Я побывала в маленькой деревенской церквушке. Это совершенно особенное ощущение: тихо-тихо, крашенный пол, солнечные лучи, запах ладана и крестьянский хор. Они поют удивительно... Такая сила, проникновенность, что я и передать не могу. У нас в институте ничего подобного я не слышала, хотя регент и уверял, что наш хор «хрустальный»... Пиши мне, дорогая. Я очень, очень рада, что это лето и у тебя веселое. Запасайся сил и здоровья. Поцелуй tante ¹...»

В усадьбе гостила молодежь из Петербурга. Поэт, весь трепещущий, с разлетающимися волосами, порывисто хватал за руки девушек и говорил им: «Мы пойдем, мы пойдем!.. С чистым сердцем, открыто, отдавая себя... Мы оденемся, как в праздник, и пойдем — дарить себя народу... Мы приблизим их к красоте искусства. Мы утрем их слезы... Мы будем декламировать и будем играть для них под открытым небом. Мы споем им песнь песней. Мы ведь так умеем любить!.. О, разве это не лучше, чем ненавидеть?!»

Девушки, загораясь, смотрели на необычайного поэта... Они подчинялись ему все больше и больше и уже, в мечтах, шли за ним в атаку на обыденность.

Владелица усадьбы, от безделья, записывала в альбом с золотым обрезом, переплетенный в лиловый бархат, все происшествия дня:

«Июль. 1912 год. Вчера вечером плакала от скуки. Муж ездил в деревню смотреть умирающих. С ним что-то странное в эти дни. Приехал в гости поэт. Девочки говорят, что он «декадент». У него с девочками какая-то затея, о чем-то шушукаются. Пора им замуж. Отказала гувернантке и выписала гувернера, чтобы исправить Мишу. Приезжали

¹ Тетку (франц.).

мальчики от соседей и привезли десять рублей для мужиков.

Молилась, чтобы господь помог мужикам от бескормицы. Были ходоки из деревни, но не можем же мы их всех кормить. Думала о загробной жизни: страх перед мученьями в аду. Мне еще нет пятидесяти, а дают гораздо больше. Нужно массироваться. Вчера кто-то бродил около дома, лаяли собаки. Муж занимается развитием мускулов. Пришла посылка от фирмы «Сан-Галли» — мужу семифунтовые гири и мальчикам трехфунтовые для гимнастики. Только бы не делали дурного! У одной из девочек болела голова. Вероятно, от купанья, нужно следить. Жалуются, что кто-то подглядывал в купальне. Господи, спаси, сохрани и помилуй!

Застала девочек за разглядываньем старого альбома, выбирали женихов и хохотали. Муж что-то рассказывал о войне. Как это ужасно! Обварился кипятком сын кучера, собрали семь рублей. У мужа опять был тот господин, и говорили о просвещении мужиков: печатать о крушении поездов, об абиссинских и других гостях, о погоде, о царской фамилии, праздниках, из стихов что-нибудь («Нива», «Дядя Влас»). Дед (мой отец) пьет соду, объевшись пирогами. Как бы не заболел...

Видела во сне паука...

В один из дней, оставив лаконичную записку, господская молодежь тайно, в порыве лучших чувств, устремилась за пределы родной усадьбы, в степной простор — навстречу неизвестности.

Тихо в усадьбе... По старым, до блеска натертым паркетам расхаживает глава помещичьей семьи, душа дома — Дед. Он умело совмещал в обращении с родными и знакомыми светскость манер с мнимой душевностью и патриархальной простотой.

Вечером, в определенный час, вся семья собралась за круглым столом. Дед, выкушав чай со сливками, перешел на кресло. По обыкновению приступили к чтению вслух, которое так любил дед.

На этот раз слушали «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева. Читал, как всегда, гувернер... У него был приятный, богатый оттенками, выразитель-

ный голос. Дед слушал, и нервы его слабели от неотразимого натиска проникновенных слов писателя. Дед сидел как живое воплощение мудрости, и присутствующие, глядя на него, затихали, чувствуя, как их обступает со всех сторон тепло родного гнезда, как каждый взгляд деда говорит о том, что он, дед, все понимает, изведав все, что предстоит еще узнать его потомству.

История Лизы и Лаврецкого волновала вновь и вновь... У деда медленно катились слезы. Когда чтение кончилось, все молчали, боясь лишним словом спугнуть тишину.

Дед откинулся на спинку кресла, удивленно повел глазами и спросил:

— Хотел бы я знать, а где же молодежь?

Все переглянулись, и кто-то, наконец, решился ответить:

— Они ушли в деревню, кажется просвещать...

Дед подался вперед. Лицо его медленно багровело. Забыв все внушаемые им же приличия, он заорал:

— Вернуть!..

Все ужаснулись. Дед в ярости стучал палкой об пол.

— Мерзавцы! К мужикам!.. Вернуть немедленно!

* * *

Беглецы, покинув усадьбу, шли на восток. Все было ново... Впереди шел «необыкновенный» поэт и взволнованно читал балладу о всепобеждающем духе. Он шел и шел вперед с неутомимостью и страстью, увлекая остальных за собой.

Раскалившиеся за день верстовые столбы отдавали тепло... Азиатская горячая пыль проникала всюду и убивала жизнь. Местами жгучие ветры выдули целые полосы посевов. На горизонте, во мгле, сверкали зарницы. Молодежь делала неожиданные для них открытия:

— У нас не так душно...

— Это потому, что у нас лес и сад.

— И пруд, и плотина...

Впереди тяжело взмолился чей-то человеческий голос. По дороге кто-то двигался. Это были переселенцы... Во тьме были едва различимы их рубища и наваленные на подводы убогие пожитки... В ночном зное шли крестьяне в Сибирь.

Девушка спросила:

— Что это? — И, удивленная, остановилась, ожидая ответа.

Поэт вздохнул:

— Погоня за счастьем...

Они заснули в поле под звездным небом, окруженные мертвыми колосьями.

Утром, с первыми лучами солнца, тронулись дальше.

— Деревня!

Крик прозвучал, как «земля!»

Вот она — старая русская деревня: чересполосица, знойное небо и высоко в нем ястреба. Тучи оводов, высохший прудик... Ветер крутит по дороге солому; мертвы крылья мельниц; покосились плетни у околицы; бегают тощие псы; зреет рябина; по обочинам дороги посеревшая крапива, лопухи, грядки пожелтевших огурцов. В затхлых пустых амбарах — сбруя, ржавое железо. Неоконченные срубы, капли смолы на бревнах, брошенные стружки и надо всем — кривые купола сельской церкви.

Барчуки встревожились, вступив в деревню... Шли, не веря ее тишине. Им казалось, что они лишились слуха... Девушки остановились и попятились в испуге, когда из-за угла показались двое мужиков, тянувших телегу. Мужики надрывались, навалившись на ляжки.

— Где ваша лошадь?

Мужик поднял голову и прохрипел:

— Ско-тина... пала...

Они пошли дальше. У церкви встретили священника, который пригласил их в свой дом. По пути он соображал, кто бы это мог быть, как с ними беседовать и как их принять: если господа — дело одно, если городские, из общественных — дело другое, тогда надо предупредить старосту.

К молодым людям в доме священника постепенно возвращалось привычное равновесие... Занавески, крашеный пол, половички, просфоры на окне, журнал «Нива», этажерка с фарфоровыми безделушками, часы с двумя гирями — все действовало успокаивающе.

— Зачем в наши края? — обратился священник к гостям.

Он внимательно слушал сбивчивую речь поэта о жажде подвига, о красоте, о стихах, но не мог уяснить себе причину появления барчуков.

Вдруг без стука отворилась дверь, и на пороге показался тощий крестьянин. Священник, как бы прося извинения, пояснил гостям:

— Должно быть, он пришел за причастием для отходящего, но бывает, что и меня обманут. Мужичу лишь бы глотнуть... Господи, и на этом ловчат!.. Чего тебе?

— Благословите, батюшка, коня резать.

— Христос с тобой, не татарин ведь... Иди, иди...

В деревнях Поволжья иссякали запасы. Валился захиревший скот. Мужики начинали разбирать соломенные крыши изб на корм скотине. На тройках и на двухконных тарантасах, взметая пыль, проносились господа из земств. Мужики снимали шапки, а господа, почти не отличавшие рожь от пшеницы, говорили мужикам:

— Братцы, надо нынешней зимой снег на поля свозить.

И уносились дальше, в губернский город, откуда сообщали в Санкт-Петербург о недороде хлебных злаков, ибо слово «голод» не допускалось.

В Самаре дамские комитеты устраивали благотворительные вечера в пользу пострадавших...

— Mon général¹, выпейте этот бокал — и дайте для бедняков quelques roubles!²

— Сударыня, я был бы счастлив выпить из ваших рючек — целое море!..

Было мило, шумно и «приподнято», все как-то облагораживалось «высокой целью».

В столице тайные и действительные тайные советники от науки готовили издания (ограниченный тираж, сто страниц) «О влиянии юго-восточных ветров на хлебные злаки», «О недородах в Самарской губернии» и т. д., в коих трудах констатировался веками известный факт: юго-восточные ветры вызывают засухи. Математически предсказывались периоды неизбежных бедствий: «Так было — так будет».

¹ Генерал (франц.).

² Несколько рублей! (франц.).

Но наиболее простое решение: объединенными усилиями помещиков и крестьян искусственно орошать землю, избавить край от засух, — не принималось, ибо самое понятие «объединение» уже содержало в себе некое «опасное» начало, а всякое «новшество» пугало излишним риском, издержками, усилиями.

Биржей все суммировалось так:

«В начале года колебания хлебных цен были непродолжительны и невелики. В русских портах оживленно, на внутренних рынках общее настроение спокойное, устойчивое. Вывоз хлеба из России идет усиленно. Неутешительные сведения — из Приволжских районов в июне — не отражаются на экспорте».

Экспорт не терпел ущерба. Фирмы Одессы, Николаева, Херсона, Феодосии, Ростова не уступали мест фирмам САСШ, Канады и Аргентины. Государственный банк выдал ссуд на 101 735 000 рублей золотом под хлебные операции против 87 854 000 рублей прошлого урожайного года; он форсировал экспорт за счет голодных крестьян Приволжья. Судьбы двадцати пяти миллионов русских крестьян голодающей полосы никого не тревожили.

Зерновой ливень хлестал из элеваторов и портов России. Он шел по проливам — на Запад, в европейские порты, и по рельсам уносился в города Греции, Германии и Франции.

* * *

Земский начальник постучал тростью в шестистенную избу. Здесь жил староста. Семья была неделеная, скромная, постоянно работала, помогала людям. Староста учил сыновей: «Надо жить общей жизнью» — и ладил со всеми, обходя злобу и свары. Он принял земского, сдержанно поклонившись, и строго сказал:

— Поспешить надо, васкородье, пора народ удовлетворить... Есть ведь такие, что на полдесятине существуют. Об них и бог думать велит. Зерна совсем не собрали...

Земский начальник слушал и, по вкоренившейся привычке, недоверчиво поглядывал на старосту. Старик почтительно сообщал:

— Крестьяне лист подали: «Жить нельзя — привязаны, надо оторваться». А есть которые их учат — «оторвемся»...

— А кто именно, братец?

— Не могу знать.

Старик непроницаемо глядел в глаза земскому — враждебный и недоступный.

Слушая старосту, земский все время вспоминал 1905 год: набат, толпы крестьян, разгром усадеб... и свое яростное донесение: «Бунты, к сожалению, не подавлены, что наносит удар престижу власти; полагаю необходимыми карательные меры...» Земский помнил свое безграничное удивление: неужели вот эти русские мужики, Платоны Каратаевы, так внезапно могут меняться?.. Какие действуют причины? Земский глядел на старосту и думал: «А что кроется в душе этого старика?»

Староста продолжал говорить:

— О книжках допытывают: скажи да скажи... Не книжка, барин, страшна, а то, что есть нечего ни нам, ни скоту... Земли нет, хлеба нет, сенокосу нет, выпасу нет... Не посердитесь, васкородье, — могу к вам привести одного, у коего надел семь квадратных сажон... Из петли вынутый...

Земский слушал старосту и думал: «Вот они — причины... Когда я вел в 1905 году дознание, крестьяне были что стена непроницаемая: «Знать не знаю...», «воля царская...» Одичалые, сосредоточенные, испуганные, но упрямые в самой сути, в поиске их «правды».

Земский, закусив (у него были с собой в плетенке закуска и баклага с портвейном), приказал позвать крестьян-домохозяев. Их было трудно собрать — мужики были измучены голодом, озлоблены.

Староста встречал каждого в сенях и повелительно шептал:

— Требуй!

Мужики теребили дремучие бороды и просили самого старого из них «сказать за всех».

Старик подошел поближе к земскому:

— Ваше высокоблагородие, раз вы нас позвали, то извольте выслушать. Кони падают, ваше высокоблагородие, явите добродетель. Барин родной, не оставь, милостивый!

Старик несколько раз перекрестился. Один из мужиков, стриженный, средних лет, подошел к земскому и со злобой швырнул на стол кусок сухой глины. Земский испуганно посмотрел на мужика. Старик объяснил:

— Глина... С белой глиной на деревне хлеб пекут... Хлеб этот народ ест... Где же нам помощь?

Земский оборвал его: .

— Отнюдь не должно поддерживать у кого-то родившуюся мысль об обязанности властей приходить вам на помощь и о даровом характере этой помощи... Достаточно, если вам будет предоставлена возможность работы на некоторых участках.

— Ваше высокоблагородье, помилуйте, скотина падает! У самих мочи нет...

У мужиков темнело в глазах, иные плохо соображали, иные впадали в дремоту. Как тоненькие вибрирующие ниточки, слабо бились пульсы под высохшей кожей... У одного старика вместо лица была какая-то отекаящая маска, и земский, заметив это, невольно вздрогнул.

Мужики ждали.

Земский велел переписать особо нуждающихся, кроме тех, которым уже несомненно грозит смерть. (К чему лишние издержки?) На перепись должны были выйти те, кто покрепче, посытнее и из грамотных.

Земский собрался уходить и, прощаясь, приказал старосте:

— Действуй, братец! Завтра, так и быть, пособие привезут.

Староста, услышав добрую весть, помчался к священнику. Сняв шапку, деловито и ясно он рассказал ему все подробности беседы. Молодые господа, уже обжившиеся в уютной комнатке священника, воспламенились, услышав о переписи.

— Мы поможем!

Но староста решил, что легкомысленные барчуки во время переписи будут лишь помехой, и с настойчивой мягкостью отклонил всякое их участие:

— У крестьян разные болезни, это опасно, не пушу я вас, господа. И рад бы, дело-то хорошее, а не пушу. Сами управимся.

Люди тревожились, ждали пособия. Всю ночь до зари староста переписывал крестьян. Наутро под охраной стражников прибыло несколько подвод муки, крупы и картошки.

Не включенные в перепись больные крестьяне тащились к казенному складу просить хоть пятачку муки, хоть на язык. Они ползали на коленях перед урядником, лоя его руки. Он стоял среди стражников, властный отменить любое постановление крестьянского «мира», властный любого подвергнуть наказанию.

Голодные молили стражников: «Брат-тцы-ы... брат-тцы-ы...» Просьбы не действовали. Тогда крестьяне из последних сил подползли вплотную к складу... Урядник чество просил отойти и пошевелил ножами шпаги. Люди ничего не хотели знать: они чужали запах муки, видели ее следы на пороге, теряли рассудок... Стражники переглянулись... Урядник крикнул:

— Постреляю, наз-зад!

Но ничто не могло остановить изголодавшихся людей. Урядник выстрелил. Один из крестьян упал, вытекло ничтожное количество крови — он был предельно истощен. Самый старый поднялся и, пошатываясь, подошел к стражникам:

— Убейте и меня, Христа ради, все одно помирать...

Поэту и его спутникам надоело бездействие. Они пошли наугад по деревне. Услышав шум и выстрелы, побежали к складу и сразу увидели, поняли все... Они были подавлены. Все иллюзии окончательно рухнули, прогулка не удалась. Урядник, увидя господских, незаметно убрал стражников...

Все на деревне, не отрываясь, смотрели, как задымила печь у старосты: у него варили общественный суп.

У церкви, на площади, поставили столы, покрытые холстами. Староста вызывал по списку. Каждый был обязан принести с собой ложку. Крестьяне стояли тощие, воспаленные, не сводя голодных глаз от столов. Вызванные подходили к столам, крестясь, подносили миски ко рту, убирая ложки, чтобы не пролить ни капли.

Они глотали суп, закрыв глаза, и прятали хлеб для родных...

Пришедшие из усадьбы молодые люди стояли поодаль. Девушка спросила поэта:

— Что же нам делать? До концерта ли тут?

К ним подошел крупный, средних лет мужчина — отставной солдат. Лицо у него было темное, как земля. Он зашептал:

— Барин, барышня, я грамотный... Позвольте рассказать вам, как мы живем. У меня отец и жена умерли, шесть малолетков. Жить надо, а усадьба в три десятины и полевой земли четверть десятины. За пастьбу коровы платить двенадцать рублей, а за десятину под хлеб отработай помещику три, да с возкой, да на своих харчах... И все мои две руки... Ну, что ж тут поделаешь, господа? В петлю... А я служил, на Дальнем был... Обращался к земскому, всюду, а к старому барину — и обращаться нечего: трет и гнет он нашего брата-крестьянина...

Девушка из усадьбы покраснела от досады, когда поняла, что «старый барин» — это ее добрейший дед, и, прервав разговор, отошла от мужика.

Запасной солдат безнадежно махнул рукой и умолил. Давняя, отчаянная мечта о земле всегда была с ним. Она, эта мечта, была вместе с тем потрясающе реальна. Семьдесят миллионов десятин, принадлежавших тридцати тысячам российских дворян, могли увеличить надел каждого крестьянина в полтора и в два раза. Это была земля, перепаханная для господ, но, несмотря ни на что, знакомая, родная, обороненная в войнах и недоступная, как небо.

Больные крестьяне окружили поэта и спрашивали его:

— Вы доктор будете?

Они протягивали к нему руки с распухшими суставами, обнажали перед ним свои язвы. Один раскрыл рот и показал ему кровоточащие десны. Поэт растерянно молчал. Сквозь толпу к нему пробралась женщина с полумертвым младенцем на руках. Он брезгливо и грубо оттолкнул ее. Женщина упала, уронила ребенка.

Грубость сытых, любопытствующих барчуков обозлила крестьян. Понеслись угрозы, проклятья, проклевывались брошенный кем-то камень.

В паническом страхе барчуки бежали, расталкивая толпу. Они спрятались на окраине деревни за каким-то

сараем, прислушивались к чьим-то шагам, к приглушенным шорохам...

Время шло. Уже стемнело... Поэту хотелось курить... Он зажег спичку, она погасла на ветру, зажег вторую, третью... За плетнем вскрикнули:

— Дяржы-ы!.. Жгут!..

— Жгу-ут!

Крик мгновенно облетел деревню. Обезумевшие от голода, тощие, разъяренные мужики и бабы с батогами, кольями и цепами шли из последних сил, чтобы расправиться с «покусителями» — барчуками. Мужики загонем окружали убежавших «господских»...

— Мало им нашего голода!

— Деревню спалить, избавиться от нас барчуки решили!

— Бей их!

Схватили поэта, поволокли его за длинные волосы, били палками. Он кричал и царапался, еще больше озлобляя этим мужиков. Девушки визжали, почти потеряв рассудок.

В деревню влетели экипаж и линейка. «Старый барин!» Народ шарахнулся. Из дома священника уже бежали на помощь пострадавшим с марлей и лекарствами. Светили фонарями... Запахло иодом, коллодием, валерьяновыми каплями. Девушки рыдали.

Старый барин сверкал глазами.

— Запорю!

В экипаж втаскивали избитых, стонавших беглецов.

— Трогай!

Кони тронули и пошли крупной рысью. Дед молчал, сдерживая гнев. Вскоре показались знакомые белые башенки у ворот усадьбы. Глаза сквозь слезы различали родное гнездо. Вырвался радостный крик:

— Дома!

* * *

Как дно древнего моря, иссякшего и высохшего от ужасающего зноя, был распростерт Юго-Восток России. Но оазисы-усадьбы, казалось, ласкали небо кронами старинных высочайших лип и отражали его в искусствен-

ных озерах, прудах и ручьях. В парках каждое дерево и каждый куст нагнетали кислород и озон, дарили прохладой.

Утром в доме распахнули окна, раздернули кисею занавесок. Все захлебнулось в солнечном потоке. Молодежь, забыв все свои злоключения, уже бежала к пруду. На солнце блестели розовые тела купальщиц...

С капельками воды, оставшимися на локонах после купанья, девушка писала, отдыхая в постели:

«Дорогая, если бы ты знала, что мы перенесли! Это ужасно! Крестьяне, оказывается, звери!»

* * *

В своей усадьбе встречал день и первый землевладелец империи — царь со своей семьей. И вместе с ними встречали день:

Министр императорского двора, восемь его помощников и девяносто восемь чиновников;
шесть обергофмейстеров, один обергофмаршал, один обершенк, один обершталмейстер;
девяносто восемь гофмаршалов, сорок пять шталмейстеров, двадцать егермейстеров;
триста шестьдесят восемь камергеров и четыреста двадцать камер-юнкеров;
сто восемьдесят восемь чинов, наблюдающих за управлением земельными уделами его величества;
сто семьдесят чинов, ведающих управлением дворцами;
сто пятьдесят чинов личной его величества канцелярии;
сто шестнадцать чинов, ведающих придворным хором и оркестром;
тридцать три чина, ведающих раздачей орденов, пятнадцать чинов, ведающих охотами его величества;
сто двенадцать чинов личной его величества канцелярии по приему прошений;
семьдесят восемь чинов, ведающих личным его величества кабинетом;

шестьдесят три чина, ведающих церемониями, пятьдесят три чина, ведающих управлением дворцовыми кладовыми;
сто шестьдесят лекарей, ведающих здоровьем их величеств;
пятьдесят три чина, ведающих их величеств лошадьми.

Встречали день в царской усадьбе и обслуживающие царскую жену:

Одна гофмейстерша;
четырнацать статс-дам;
двести шестьдесят три камерфрейлины и фрейлины;
двадцать два чина личной ея величества канцелярии и одна гофлектриса.

В этот штат входили с прилежанием и обожанием лишь особы из благородных княжеских и графских фамилий, как-то: Нарышкины, Воронцовы-Дашковы, Трубецкие, Толстые, Шереметевы, Репнины, Голицыны, Бобринские, Гагарины, Куракины, Орловы-Денисовы, Орловы-Давыдовы, Мещерские, Апраксины.

Вокруг одной «семьи» бездельничали, суетились, жрали и напивались сотни и сотни людей, содержание которых стоило бешеных денег и ничем не окупалось.

Еда и питье в царской усадьбе занимали одно из первенствующих мест, что свидетельствуется тем, что для изготовления и хранения еды и питья существовали:

Кухни их величеств: собственная его величества кухня с очагом, печью для выпечки блинов и рошпором для жарения шашлыков; кухня гостевая, кухня лакейская и кухня собачья для собственных его величества собак; собственный его величества буфет с отделениями чайной варки, кофейной варки, сливочной и молочной варки, варки какао; буфет свиты, буфет гостевой, буфет лакейский; кондитерские, заготовочные; аквариум для рыб; ледники; кладовые разные; собственный его величества винный погреб, где хранились водки, настойки, коньяки, вина сухие, сладкие, шипучие — всех стран и всех марок.

За приготовлением пищи наблюдали: супмейстеры, старшие повара, дежурные повара, повара первого и второго разрядов. Им в помощь — поварские ученики и кухонные мужики.

Из дворцовых кухонь по пять и более раз в день подавалась пища:

Тончайшие закуски: икра разных сортов, устрицы, лангусты, омары, раковые шейки, севрюга, балыки, угри, минюги, лососи, семги; паштеты из гусиных, налимовых, куриных и телячьих печенок; заливные; супы разные; пироги сдобные и слоеные, расстегаи и кулебяки; нежные рыбы: осетры, белуги, стерляди, караси, форели — жареные, заливные и в соусах; мясные блюда холодные: колбасы тридцати сортов; окорока, ростбифы и прочее; горячие: колбасы в кипящем масле, филе в мадере, шашлыки на вертелах, бифштексы по-гамбургски, по-пейзански, по-татарски; лангеты, рагу, фрикассе, рулеты в барбарисовом соусе; румяные птицы: фазаны, пулярды, каплуны, рябчики, тетерки, куропатки с подливкой — гвоздичной, мускатной, индейки, фаршированные каштанами, гуси с начинкой из орехов и яблок; пломбиры, мороженое, кремы, зефиры, суфле, пудинги, пирожные, торты; нуга, шербеты и прочие восточные сласти, бананы, персики, ананасы и прочие и прочие фрукты и ягоды, присылавшиеся из южных стран в любое время года.

Все поглощалось, проглатывалось, запивалось.

Еде придавалось первостепеннейшее значение. Вкус к еде воспитывали, развивали, культивировали. Аппетит поддерживали и вызывали острыми, горькими, пряными веществами: экстрактами, маринадами, винами и прочим. Вкусы приучали и приспособляли к редким видам пищи, избегая пресыщения и однородных ощущений. Пище придавали волнующие и странные запахи — благовонные, одуряющие, опьяняющие, — подмешивая корицу, гвоздику, шафран, ваниль, кардамон, мускат и прочее.

Придворная российская кухня сочетала опыт древней

кулинарии Греции, Рима и Востока с новой — французской, английской и немецкой.

Дворец неутомимо поглощал тонны пищи, вбирая немислимой глоткой своей все лучшее в империи.

«Порядок сей» в «Памятках истории России» объяснялся учредившими этот порядок следующим образом:

«Ныне благополучно царствующий помазанник Божий Государь Император Николай Александрович миролюбиво правит Россией по провидению Божию и по заветам дедов и отцов своих, и да воздадутся за это царю все блага мирские. И ныне и в будущем вся Россия возблагодарит Бога за великие труды ее императора».

«Порядок сей» был обречен: империя Российская скрипела и расшатывалась под напором все возрастающего народного гнева. Он нарастал постепенно, — вспыхивая в крестьянских бунтах, в бурных схватках, в опаляющих стачках, руководимых Российской социал-демократической рабочей партией (большевиков). Денно и ночью, скрыто и явно — в империи шла внутренняя ожесточенная война.



ГОД 1913-й

Глава вторая

НОВОБРАНЦЫ

I

Тоскливо прекрасна площадь у Зимнего. Северные сумерки пурпуровым безмолвием окутывают дворец. Медлительные облака движутся над сине-багровой Невой.

У дворца на каменном низком постаменте стоит не шелохнувшись гигантский часовой. Он дюж, сложен прекрасно, тело струной, у него светлая борода, расчесанная надвое. Он дополняет пленительный город, этот пленительный колосс.

Черная суконная, отсвечивающая на солнце фуражка на часовом — со сверкающей кокардой и лентой георгиевских цветов, черным и желтым. Мерцает золото надписи «Гвардейский экипаж». Часовой — в мундире, схваченном тугим блестящим белым поясом с сияющим орлом на бляхе. На груди его две бронзовые медали: одна на черно-красной ленте в память столетия Отечественной войны, другая на бело-желто-черной в память трехсотлетия дома Романовых. Черные шаровары охватывают подобные колоннам ноги часового. Сапоги начищены до блеска, и кажется, что в них отражается медлительное движение высоко идущих облаков.

Часовой стоит недвижно. Он так могуч и тяжел, что под ним невидимо оседает каменная кладка. Он держит, едва касаясь пальцами, свое тяжелое ружье. Гигант, вскидывая ружье на караул при появлении высоких особ, не ощущает его веса.

Площадь безмолвна. Ничто не тревожит покой дворца, и легкий ветерок развевает над ним штандарт — шелковое желто-золотое полотнище с двуглавым орлом.

Издалека слышен тяжелый медлительный военный шаг. Российская императорская армия ходит — сто шагов в минуту, на двадцать пять более каданса времен императора Александра Благословенного, коим кадансом входили в Париж в 1814 году.

Часовой весь внимание. Еще шире кажутся его плечи с алыми погонами. Голубые глаза источают в пространство послушание, строгость и «незыблемое» величие двух веков службы императорской гвардии.

Четыре гвардейских матроса, похожие, как близнецы, на часового, потому что по велению государя-императора для частей гвардии отбираются по призыву красивейшие и схожие, — подходят к дворцу, держа на плече ружья со штыками, устремленными косо ввысь.

Смена подходит на два шага к часовому, и по всей площади стелется зычная и повелительная команда разводящего — старшего из четырех, отмеченного ефрейторской нашивкой:

— Смена, стой!

Однообразно щелкают каблуки блестящих сапог. Винтовки срываются вниз, свершая путь от плеча к ноге. Разводящий сильно выбрасывает левую ногу, делает шаг вперед и поворачивается направо вдоль шеренги, давая новую команду, которая опять зычно стелется на сотни шагов:

— Сме-на, вперед, шаго-ом арш!

Сменяемый часовой чуть приподнимает винтовку и делает шаг вправо. Щелкают каблуки, и снова все не шелохнутся. Пять гигантов-бородачей знают строгость ритуала. Они священнодействуют.

Правофланговый из шеренги становится рядом со сменяемым часовым.

Сумерки сгущаются, и даль площади уже совсем темносиняя. В сумерках мерцает золото караула.

Сменяемый, голосом зычным и торжественным, стелющимся на сотни шагов, вещает сменяющему о том, что вверяется ему на посту его императорского величества. Недвижно внимает сменяющий и также зычно и торжественно повторяет то, что знает годами, но что надлежит

ему повторить. Тогда сменяемый, чуть приподняв винтовку и сильно выбрасывая левую ногу, движется к шеренге. Он занимает место на левом ее фланге и делает почти неуловимый поворот, сливающийся с таким же поворотом сменившего его часового.

И у дворца опять стоит не шелохнувшись гигантский часовой. Он дюж, сложен прекрасно, тело струной, у него светлая борода, расчесанная надвое.

— На пли-чо!

И по команде предварительной — «на-пли...» чуть приподнимают четыре гвардейца свои ружья так легко, будто ничего не весят они, и по команде исполнительной — «чо!» вскидывают их, неуловимо переворачивая в воздухе, на левые плечи.

— Шаго-ом арш!

И вновь слышен тяжелый, медлительный военный шаг. Уходят четыре гвардейца. Стоит часовой у дворца. Невидимо оседает каменная кладка под ним оттого, что грузен и огромен этот страж, источающий в пространство из голубых глаз своих послушание, строгость и «незыблемое» величие двух веков службы императорской гвардии.

Дворец окутан глубокой синевой. Блестят, как золото на черном лаке, отражения огней на Неве. Великий покой и безмолвие у дворца.

* * *

Безмерны владения империи. Ослепительные, стоят эскадры на рейдах империи: Кронштадтском, Ревельском, Гельсингфорсском, Либавском, Севастопольском и Тендровском, Бакинском, Владивостокском и Хабаровском — в лето царствования трехсотпервое дома Романовых. Над эскадрами вьется российский андреевский флаг.

Безмерны владения империи. В лучах заходящего солнца охрой горят приморские казармы и флигеля императорских флотских экипажей.

Безмерна государева щедрость к народу:

«Положено во флигелях адмиралам по 52½ квадратных сажени на персону, штаб-офицерам по 37½ квадратных сажени и обер-офицерам по 22½ квад-

ратных сажени на персону, а за излишне занимаемое по желанию помещение казна берет доплату по три рубля в год, согласно приложения к статье 343 раздела III книги XIII Свода морских постановлений».

А в казармах: по двадцати двух с половиной квадратных саженях размещают партии прибывающих матросов.

В лучах заходящего солнца охрой горят санкт-петербургские казармы для проходящих команд.

В вечернюю столицу пригнали эшелоны новобранцев — красивейших и схожих — со всей империи. Громадную толпу ведут унтер-офицеры по темным боковым улицам, чтобы не нарушать обычный порядок на Невском.

На Лиговской народ останавливается, не различая в темноте, кого ведут. Толпа гигантов!

— Господи, и где таких набрали!

— Какі борцы или что?

— Новобранцы это. В гвардию.

Идут с Лиговской по Колокольной и Загородному ошалевшие от шума и света громадные тихие деревенские парни. Отбирали их из далеких местностей.

Унтер-офицеры косятся, посмеиваются, идут плавно вдоль панели, печатая шаг... Красуются... Они знают себе цену: в Америку на Филадельфийскую выставку и в Париж на Всемирную ездили представлять Россию. С ума от них сошел Париж. Жужжащие толпы окружали матросов — *les marins du tsar*¹, — разглядывавших французов с высоты своих сажень.

Гвардейский экипаж... Под сводами тяжелых арок проходит толпа неуклюжих гигантов в казармы. Ворота запираются. Керосиновые лампы рыжим светом освещают вонючие помещения и нары экипажа. На партию положено двадцать две с половиной сажени! Новобранцы

¹ Царских матросов (*франц.*).

в молчании располагаются. Тишина нарушается окриком вошедшего унтера:

— Ну, серые, вещички ставь...

Раскрыты все сундучки и корзинки. Унтер переворачивает портки, рубашки, портянки, полотенца, иконки.

— Это что? Кол-ба-са? На царской службе под суд сразу попасть хочешь? Смотри!

— Ды-к...

— Не дыкай... Стань, как полагается. Собственный товар оставь. Колбаса! Ты что думаешь, на службе голодом морят?! Сгноят тебя за такие штуки. Тут все казенное. Эй, серье, — слушай все. Клади в ухо! Нестеров, переписать всех — кто допускает нарушение, у кого собственный харч.

— Есть!

Тишина, растерянная тишина. Господи!..

Второй унтер идет и лениво, но тщательно в свою очередь проверяет корзинки, мешки, сундучки, кошелки... Новобранцы несчастны и в темном углу, в страхе, выбрасывают сало куда-то в запечную грязь.

Второй унтер видит отчаяние послушных верзил и, оглянувшись, тихо командует:

— Ладно, серье... Выручу... Складай все в одно место. Хорони. Спрячу.

Обрадованные парни суют в кучу баранки, кольца колбас, сало, ватрушки...

— Беда с вами, каждый год... Строгость на службе.

— Покорнейше благодарим, дядинька.

Счастливые новобранцы мнут картузы, шапки.

— Ланно. Из-за вас еще и сам пострадаешь.

И, пряча улыбку, идет с докладом к старшему.

Заберут у серых их харч — и будет знатное флотское пьянство. Серых сразу пугануть надо.

Новобранцы коротают вечер, тая печаль и страх беззащитности. Рыжий свет скуп... Слышно только копошение больших тел. Покорное, понурое ожидание... В неистребимой тоске чего-то ждут эти люди. Мужики замирают — вся партия, — когда где-то по плитам стучат размеренные шаги. Начальство! Неизвестность окружает людей со всех сторон. За окнами черная река — и страш-

ная неизвестность пугает людей... Людям мерещится черная вода, где топят... Отсюда ведь по Неве и на море! Утопят, утопят... Никола Морской, заступник... Сказывали, сколько топили... в японскую войну. Людям мерещатся грозные, со всех сторон наступающие, сверкающие зубами и пуговицами унтера... Унтера, унтера... От страха хочется зажмурить глаза, а они не зажимаются...

Копоть покрывает стекло лампы и летает по каморе. Двадцать две с половиной квадратные сажени, отведенные для новобранцев, едва вмещают их... За окнами стоят, как стража, тяжелые бурые флигеля казарм.

Душно... Новобранцы постепенно погружаются в тяжелый сон...

Распахнуты окна на рассвете. С реки тянет холодком. Знобит. Тихо переговариваются неумытые люди:

— Сполоснуться бы где, а?

— Не зна. Потом объявят.

Входят унтер-офицеры и быстро, привычно расставляют мужиков. Придают им на ходу должный вид.

— Подтянуть животы!

— Выпрямляй спины!

Новобранцы стоят не шевелясь, затаив дыхание, не отрывая глаз от унтеров.

Вдоль шеренги идет писарь и со строгостью опрашивает парней:

— Чем занимался?

— Мы землепашцы.

— Сколько земли?

— Двенадцать десятин...

Писарь пишет на груди мужика мелком, завернутым в бумажку, чтобы не пачкаться: ГЭ¹, и идет дальше.

— Ты?

— Хрестьянством.

ГЭ.

— Ты?

— Костромской губернии, Ветлужского уезда, Николошаангской волости, деревни Красный Холм.

¹ Гвардейский экипаж.

И стоит ухарь с чубом — справный, чистый.

ГЭ.

— Ты?

— Из дворян.

— Как так?

— Так точно. Только неграмотный.

— Как «только»?

— Так точно. Я роду путно-панцырных бояр. Есть таии. Костылев я.

ГЭ.

— Выяснить. Дальше. Ты?

— С Руссуд-Наваля.

Мастеровщина. Прочь. Метка БФЭ¹.

Писарь метит быстро, пронизывая глазами новобранцев.

— Ты?

— Из крестьян. Был у господ в услуженье.

— У кого?

Кудрявый, курносый парень рывкает сладко и подобо-бострастно:

— Ево превосходительства генерал-майора Кротова.

ГЭ.

Потом выводят мелом рост: вершки — по мерке. Унтера пристукивают, подсмеиваясь, шкалой по теменн подходящих, оголенных по пояс мужиков. Кричат отметчику:

— Восемь. Восемь. Восемь с половиной. Восемь. Десять. Восемь с половиной².

— Эй ты, дуболом, десять!

— Я-у.

— Не «я-у», а «есть» во флоте говорят. Отвечай!

— Есь.

— Ты кто такой?

— Иван Петров Смирнов.

— Отвечай: «Молодой матрос Иван Петров Смирнов».

— Молодой матрос Иван Петров Смирнов.

— Громче!

— Молодой матрос Иван Петров Смирно-ов!

¹ Балтийского флота экипаж.

² Рост обозначался сверх двух аршин.

— Так, запоминай, серый.

В каморе зык стоит. Как скот на товарной станции, метят людей. Парни стоят, моргая глазами... Иногда они вздрагивают, оглушенные рыком унтеров. Те неожиданно кричат им в лицо:

— Здорово, один серый! Ну, кричи громче: «Здравья желаю, господин унтер-офицер!» Еще раз — здорово, один серый!

— Здрав-желаю, господин унцерцер.

— Разевай, разевай пасть. Не бойсь!

Торжественный день. Сегодня в Михайловском манеже будут отбирать пятьдесят самых высоких новобранцев империи для роты ее величества государыни императрицы — в Гвардейский экипаж. Попутно командир Гвардейского корпуса, командиры гвардейских дивизий и полков со свитами будут отбирать «схожих» для своих частей: курносых в лейб-гвардии Павловский полк (император Павел был курносый), высоких, ловких брюнетов в лейб-гвардии Конный полк и так, сообразно традициям, по всем полкам.

Завтра в части Гвардейского экипажа в свою очередь отберут «схожих» из призванных в Гвардейские корпуса.

Перепуганные насмерть новобранцы стоят в манеже. Они дрожат и трепетно косят глазом на свои груди — не стерлись ли за ночь меловые метки. Кары и несчастья мерещатся новобранцам.

Офицеры их жадно разглядывают, надеясь заполучить редкие и красивые «экземпляры».

— Поглядите! Третий слева — статуя!

Сегодня приемщики всех частей — господа адмиралы, генералы, штабные, обер-офицеры и нижние чины — по традиции в полной парадной форме на предмет внушения новобранцам великолепия службы. В касках, в золотых латах с чудовищными орлами, распростершими крылья на ширину мужского торса, стоят, опершись на палаши, монументальные кирасиры и кавалергарды — тяжелая кавалерия, — позволяя рассматривать себя всем. С тайным завистливым любованием рассматривают их офицеры гвардейской пехоты и даже легкой кавалерии — драгуны, гусары, конно-гренадеры.

Смешиваются запахи пота и грязи с офицерскими запахами: табака, одеколона, вежеталя, бриолина...

Новобранцы испуганы, ослеплены и потрясены игрой красок и видом начальства. Начальство пребывает в рассеянно-возбужденном состоянии от ожидания приезда высоких особ, от присутствия приятных им, равных им по кругу, одинаковых по воспитанию, вкусам и привычкам людей — представителей Санкт-Петербургского света.

В одной из групп офицеры держат пари, глядя на детину, возвышающегося над всей толпой новобранцев. Дитина стоит неподвижно, точно никого не видя. Он обут в олухи и берестяные лапти, посконные порты и холщовую рубаху, подхваченную тесьмой, с которой свисает деревянный гребень и ключ от сундучка. На голове дитины высокая валяная из шерсти шляпа. Ворот расстегнут, на темной груди — медный крест.

Офицеры-преображенцы держат пари — сколько вершков в дитине, так как метка на его груди закрыта стоящими перед ним. Сомнений нет — он самый высокий новобранец этого года и пойдет в Гвардейский экипаж. В ожидании острого и редкого зрелища, зрелища, которое должно начаться с минуты на минуту, офицеры забавляются. Они подзывают самого рослого унтер-офицера-преображенца, и тот врастает в землю, поддавшись всем корпусом вперед, дабы изъясняемая им готовность все понять и немедленно двинуться куда угодно — была ясна всем.

— Кузьмищев, пойдй, гоубчик, к этому самому бойшому. Посмотри, гоубчик, скойко вешков.

— Слушаю, васокродь! Сею минуту, васокродь!

Десятивершковый усач пересекает манеж. На него глядят со всех сторон. Стена новобранцев расступается перед ним. Усач приближается к дитине; усач досаждает — дитина явно выше его вершка на три. Точно на груди пометка — «13». Усач возвращается и рывкает, остановившись за три шага от своих офицеров:

— Тринадцать вершков, васокродь!

— Ага!.. Выиггал!.. Спасибо, Кузьмищев. Можешь идти.

— Ррад-страть-васокродь!

Приемщики убивают время в передаче последних новостей света...

— Гс-да, чудесный случай... И не анекдот... С командиром корпуса. Слыхали?

— Ну-те?

— Он приезжает во дворец. В карауле — измайловцы. Чудесно все показали. Молодцы. Корпусной благодарит и говорит измайловцам: «Я, господа, всегда считал, что лучший полк гвардейской пехоты — Павловский». Tableau! ¹ Перепутал петлицы! Адъютант шепчет: «Ваше высокопревосходительство, тут измайловцы». Корпусной, ничуть не смущаясь: «Сказанное выше о лейб-гвардии Павловском полку считать относящимся к лейб-гвардии Измайловскому».

Наконец гул стихает. Начинается разбивка новобранцев.

Ослепительные приемщики медленно движутся к толпе и, покрикивая, с помощью унтеров превращают ее в стройные массивы каре. Мужики застывают. Внезапно раздается команда:

— Смирно, равнение на пра-о!

— Га-спада офицеры!

В здание манежа вошел корпусной командир — грузный человек, сопровождаемый свитой. Он поздоровался с собравшимися, и стены манежа сотряслись от рыка ответных приветствий. Корпусной приблизился к каре новобранцев, с пугающей строгостью оглядел их и, тяжело сопя, подошел вплотную к правофланговому, ведя за собой более сотни притихших офицеров. Корпусной поисками глазами заранее посланного им сюда вестового. Он увидел за шеренгой новобранцев ответный взгляд черных тяжелых глаз. Черная борода, лопатой, лежала на алой груди. Вестовой выжидал знака, чтобы начать «действие». Корпусной еще раз поглядел на бородача: писать, писать с него Репину, — и чуть заметно кивнул своему любимцу. Затем указал на правофлангового:

— В Преображенский!

Черная борода шевельнулась на алой груди. Все офицеры умолкли. В манеже стало совершенно тихо. Бородач, неслышно ступая по песку, смешанному с опилками, подошел сзади к новобранцу. Тот по тишине, по наприя-

¹ Картина! (франц.).

женным взглядам массы людей и непонятному, пугающему шороху позади него всем существом почуял приближение чего-то недоброго, но не смел оглянуться и стоял, выжидая... Бородач вытянул огромные руки и стиснул новобранца, схватив его чуть выше локтей. Новобранец тихо охнул. Бородач заорал: «В Преображенский!» — и новобранец, поднятый бородачом на воздух, завертелся и тяжело упал на песок к ногам приемщика. Офицеры, увидев улыбку корпусного, в свою очередь захохотали громко и беспощадно. Старинная традиция «швыряния» новобранцев это поощряла и разрешала.

Бородач-преображенец, так легко и яростно швырнувший новобранца, вызвал всеобщее восхищение. Корпусной, сопровождаемый свитой, двинулся дальше; он указал на следующего новобранца и произнес:

— Оставить в Гвардейском экипаже.

Второй парень был схвачен бородачом и брошен к барьеру, где его поджидали писаря. Он упал, стукнувшись головой о доски. С минуту пролежав на песке, новобранец встал с искаженным лицом и глотнул воздух. Последовало новое приказание корпусного, и полетел к барьеру третий... Хохот провожал и его.

Вскоре приемщикам надоело однообразие происходящего. Они жаждали новых развлечений. Уставший бородач швырял людей все озлобленнее, уже с натугой. Но корпусной продолжал отбор. Он указал на кудрявого курносого парня.

— В Павловский!

Курносый озорно улыбался. Бородач подошел к парню, схватил и рванул его. Парень покачнулся, но с места не сдвинулся, в свою очередь зажав руки бородача локтями... Бородач побагровел и рванул еще раз. Парень хмыкнул, сказал: «Чево ж», — но не шелохнулся, все сильнее прижимая руки бородача к своим ребрам. Офицеры наблюдали за ними. Курносый торжествовал, зная цену своей жуткой силище и уверенный, по опыту прежней службы у господ, в том, что они любят позавлечься борьбой. Он неожиданно резко развернулся всем корпусом, со всей силой стукнул зажатого им бородача о спину стоявшего рядом новобранца и выпустил его. Бородач упал. Курносый искательно улыбнулся господам и, тяжело ступая, зашагал к барьеру. Бородач, ни на кого не глядя, ждал очередного приказания, багро-

вый, злой, темный. Корпусной, помедлив, указал на следующего. Один из офицеров окликнул бородача и предупредительно погрозил ему пальцем. Он знал, что сейчас этот озлобленный и осмеянный человек может насмерть изувечить рыжеватого высоколобого парня, покорно ждавшего своей участи. Офицер вступился за него, но не по доброте душевной, а потому, что он подбирал в свой эскадрон «рыжеватых».

Писаря поддразнивали новобранцев, презрительно называя тверских — «козлами», костромских — «точильщиками», новгородских — «гусями» и т. д.

Собираемые в полковые партии парни стояли у стен, стравивали с себя песок и сокрушенно осматривали дыры на своей одежде.

* * *

Первыми повели из манежа пятьдесят человек в Гвардейский экипаж. Когда партия вышла из манежа, зазвенела и загудела медь оркестра и строже стали подсчитывать ногу унтера: «Ать, два, три, четыре».

Партию вели по Садовой улице. С Садовой свернули к Экипажу и вошли во двор, замкнутый со всех сторон флигелями казарм.

Служба молодых матросов призыва 1913 года началась.

С момента вступления новобранцев на камни казарменного плаца пускается в ход веками испытанная система. Перед людьми стремительно, давяще — возникает новый мир. Этот мир разрушает, истребляет привычный ход мыслей и почти мгновенным, неодолимым напором заменяет мысли людей — «уставом». Военный же устав империи Российской предписывает: «Не рассуждать, а повиноваться». Все направлено к тому, чтоб добиться одинаковости и бездумности. Все истребляется бездушной муштрой:

— Ать, два, три, четыре!.. Ать, два, три, четыре!..

Настойчиво внедряются противоестественные движения и слова, которые в конце концов и вовсе лишаются смысла и вызывают лишь механическую реакцию.

— Намлитв, ша-апкдолой!

И люди срывают с голов фуражки.

— Млитвзапе-вай!

И люди, замерев, поют в унисон:

— Отченаш, ижеесинанебеси...

Живой обмен мыслями, независимость, свободу движения, жеста при малейшем их проявлении преследуют, искореняют и заменяют — неподвижностью и смирением...

— Смирна! Отвечать как полагаит-ца!

— Шевелений ни-ка-ких!

Однообразие обстановки, в соединении с безостановочной муштрой, действует на людей.

— Ать-два-три-четыре...

— Ать-два-три-четыре...

Новобранцев ведут в баню. Цирюльники быстро срезают им кудри, и, по холодку, голые, остриженные парни бегут трусцой к крамам. После бани выдают флотскую одежду. Она лежит грудой — прежних сроков службы бракованная рвань, шинели образца 1868 года с четырьмя складками сзади, застиранные форменки — «в целях экономии средств».

Одетых по форме новобранцев разводят по ротам.

Унтера дают новобранцам первое наставление:

— Помните, куда попали! Гвардейский экипаж от личных его величества государя императора Петра Великого гребцов происходит и существует третий век. Особо вас жалует ныне здравствующий государь император, в отличие от прочих, независимо от содержания по табели первой и второй, именными деньгами в размере девяносто копеек в год, согласно книге двенадцатой Свода морских постановлений. В носу не ковыряй, эй, лапоть... Стой прямо, живот уברי... Ну!.. Довольствие в девяносто копеек производится до тех пор, пока нижний чин не будет замечен в дурном поведении... Понятно? Ну, чего молчите? Отвечайте: «Так точно, господин унтер-офицер...» Ну?

Заголосили вразнобой...

— Отставить. Еще раз. Так. Еще раз! Еще раз!

Десять раз рявкает партия ответ.

— Ладно... Есть, допустим, среди вас Петры и Павлы?

— Должно, есть... Которые... Эй!

— Я те дам «эй». Отвечай: «Так точно, господин унтер-офицер». А если нету: «Никак нет, господин унтер-офицер».

Испугались... Стоят...

— Ну вот, ко дню святых Петра и Павла все Петры и Павлы от государя императора, например, получают именные деньги в размере девяносто копеек в год... Кто Петры и Павлы, ну? Два шага вперед. Шагом-арш!

Шагнуло шесть человек.

— Подравняйся! Куды вылез, дерево!.. Вот — Петры и Павлы, не шевели рукой. Замри!.. Если не будете дисциплину исполнять — ни жизни вам не будет, ни этого довольствия. Девяносто копеек не видать вам вовек. Понятно?

— Понятно.

— Стой смирно. Говори все: «Так точно, господин унтер-офицер». Ну, разом!

Рявкнули.

Раздается мерный шаг... Это идут наисправнейшие, строжайшие и всепреданнейшие «обучающие». Один из них, черный с золотом монумент, рычит:

— Вста-ать!.. Име-отчество мое Никанор Флегонтович, по фамилии Садовников, ваш обучающий. Титул мой: Гвардейского флотского экипажа роты ея величества матрос первой статьи. Ты, повтори.

— Никанор Флегонтович.

— Это ты дядю в деревне так называй, а я тебе не дядя! Повторяй: вы, господин обучающий...

— Вы, господин обучающий...

— Изволите быть Гвардейского...

— Гвардейского...

— Изволите быть, полено!

— Изволите быть Гвардейского...

Обучил одного, потом все хором рявкают по разделением:

— Вы, господин обучающий. Изволите быть. Гвардейского флотского экипажа. Роты ея величества. Матрос первой статьи.

— Ну, гляди все на меня. Первый урок. Что есть стойка и воинская выправка? Если человек желает стать напоказ — стоит, как показывает природа, то есть пятки вместилах, носки разведены на ширину приклада. Вот так... промеж колен просвету нету. Коленки не подгибай, ну,

ты! Икры не оттягивай, не перегибайсь. Голова ни опущена, ни вздернута, но держится прямо на своей высоте над землей...

Унтер постоял, подумал, медленно пошел вдоль шеренги и, скучно поглядев, ударил по скуле левофлангового, — на всякий случай, чтоб службу знал. После чего снова забубнил:

— Будете вы у меня в руках на полном подчинении полгода — до восьмого марта — и эти полгода отсюда никуда. Только на зачятия. Гулянка вам не полагается до присяги. Понятно?.. Служить вам — как медной посуде — долго. Сначала со стараньем обязаны пройти строй и словесность, пока допустят до принятия присяги и высочайшего смотра... Во флоте все приказания бегом делаются: не ползи, а бегай! Шевелись! Руки где? Согни в локотках, когда бежишь, не мотай ими...

Вдруг унтер вскочил и замер: вошел старший обучающий и, выдержав паузу, загрохотал:

— Я есть ваш старший обучающий. Запоминай: Николай Ефремович Щетинкин. Полностью — Гвардейского флотского экипажа роты ея величества унтер-офицер. Чтоб к вечеру — наизусть. Садовников, обучишь.

Никанор Флегонтович тянется, каблуками щелкает.

— Есть, господин старший обучающий.

Старший обучающий Щетинкин обозрел новобранцев и погрозил пальцем. Жест этот означал: «Вы у меня смотрите!», «Выбейте дурь из головы», «Молчать!», «Не рассуждать!»

Полный курс «О религии и нравственности» унтер-офицер, за неумением связно излагать мысли (что и не предусматривалось уставом), преподавать новобранцам не мог, но знал, что курс должен быть усвоен, а ежели не будет усвоен, то будет им, Щетинкиным, незамедлительно «внедрен». Новобранцы должны были развиваться и приближаться к представшему пред ними узаконенному образцу — Николаю Ефремовичу Щетинкину. Им надлежало в законной последовательности совершенствоваться — церкви и отечеству на пользу, родителям на утешенье.

Щетинкин начальственно откашлялся и приступил к изложению:

— Ну, сэрье, вникайте! В небе имеется как бы небесный государь император — господь бог, каковой имеет

штат и свиту, в каковой состоят архангелы, ангелы, серафимы и херувимы и протчая. По образу и подобию своему сотворены господом в шесть дней мир, люди, первым из коих был Адам, изгнанный из рая по случаю нарушения тамошнего порядка, что выразилось в краже им райского яблока по наущению змия и жены Евы. В России же высшая власть поручена господом государю императору Николаю Александровичу, коий посему является божьим помазанником. Вам, серые, надлежит защищать веру, царя и отечество, не щадя живота своего. Вера у нас православная, лучшая и истинная.

Незыблемость, отчетливость и удобная простота сих истин повсеместно внедрялись попечением начальства и святой церкви. Унтер-офицер Щетинкин не допускал отклонений от этого раз навсегда усвоенного им образа мышления, подобно тому как не допускал отклонений и несоответствий в строевом деле. Жизнь для Щетинкина была не чем иным, как установленным порядком, коему подчинены, как зрит каждый, и солнце, и луна, и звезды, несущие им свыше предписанную службу, и ина слава солнцу, ина слава луне и ина звездам — согласно табелю рангов. Бог отец, бог дух и бог сын были Щетинкину ясны: сидит на облаке в одеждах строгий старец, затем голубь, затем сын... Поскольку, по глубокому убеждению Щетинкина, баба не человек и у бабы ум короткий, то богородица, естественно, помещалась пониже и порядок ничем не нарушался. Значительность бога-отца явствовалась из изображений его, из святого писания и подкреплялась благолепием и пышностью церковных служб. Собор Исаакия! А на земле действительно был государь император.

— Слушай меня! К монарху нашему долженствует питать обожание.

Новобранцы покорно внимали с детства знакомым, пугающим словам: бог, царь, церковь!.. Как быстро — спустя пять лет — ушли они из памяти матросской...

— Садись... Урок третий. Каблуки вместе, носки врозь... Руки на коленки... Глади в глаза... Не сутулься... Ну! Глади отдавание чести... И чтоб честь как молния, чтоб рука как на пружинке летала... Ладони как досточки — вот (рука обучающего замелькала). Виды отдания чести бывают разные: честь знамени и погребальной процессии, честь на ходу стоящему начальнику, честь на ходу идущему

шему начальнику, честь на бегу стоящему начальнику, честь на бегу идущему начальнику. Честь есть полный твой вид и смысл. Как честь отдаешь — видно, какой ты матрос. Годный, с выправкой или какой. Встать!

Обучающий разомкнул шеренгу, поставил людей на шаг друг от друга. Десятки рук взбрасывались и опускались, взбрасывались и опускались...

Прошлогодние новобранцы с приходом более молодых вступали в свои права и первый раз вкушали сладость начальствования.

— Ну, стой, стой! Говори, с кем дело имеешь?

— Со старослужащим...

— С господином старослужащим!

— С господином старослужащим.

— Тебе старшим!

— Мне старшим, господин старослужащий.

— То-то...

Вечер. Чадят керосиновые лампочки под потолком в каморах роты. Мерцают лампы. В полутьме тихо, почти шепотом перебрасываются словами новобранцы, сбиваясь в кучки, ожидая окриков, команд и неожиданных действий начальства. Старослужащие умело вызывают серых на расспросы и как бы нехотя начинают бесконечные флотские истории, выбирая такие, которые в полутьме больших камор заставляют цепенеть и ужасаться. Год тому назад старослужащие были сами новобранцы, сами цепенели и ужасались — теперь пришел их черед быть старшими, и, наслаждаясь этим новым ощущением, старослужащие следуют традиции...

Шепотом, оглядываясь, потому что не все можно говорить вслух, один из них рассказывает новобранцам о либавском корабле... Среди мертвой тишины шепчет матрос:

— И там смерть даже принимают. Никому не пожелаю попасть туда...

* * *

Либавский корабль! До гроба памятный. Не могу и я не вспомнить историю твою.

Год 1912-й. Либава. Ослепительны, на рейде, стоят корабли. Ослепительнее всех один — с острым тараном. Этот корабль, в отличие от всех — молчалив и в отличие от всех — неподвижен. С этого корабля доносятся только бой склянок и редкая команда. Ослепительная окраска корабля обладает странным свойством: ежедневно с раннего утра она исчезает, а днем к двенадцати часам опять сияет на солнце. Только одна шлюпка ходит между кораблем и берегом. Не видно на шлюпке матросов — там офицеры. Название корабля — «Грозящий».

Согласно расписанию для умеренного климата в пять часов утра, а летом в четыре тридцать — побудка. Ревет горн, и рычат унтера: «А н-ну, вставай, не валяйся!»

Без единого слова встают матросы. В безмолвии вьются койки. Положено всем нижним чинам российского императорского флота постоянное место на все долгие годы службы — на ночь подвесная койка в три четверти человеческого роста. И люди, скорчившись, спят в ней. В тишине выносят койки наверх, умываются, и никто никого не шлепнет от веселой силы по голой спине. В тишине босые матросы выходят на палубу, где стоят, как мертвые, часовые. Матросы медленно опускаются на колени. Из шлангов бьет вода. Кирпичом трут палубу, белую, как офицерская кость. Трут, сдирая кожу с суставов, трут рядами, и над кораблем только тяжелое дыхание. В семь сорок пять горнист играет повестку, в семь пятьдесят пять выходит караул. Появляются вооруженные господа офицеры и строятся на шканцах. Наконец выходит командир и принимает отрывистые рапорты. В семь пятьдесят девять звучит команда:

— На флаг и гюйс — смирно!

Замирают все. Штилевое, бесцветное море отражает бесцветное небо. В восемь часов на всех судах перезвон: бьют склянки четыре двойных удара.

— Флаг и гюйс поднять!

— Слушай, на кра-улл!

Барабанщик бьет поход, и разом все головы, коротко остриженные, обнажены. День начался... Очередной день из положенных — по приговору каждому матросу — лет. За политику! «Грозящий» — пловучая каторжная тюрьма Балтийского флота. Каждый идет на свое место, отскребывает краску и красит вновь. На корабле только красят и отскребывают — в молчании, годами... Беспощадное

шкурье — унтера с наганами и дудками стоят повсюду. И каждый день, годами, боцман — кривой и рябой, женщины его не любят — гнусит «политикам» одно и то же:

— Вот, братцы, вы обучаетесь сегодня полезному малярному делу. Что есть малярное дело? Малярное дело есть умение класть на корпус корабля и вообще на всякие предметы олифу или краску. Гляди мне в глаза, сволочь! Н-ну!.. Окраску же вы производите для сохранения дорогого и любезного вам корабля от гниения, сырости и вредного действия воздуха, а равно и поддержания его в подобающем виде. Глазом не моргай, ты! Усатый! Первое правило: для малярного дела надо иметь кисти и краску. Вот это называется кисть, средний размер. А это называется краска. А то вы за десять лет не знаете?.. Хе-хе. Вам, братцы, надо научиться красить для вашей же пользы. Видите, стараюсь. Пользуйтесь, пока я жив. Железо красят со шпаклевкой и без нее, удаляя старую, истлевшую краску, что вы, сволочи, делаете с утра, пемзой, кирпичом, песком. Крыть надо ровно, не спеша — время у вас есть, посажены крепко... На ноги не капать, обувь и одежда казенная... Н-ну, с богом...

Отодрана вчера положенная краска. И красят вновь... Кисти идут с замечательной ровностью, краска ложится тончайшим слоем. В молчании годами красят матросы. Только иногда скрипнут у кого-нибудь зубы. В молчании годами красят матросы... Изредка скупая, мужская слеза капнет в краску и исчезнет в ней. Раз в день после работы дозволяется говорить. На разговоры положено законом, высочайше и всемилостивейше государем императором одобренным, тридцать минут. Говорят по дозволению матросы, выйдя на бак, к фитилю. Говорят тихо-тихо:

— Денек выдался сегодня, Михайла...

— Да...

— Штиль...

— Штиль...

— Парит, душно...

— Да...

И всё. И всё, товарищ мой милый, дорогой. Начальство стоит рядом. Шкуры глаза и уши. С тоской смотрят матросы на воду — не чувствовать им вольно этой воды долгие годы. Придумали им пытку на корабле: «Не

дотрагиваться до морской воды». Корабль проклят начальством. Он загнан в дальний угол гавани. Однажды корабль был послан к острову Макилото, дать «политиков» для тяжелой погрузки камня. Камни по десять, и двадцать, и тридцать пудов. И когда «Грозный» показался на виду эскадры, попяtilись офицеры, как от чумы, и взвился сигнал адмирала: «Немедленно прочь».

По палубе ходит командир. (В семнадцатом — хорошие дружки отрубили ему голову и спустили ее в отхожее.) Когда он видит мрачных и молчаливых матросов, он доволен и улыбается. Когда он видит улыбку, он встревожен и зол: значит, матросу отчего-то хоть на минуту хорошо. «А...» Командир вызывает тогда людей. «Горнист! Сбор!» Строй замер и не шелохнется... Глаза стекленеют... Мертво... Командир начинает гонять людей на мачту:

— К облакам и обратно. Бе-гом арш! Ать-ва... и... три...

Люди мчатся вверх и вниз, вверх и вниз, давят пальцы отстающим тяжелыми сапогами. Иные срываются с мачты и лежат окровавленные...

— Хо-дом!.. Летай!.. Сыпся!

Люди распылены, сердца бьются отчаянно. Кожа стерта с ладоней.

Потом происходит то, что неведомо ни одному флоту. Молча спускают шлюпку при полном безветрии. Командир приказывает убрать весла, а парус поднять. Парус поднят. И тут, под взглядами офицеров, наблюдающих с борта корабля, каторжники делают так: они толчками своего тела двигают шлюпку, повинаясь приказу. Ветра нет, но шлюпка минутами и часами бесцельно движется по воде. Когда молчаливая шлюпка отходит подальше, «политики» глядят повелительно и угрожающе на старшину-шкуру. Шесть пар глаз, как двенадцать штыков, вонзаются в него. Каторжники вынимают доску и гребут подальше, чтобы немного вздохнуть, впервые за годы. Старшина сидит молча и покорно. Иначе убьют. Каторжники, трясаясь от возбуждения, снимают обувь и, закрыв глаза, погружают руки и ноги в воду, в воду Балтийского моря. Шлюпка вернулась, и старшина докладывает командиру, что «все в порядке, ваш-скородь». Иначе убьют. «Политики» стоят сумрачные и тяжелые. Они никогда не отдадут чести никому из офицеров. Офицеры

терпят эту неслыханную дерзость потому, что «политики» могут передуть всех, взорвать корабль и себя, если начальство посмеет посягнуть на их неизменную традицию. А традиции этой они держатся годами — молчаливые, упорные, вместе, — парни по двадцать два, по двадцать три, по двадцать пять лет, взятые по делу РСДРП (большевиков). Они стоят, как вросшие в палубу, у них не поднимаются руки к бескозыркам, потому что партия большевиков ни перед кем не гнется и никогда, нигде врагу своему чести не отдает.

* * *

В молчании, преследуемые со всех сторон наваждениями, новобранцы ложатся спать. Мерцает лампада перед темным ликом старшего обучающего Николай Ефремыча Щетинкина... «Тьфу, господи, наваждение — да это ж лик Николы Морского. Тоже с бородой, строгий». Все строго здесь, в этих казармах!

Оглядывая массивы арок, выводящие из камер в темный длинный коридор, стараясь не стукнуть сапогами, стоит в первый раз поставленный дневальный и тихо шепчет:

— Господин обучающий, Никанор Флегонтович Садовников... Гвардейского экипажу, флотского, Гвардейского флотского экипажу роты ея величества матрос первой статьи господин старший обучающий, старший обучающий Николай... Николай Ефремыч Щетинкин... Полностью Гвардейского... флотского экипажу...

С койки Садовникова доносится шипение:

— Тиш-ше. Не бубни! Не бубни-и.

Тихо. Час идет за часом. По коридорам мерно проходят дежурные и заглядывают всюду. Дребезжа, бьют старинные часы в ротной канцелярии.

За окнами тьма и неведомый матросам Санкт-Петербурга. В тишину влетает вдруг яростный, оглушающий рев. Новобранцы вскакивают и испуганно озираются.

— Чево?

— Пожар?

Обучающий обозленно обрывает из-под одеяла:

— Не шуметь, серые! Один ко мне, на нос-ках!
Один босиком подбегает к обучающему и стоит руки по швам, как вчера научили.

— Сапоги вычистишь... Еще один ко мне, на носках. Бежит другой.

— Одежду почистишь, выколотишь, пуговички протрешь.

Обучающий медленно цедит:

— Слушайте все... Это горнист побудку играет: «Вставать». А как вставать? Вставать так: тотчас, как устав определяет, каждый матрос убирает свою койку и выметает из-под нее сор... Чтоб, сволочи, сору не было... Дальнейшую приборку производят особо назначенные, я скажу какие... Им обтереть пыль... Пыли в роте ея величества быть не может... Понятно? Теперь тихо! Одевайсь, иди мыться.

Новобранцы натягивают заношенные вещи, пахнущие затхлостью склада, и бегут к умывальникам. Ударяя снизу ладонями по медным рожкам, они набирают воду и трут лицо.

Обучающий кричит:

— Как моесси? Как моесси? Кошка так моетси! Бери воду всей лапой. Лей ее на sibя... А ну, нагибайсь... (Сгибает парня.) Во... Во... Так... Поливайсь... Шею три... А уши к празднику мыть будешь? Я вот тебя! Три, три, дьявол!.. У-у, серье... Учить вас...

Новобранцы обливают себя холодной водой, глядя на обучающего, который, фыркая, растирает обнаженное до пояса тело.

— Глядите, глядите, серые, чтобы все запоминали... Чтоб все чистые были... ну! Счас осмотр будет, беда — грязь найду!

Новобранцы глядят на обучающего, внимая его словам, зачарованные синими разводами на груди и руках его. Разводы искусные — драконы, якоря, флаги, буквы, русалки — тончайшая татуировка.

— Ну-ну, загляделись? Живее!

В коридоре выстраиваются к утреннему осмотру. Унтера оглядывают со всех сторон.

— А ну, повернись... Кру-гом!

— Ать-два-три-четыре...

По расписанию сегодня словесность. Обучающий оглядывает сидящих. У них руки на коленях и сжаты ноги. Все неподвижны.

— Ну, внимай, все... Про обязанности матроса... Для чего служите? Какая есть главная обязанность матроса? Главная обязанность матроса есть выполнить присягу... Матрос должен во всем слушать своего начальника, оказывая ему уважение и почести... Говоря с ним, должен стоять смирно, глядеть в глаза, а если в фуражке — приложивши руку к ей... Отвечай начальнику всегда громко, смело, всегда правду... Каких виды уважения бывают? Входит начальник — дверь открой перед им. Пальто начальник одевает — помоги, подай. Входя к ему, проверь себя, застегнись... Медведем не лезь — ноги вытри, постучись, согнувши палец... Вошел — фуражку снял, за три шага — стой... Еремин, повтори. Какие виды бывают?

— Бывают виды пальто подать, постучать согнутым пальцем.

— Когда постучать?

— Как в дверь иттить.

— Какую?

— Ихню... начальства.

— Садись. Отчетливей надо... Ну, дальше. Что есть воинская дисциплина? Она есть книга семнадцатая. Воинская дисциплина состоит в строгом чинопочитании и точном исполнении, что прикажет начальник. Вот я тебе приказываю — и что? Ну? Ты!

— Так точно сполнить, господин обучающий.

— Все сполнить?

— Так точно, господин обучающий.

Тут обучающий впивается глазами в людей и спрашивает грозно, пугая их и пугаясь сам:

— А если против государя императора или начальника?

Новобранцы молчат, постигая смысл закона, впервые раскрывающегося.

— Есть, братцы, люди — враги внутренние, которые хотят перебить нас. Они против православных. Вот, например, в Семеновском полку злоумышленники бомбу бросили. Убили часового. Разорвало человека! Братцы, неужели мы бы не заступились за своего?

Загудели:

— Так точно, ва-ско-родь!

— Ну вот! Кто бунтовщики? Студенты и мастеровщина тоже, они — враги внутренние. После высочайшего смотра вы в город ходить будете. Смотрите в оба! Подойдет к тебе кто-нибудь и листок сунет. Он листки дает для отвода глаз, а потом убьет тебя, как часового убили. Хватай такого!

У унтера побагровело лицо, надулись желваки.

— Ну, что ты сделаешь, если тебе против начальства говорить будут или листок сунут?

— Хватать его буду, ва-ско-родь!

— Кого его?

— Студента, мастеровщину тоже!

— Молодец!

— Рад стараться, ва-ско-родь!

Беседа велась согласно приказу от 1912 года:

«Разъяснять логикой и убеждением, построенным на истинных данных и здравых основаниях».

— Если приказывают делать против государя или начальника — не делать, не то — в тюрьму... А там — спелелят и фамилию не спросят. Понятно?

— Так точно, господин взводный.

— Нижний чин, забывший бога и послушавший бунтовщиков, — враг отечества!

Новобранцы смутно чувствуют какие-то грехи и тайны, к которым нельзя прикасаться; грехи и тайны эти как-то неясны, но они огромны и страшны — похожи на либавский корабль...

День за днем, с темного утра до ночи, в каморах слышны команды и монотонные речи обучающихся — о дисциплине, о знамени, о присяге, о титулах и табели рангов. Из камор никуда не выпускают. Обучающие твердят каждый день одно и то же, одно и то же:

— Направо равняйся! Головы направо поворачивай... Гляди грудь четвертого человека, считая себе первым... Не закидывай ух!

— Смирно, головы прямо! Ну, повторим, что есть строй? Строй есть святое место и порядок размещения людей, установленный для их совместного расположения, движения и действия... Равняйся! Смирно! Не шевелись!.. Замри!

И день за днем, с темного утра до ночи, в каморах

Экипажа — как и во всех войсках гвардии и армии — слышны команды и монотонные речи обучающихся... Законы империи формируются в непреложные истины: «Сполный присягу», «Стой, как мертвый», «Отвечай, как полагается»...

Во всех ротах, эскадронах, батареях и командах обучается призыв срока службы 1913 года.

Приходит день вывода молодых матросов во двор — на строевые занятия...

Новобранцы сбегают по лестнице, боязливо задерживаясь на непривычных скользких плитах. Унтера подгоняют оробевших парней.

— Шагай смелей — быстрее! Лететь, чтоб наша рота повсегда первая была. К завтраму все ступеньки сосчитать и повороты. Знать наизусть! Точка.

Роты выходят на снежный плац, наглухо закрытый флигелями.

Тяжел шаг российский, знаменит. Земля гудит от этого шага, камни выворочены этим шагом, леса повалены.

Старший обучающий объясняет:

— Движения в строю могут сполняться шагом и бегом. Проходим шаг. Командуют, эт вы знайти, перво — «шагом». Потом, после краткой выдержки, громчее «арш». По этой команде начинай движение, подавая тело чуть вперед, не сгибая ногу много в колене и несколько ее отделяя от земли. Опуская ногу, ставь ее коротко и во весь след. Рукам дай свободное движение коло тела, причем кисть не подымай выше пояса. Гляди все!

Унтер рывкнул сам себе команду и как бы исчез — двигался не он, а блестящее и пугающее существо. Под зимним петербургским солнцем, среди старинных стен флигелей, по утопанному за век плацу Гвардейского экипажа шагало «нечто» — сверкающее, черно-ало-золотое... Сияла кокарда, сияло золото на цветистой черно-оранжевой георгиевской ленточке, сияла бритая кожа отсутствующего лица, сияло золото пуговиц, сияли алые погоны, сияли и поясной ремень, и сапоги.

Быстрыми, оглушительными шагами «нечто» двигалось по фронту новобранцев, выбрасывая ногу, и изда-

вало какой-то внутренний грудной звук, какой издают лесорубы при рубке, и при каждом ударе ноги из-под сапог взлетали комья снега, а иногда и искры, так как отлично кованые сапоги прошибали снег до камня.

Руки «его», сгибаясь и разгибаясь, ходили по неизменно одинаковой линии — назад до отказа, вперед до приклада, — рассекая воздух.

В какой-то момент «нечто» неувовимо изменило движение на обратное. Как это произошло — никто не заметил. Внезапно все затихло... Унтер остановился, треснув каблук о каблук.

С полминуты он, чуть играя глазом, глядел на затаившую дыхание шеренгу. Подошел младший обучающий, искательно улыбнулся:

— Вы, Николай Ефремыч, ошыламили их.

Отдышавшись, унтер загудел:

— Слушай команду! Ша-гом...

Чуть шевельнулись новобранцы...

— Арш!

Пошли...

— Ногу-и! Рравнение!

Унтер шел перед строем, оборотясь к нему, плывя на носках, командуя и властвуя над всеми.

— Ать-ва-и-ире! Так, так... Ногу-и! Тверже ставь, не рассыпешься!

Дрожат стекла флигелей и бьют барабаны. Пар поднимается над безостановочно бьющими землю людьми.

Ррах, рра-х, ррах...

— Ноги не слышу! Глухим не мог стать! Ногу-и!

Руки унтера в такт рассекали воздух.

— Руки, руки! Маши ими! Плавность дай! Бери науку, пользуйся, пока я есть. Главное в этой науке вид дать, силу!

Ррах, рра-х, ррах...

* * *

Мрачен сегодня ротный... Его высокоблагородие с похмеля... В собрании вчера засиделся. Ходит по канцелярии тощий, безбородый, волосы ежиком.

— Ну, вечером устрою им представление и сам развлекусь.

Барабан бьет на вечернюю справку. Рота подрав-

нялась. Дневальный шаги слушает, дверь распахнул и в сторону... Замер... Вошел ротный.

Обучающий рявкнул:

— Ир-рна!

— Здорово, ребятушки.

— Здра-жла-васокродь!

Ротный прислонился к стенке, скрестив руки на груди. Светят керосиновые лампы. Стоят, вытянувшись, матросы. Лица у всех серо-красные.

— Ну!

Молчат. По уставу на такое — ответа не полагается. Ротный загнусавил:

— Фофьянствовали?

Молчат. Действительно, по случаю получки сполоснули, с благословения обучающего и вместе с ним.

— Фьяные были?

— Так что, васокродь... Оно..., если кто... самую малость... казенную чарку...

Показывает обучающий пальцами, — вот, мол, чу-тиньку.

— Руки по швам!

— Виноват... Чтоб в доску пьяных — не было, васокродь.

Ротный гнусавит:

— Ну, два шага вперед — кто фрикладывался к вину.

Стоят.

— А-о... Ну, будем рыбку удить...

Тащит бумажку из кармана.

— Я все знаю... Знаю, кто на карачках ходил, кто стекло давил... Горшков!

— Есть.

— Фьян был, налакался. Маму не выговаривал. Куклин!

— Есть.

— На белых медведей охотился на дворе, травил.

Один прыснул.

— Молча-ать! Ир-рна! Фромотал, наверное, все? Меньков!

— Есть.

— Ага... Морда в синяках. Честь не отдал, грубил. Штрафовать, фороть буду. Кашку березовую любишь?

Вот дотошный командир, где он, сукин сын, все узнал?

Обучающий моргает, но вид делает строгий — у, сволочи, пьяницы, сосуны проклятые. Ротный гнусит:

— Еще один есть. Матерый. Унтер — шаг вперед...

Обучающий шагнул.

— Дежурным будешь неделю! Эх ты, фьянчушка, не фролей кафельку.

И вдруг запел:

— Отрубили кошке хво-о-ост... Ну, это какой сигнал? Сомов!

— Становись в карэй, ва-сок-родь.

— Дурак. Ну, а ты?

— В цепь ложись, ва-сок-родь.

— Так. А это: тятенька у маменьки просил кусок говядинки, дай, дай, да-а-ай!.. Не знаете? Меньков!

— Есть.

— Фолучи фятнадцать. Дать три табуретки!

Поставили табуретки.

— Ломакин!

— Есть!

— Исполнить.

Стоит матрос. Глаза опустил.

— Не фонимаешь? Ну!

Шагнул Ломакин к табуреткам...

Гнусит ротный:

— Меньков, ложись. Раздевайсь...

Стоит человек, пояс снял. Брюки расстегивает, подштанники расстегивает, спускает — стыдно. Рота глаза опустила.

Гнусит ротный:

— Вот, братцы, фрастуфки не взысканы быть не могут. Фомните. Ложись, Меньков. Ломакин, бери фрут!..

Парень на табуретки лег, ноги вытянул, каблуки вместе. Руки по швам.

Гнусит ротный:

— Начинай, Ломакин, как следует.

Ломакин стоит испуганный.

Меньков вздрагивает.

Кричит ротный:

— Ну!

Ударил матрос матроса, а сам закрыл глаза. Ротный кричит:

— Зачем глаза закрываешь, бей в открытую...

Меньков ладонью тело сверху прикрыл. По ладони ударило, отнял — ожгло. Сует ладонь туда, сюда.

Гнусит ротный строю:

— Фачему головы офущены? Какой вид? Гляди как следует! Ну, фатит...

Встал Меньков. Пояс уронил, руки не слушаются, — пуговицы застегнуть не может.

— Меньков, одной пуговицы нет. Флохо, флохо. Ну, становись на место.

Обошел роту.

— Фрошайте, ребятушки.

— Счастлив-оставаться-васокродь.

Ушел. Сегодня у командира экипажа прием, торопится.

Загудела рота. Обучающий кричит:

— Не разевай рты! Тихо! Эх, дела... Разойдись!

Меньков один стоит. На него не глядят... Стыдно...

Порасползлись все по нарам... Тьма собачья...

Сел Меньков на нару, локти на колени, голову обнял, завыл. Окрикнул его дневальный:

— Не шабарши. Ложись...

Затих парень... Шепчет:

— Эх ты, доля моя, доля матросская...

* * *

Март... Тосклива петербургская весна. Позади шесть месяцев лютой муштры. Готовят матросов, ах как готовят к весеннему смотру...

День за днем, с рассвета до ночи, роты Гвардейского экипажа на казарменном плацу вгоняют глубже и глубже старинный каменный настил.

Недвижно стоят у темных дворцов гиганты-часовые. Недвижен ангел на Александровской колонне. Недвижен седой дворцовый гренадер на посту у колонн. Недвижны деревья за гранитно-чугунной дворцовой решеткой.

Тишина. Издалека, в утреннем сумраке, слышен тяжелый, медлительный военный шаг...

Роты Гвардейского экипажа, как и прочие роты гвардии, флота и армии, выводятся впервые на открытые плацы Санкт-Петербурга.

Рра, рра, рра-х.

Исаакиевская площадь пустынна. Темны окна Мариинского дворца и германского посольства. Роты движутся черными прямоугольниками... Движение едино...

Императорский мариинский балет частенько хаживал на плац поглядеть на учения гвардии матросов, стремясь перенять у них точность движений.

Роты движутся черными прямоугольниками... В весенней мгле белеют пояса. Роты движутся в совершенном молчании. Офицеры и унтера берегут голоса на ветру и не тревожат своим рыком спящие дворцы и посольства.

На повороте у Мойки роты видят в утренней мгле бронзового всадника—Николай I. Роты, не отрывая глаз от бронзовой статуи императора, проходят шагом, не изменившимся за век. Шинели на ротах Гвардейского экипажа того же покроя, что были век назад. Белые пояса плывут — как гребень волны.

Левобланговые задерживают шаг. Роты заходят правым плечом. Шеренги выровнены, как по линейке; люди словно припаяны друг к другу. Перед ними вырастает невиданная, уходящая из мглы в небеса каменная громада, полная подавляющего великолепия. Унтера командуют:

— Стой!..

Черные прямоугольники замерли.

— Прямо на курсе — главный храм России. Называется Исаакиевский собор. Он есть высшая точка. Главный колокол тыща восемьсот пудов, из медных монет, сверх того прибавлено для благодати звука двадцать фунтов золота и пять пудов серебра.

Рослые гвардейцы кажутся себе все меньше и меньше. Собор все ближе и ближе. Он надвигается — рра, рра, рра-х — шеренгой своих шестнадцати серо-розовых гранитных восьмисаженных, семитысячепудовых колонн. Из мглы вырастают стены, на стенах — недвижные крылатые фигуры. И надо всем сверкает золотом грандиозный купол. Роты подавлены мощью собора. Роты дают шаг на месте, — на плацу, где век обучается Гвардейский экипаж.

Рра, рра, рра-х...

Офицеры и унтера полны строгих чувств и глубокого довольства от близости к собору, один вид которого помогает им подчинять и покорять уже запуганных людей.

Великолепна громада Исаакия... Безмерно могуще-

ство империи... Матросы Гвардейского экипажа печатают шаг!

Рра-рра-рра-х...

Близится высочайший смотр.

* * *

Ночью горят лампы во всех ротах, эскадронах, батареях и командах гвардии. Завтра высочайший смотр. По сводчатым коридорам, нагоняя трепет, ускоренными шагами ходят фельдфебеля, унтера и унтер-офицеры.

В желтой керосиновой мгле стоит шелест суконок и тяжелое дыханье.

— Не слыш-шу! Тери крепче.

— Н-не слыш-шу!

В эту ночь загорелись, натертые суконками до блеска, пуговицы, бляхи, кокарды, знаки, пряжки, эфесы тесakov, медали всей гвардии.

— Тери, тери... Раньше и потолки терли...

Унтера любят пересказывать легенды петровских, елисаветинских, екатерининских, павловских, alexандровских и николаевских времен. Покуривая и наблюдая за матросами, они рассказывают друг другу заученные на память истории прежних лет:

«У лейб-гренадер генерал-адъютант Желтухин, вручая рекрутов господам ротным командирам, приказывал: вот вам три человека, сделайте мне из них одного grenадера».

«Требовалось, чтобы волосяные султаны на киверах во время шага не шевелились...»

«Государь Николай Первый вышел к полку. По недосмотру одна пуговица на обшлаге оказалась незастегнутой, о чем адъютант доложил, намереваясь помочь. Государь сказал голосом, который был слышен всему полку: «Я одет по форме. Это полк одет не по форме». И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на обшлаге, и так осталось по сей день».

«Лейб-гвардии grenадерского полка солдат на плашкоуте¹ снял с себя кивер, амуницию и все ка-

¹ Плоскодонное судно-баржа, служащее для настилки временных мостов.

женное, оставив лишь нательный крест, после чего перекрестился и бросился в Неву, лишив себя жизни. Боялся гренадер, что за пропажу казенного имущества он и на том свете будет экзекуциям подвергаться».

Такие истории существовали везде, в каждом полку. Сохранялись даты, имена, фамилии...

Весна принесла дуновение тепла и необычайную прозрачность воздуха.

Марсово поле мели метельщики. Они шли, на заре, сплошным рядом. Как вешки вставали линейные от полков.

Взошло солнце...

Город начинал жить, готовясь к параду. Появилась полиция. Приближалась гвардия. Офицеры и унтера вели свои батальоны и роты.

На улицах мужчины, женщины и дети подпадали под власть зрелища, повторяемого более чем в двухсотый раз за время существования столицы. Рев колоссальных серебряных труб — оглушал! Блеск проходивших гвардейцев — ошеломлял! — Действо было рассчитано безошибочно! Марсово поле сверкало золотом погон, кирас и касок. Музыкальный Вавилон разрастался до чудовищных размеров. Играли ликующе и устрашающе все оркестры. Войска грозили ходом своим обрушить мосты...

На Дворцовой площади полки замирали в уставных строях, пышные и неподвижные. По внутренним ходам, среди шеренг, как по просекам лесов, шли со щетками и метелками чистильщики. Они смахивали с каждого пылинки, натягивали шнуры вдоль шеренг и создавали невообразимую точность равнения.

— Равняйся!

— Равняйся!

Команда повелительна. Вздрагивали черные кивера и замирали вновь.

Кареты с гербами подкатывали по желтому песку. Подъезжали послы их величеств королей: английского, австро-венгерского, итальянского, испанского, нидерландского, бельгийского, сербского, черногорского... Бдительно и преданнейше бросались навстречу каретам городовые. Они же мяли и давили любопытствующую толпу.

— Ас-сади!

— Ас-ссади назад!

По площади стелются последние команды, подхватываемые и повторяемые десятки раз, как необычайное эхо. Потом прокатился рев, преисполненный благоговением...

Приближался царь. Тысячи расширенных солдатских глаз устремились к нему и... мгновенная, крамольная мысль: *неужели вот этот?..*

Прямоугольники тронулись, неся недвижные, устремленные ввысь штыки...

Марш воскрешал собравшимся военные события последнего века. Живая история плыла в мерном гвардейском шаге. Свой мир, свои дела, свои родословные, свои желания вспоминали династия и аристократия России. Древние старички неподвижно глядели полуслепыми глазами на проходившие войска и мысленно превращали их в былых сверстников молодости — однополчан... Согнутые тяжестью парадных одеяний, они вспоминали свои походы, они вспоминали войны последних десятилетий Европы, вскормившие и вспоившие их:

1870. Франция ведет войну с Пруссией.

1870. Россия занимает Ургу.

1871. Россия занимает Кульджу.

1873. Голландия ведет войну на Суматре.

1876. Россия приобретает Фергану.

1877—1878. Балканская война.

1879. Англия ведет войну против зулусов.

1879. Английские армии в Афганистане.

1883. Франция ведет войну с Китаем.

1885. Сербско-Болгарская война.

1893. Франция покоряет Дагомею.

1894. Япония ведет войну с Кореей.

1895. Испания ведет войну с Кубой.

1896. Италия ведет войну с Абиссинией.

1897. Турция ведет войну с Грецией.

1898. Америка ведет войну с Испанией.

1899. Англия ведет войну с бурами.

1900. Европейские державы усмиряют Китай.

1904. Англия ведет войну с Тибетом.

1904—1905. Япония ведет войну с Россией.

1911. Италия ведет войну с Турцией.

1912. Балканская война.

Первая шеренга первого прямоугольника — матросы Гвардейского экипажа роты ее величества императрицы встречались установленным особым приветствием — для любимейших:

— Здорово, братцы!

Шеренга проходила за шеренгой, затаив дух в совершенном молчании, рота за ротой, — и мерно вздрагивала земля от хода гигантов.

Раздавались восхищенные возгласы:

— Ага — Гвардейский экипаж...

— Великолепно...

— Как идут, как идут...

...Площадь, столица, империя вызывали у особ, присутствовавших на параде, сложные чувства. Благоговейно, радостно и преданно поворачивали они свои чувства к *«его»* стопам, подавляя тайное чувство недовольствия тем, что *«он»* в общем так ничтожен.

Солнце играло на орденах Европы. Представители иностранных династий, дворов, армий вели легкие, приличествующие торжеству беседы, воскрешая домашние дела, радости и ссоры Европы.

Наименования полков, в которых звучала слава былых побед России, создавали для послов Европы удивительную атмосферу, полную возбуждающих воспоминаний. Еще неосуществленные, но уже назревающие войны их тревожили и увлекали: конфликт между Англией и Россией, замазанный персидским соглашением; давние счета Франции и Германии; Эльзас-Лотарингия; спор из-за Марокко; инциденты Казабланкский и Агадирский; аннексия Боснии и Герцеговины; Триест и Трент. Балканский узел. Польша. Проливы и Россия...

Санкт-Петербург в сочетаниях голубого, белого и золотого был прекрасен. В этих сочетаниях было и напоминание о море, и об эскадрах, на кои вновь (после 1905 года) обращалось внимание.

Прямоугольники войск все шли и шли. Неисчерпаемость масс утомляла.

В толпе стоял, наблюдал и размышлял человек. Он принадлежал к Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков): «Действительно, солдаты, каких мало! Надо суметь повернуть армию так, чтобы она стреляла по этой золоченой шайке. Трудно? Да, но возможно. В десять лет надо постараться достичь...»

Шла дивизия тяжелой кавалерии: кавалергарды, конный полк и кирасиры. Металл поглотил людей.

В изумленных детских глазах отражались всадники с крылатыми золотыми шлемами.

— Мамочка, мамочка! Памятники!

Меняя темпы, заиграли оркестры лейб-гусарские, лейб-уланские, лейб-драгунские и конно-гренадерские. Облака пыли взметнулись в стороны и вверх. Пики, сверканье, грохот...

Неровный гул, крики, ржанье распространялись с необычайной быстротой. Толпа, увлеченная зрелищем, подавалась вперед. Начиналась давка...

В финале парада ждали появления казаков... Они уже в отдалении поджидали сигнала. Кони их ржали, перебирали ногами, прями ушами. Отдельные всадники крутились на месте, стараясь успокоить животных, но этим еще больше нервировали их.

Наконец сигнал был дан. В толпе закричали: «Казаки!»

Казаки летели, все ускоряя темп, земля дрожала и, измельченная в пыль, уносилась потоками воздуха. Кривые ряды сабель сверкали. Строгая прозрачная линейность парада нарушалась. Дамы вскакивали с мест... Мелкие капли пота выступали на обычно белых, матовых лицах.

Пространство наполнилось воем и гиком сотен бородатых и чубатых всадников, чуть наклонивших прямые торсы над седлами. Кони взвивались, неслись чудовищными прыжками, стлались по воздуху, трепеща, как бы стараясь обогнать самих себя.

Клокочущая лава пронеслась мимо «него», свиты и света и в распаленном упоении летела на столпившийся за Марсовым полем народ... Пики свистели. Все дрогнули — в памяти народа встали страшные картины усмирения рабочих казаками в 1905 и 1912 годах.

В буйном, безнаказанном разгуле, чувствуя, как приходит азарт, как появляется желание удара, лава стремительно приближалась к испуганным людям.

Песок из-под копыт брызнул в глаза толпы, и взвившиеся на дыбы кони, храпя, осели назад. Потные, разгоряченные казаки хлестали коней, жалея о том, что нельзя, как обычно, врезаться и отхлестать людей.

Смотр кончился. Казалось, что «великолепие» империи не подлежало сомнению.

Войска расходились, недоуменно вспоминая облик тщедушного человечка, именуемого — Государем Императором.

КРОНШТАДТ — ЭСКАДРА

II

Кронштадт.

Белая ночь. Солнце заходит, а заря не темнеет с вечера до утра и небо — серо-розового цвета.

Штиль. Вода на взморье, как на реке в затоне. И ноют над взморьем комары с окрестных болот Ингерманландии. Каждые полчаса на эскадре бьют склянки: ушло из жизни полчаса. Третий век на судах у острова Котлина склянки бьют одинаково, и недвижны в крепости часовые, и уходит, уходит в печали жизнь этой крепости, наименованной матросами царского флота — Сахалин.

«Великий государь с ближними людьми в седьмой день мая тысяча семьсот четвертого от рождества Христова года и с митрополитом Новгородским и прочими властями из Санкт-Петербурга водою в судах на взморье ходил к Котлину острову в новую крепость, которая построена против того острова на самом проходе корабельном зимой, когда лед был. Деревянная и нагруженная камнем опущена в воду и несколько пушек поставлено, мимо которой невозможно без препятствий ни единому кораблю в

устье Невы к Санкт-Петербургу пройти, и наречена она крепость Кроншлот, сиречь коронный замок, и торжество в ней было трехдневное...»

Пусты трехъярусные амбразуры закопченного старинного форта «Меньшиков» против Кроншлота. Стены его, невиданной толщины, стоят нерушимо. На утопленных грядах камней, едва возвышающихся над морем, — сереют новые форты.

Эскадра стоит на большом рейде, мористее Кроншлота. Едва курится дым из труб кораблей. По палубам шагают вахтенные — пятьдесят шагов туда, пятьдесят обратно. Уходит минута... Счет, меренный песочными часами задолго до Колумба.

Стоят броненосцы: «Цесаревич», «Слава», «Император Павел» и «Андрей Первозванный»; на первом — семьсот сорок пять нижних чинов и двадцать девять офицеров, на втором — семьсот двадцать девять нижних чинов и двадцать девять офицеров, на третьем и четвертом — по девятьсот нижних чинов и тридцать три офицера.

Стоят броненосные крейсера: «Рюрик», «Громобой» и «Россия». На первом — восемьсот семьдесят нижних чинов и двадцать девять офицеров, на втором — восемьсот сорок нижних чинов и двадцать восемь офицеров, на третьем — восемьсот пять нижних чинов и двадцать восемь офицеров.

Стоят крейсера: «Адмирал Макаров», «Паллада», «Баян», «Богатырь», «Олег», «Аврора» и «Диана». На первом — пятьсот семьдесят нижних чинов и двадцать три офицера. На остальных — по пятьсот пятьдесят нижних чинов и двадцать три офицера.

Стоят суда минных дивизий. Всем своим видом они подтверждают красоту и стремительность своих названий: «Страшный», «Стерегающий», «Буран», «Боевой», «Выносливый», «Ловкий», «Крепкий», «Меткий», «Разящий»...

Склянки бьют восемь ударов — четыре часа утра. На пятом ударе по трапу взлетает вахтенный начальник,

на восьмом он уже на палубе (как и на всех кораблях эскадры). Этим офицеры свидетельствуют свое уважение к службе.

Вахтенный начальник одет без излишнего, не свойственного воинскому званию фатовства, но изящно и элегантно.

Сменяющиеся вахтенные начальники приветствуют друг друга формулами сдачи вахты и держатся собранно и корректно. Отдавая друг другу честь, они любят собственным изяществом, знанием и умением. Особенно отчетливы и парадны их жесты и движения потому, что поблизости стоят нижние чины вахты, глядящие на них.

Новый вахтенный начальник высок и пластичен. Он эстет, он знает — морская служба полна своеобразной увлекательности и красоты. Красота корабля должна быть возведена в культ, ибо красота внешняя есть, безусловно, признак налаженности внутреннего порядка на корабле и во флоте. Так завещали деды... Он навсегда запомнил заветы старых флотоводцев:

«...В большой доле красота корабля зависит от вкуса тех офицеров, коим он вверен. Военный корабль должен быть порядочным кораблем с истинно морским видом. Предмет убранства хотя и не составляет особой писаной науки, но не есть мелочь или прихоть. Выказать неопрятный вид — немислимо...»

Вахтенные начальники — лейтенанты — приучены к систематике: они последовательно осматривают корабль, принимая вахту. Они твердо помнят: в каких бы условиях ни протекала вахта, днем или ночью, на якоре или на ходу, необходимы действия продуманные, быстрые и красивые, обличающие точное знание дела и известную флотскую манеру, именно манеру, нести службу. Надлежит с должной экономией сил физических и психических осуществлять все действия — спокойно, уверенно...

Размеренность действия приступившего к осмотру корабля вахтенного начальника нарушает укус комара, — он больно жалит. Старший лейтенант на виду у нижних чинов, вытянувшихся при его появлении, неспешно почесывает левое ухо. Он делает это совершенно особенно: медленно, плавно поднимая левую руку, он кончиком ногтя мизинца легкими, нежными движениями касается

поверхности ушной раковины. В то же время он внимательно рассматривает рангоут, мачты, стены, реи и такелаж.

Потом вахтенный начальник, чуть махнув рукой, что означает: «Вахтенный унтер-офицер, я иду осматривать корабль с носа», — пружиня шаг и чувствуя на спине взгляды нижних чинов, взгляды почти всегда необъяснимо ему неприятные, идет на бак. Он осматривает небо, воду, металл и людей, ибо нельзя пренебрегать ни одной мелочью. Не из суммы ли мелочей складывается порядок, которым гордится российский императорский флот? Горька была бы доля вахтенного начальника, который из-за какой-нибудь мелочи потерял бы свою репутацию, репутацию, приобретенную с таким трудом. И глаза лейтенанта поочередно впиваются во все видимые предметы.

Вахтенный начальник останавливается и голосом, каким надлежит говорить, то есть голосом бодрым и четким, приказывает:

— Убрать это бревно.

Бесшумно, на носках подлетает вахтенный и, треснув каблуками, глядя на осьмую дюйма мимо глаз офицера, молча замирает. Раз и навсегда сказано: приказание не повторять. Представьте себе, что получится, если каждое приказание командиры кораблей и офицеры всех рангов будут по несколько раз повторять? Говорильня, кабак-с получится! Ясно, что такой метод ни с чем не сообразен... И, памятуя сие, вахтенный начальник молчит. Нижний чин стоит, «въедаясь глазами» в лицо старшего лейтенанта. Вахтенный начальник повторяет приказание легким движением руки.

Нижний чин следит за направлением руки начальника и бросается поднять отщепленный кусочек палубного настила.

— Прикажете в мусорный рукав, васкородь?

Утвердительный кивок головы. При безукоризненной наложенности корабля на все уходит три секунды.

Вахтенный начальник ласкает взглядом эскадру. Опаловое небо... Море — цвета gris-perle¹. Какая красота!.. Математическая эстетика... Воплощение силы империи!

Вахтенный начальник идет по палубе, пружиня шаг под взглядами неотрывно наблюдающих за ним нижних

¹ Серо-жемчужного (франц.).

чинов. Походка у него бывает разная, сообразно обстоятельствам и необходимости. Будучи гардемаринном, он, с опущенным в палаш для звона при ударе об ногу гризвенником, прогуливался по Невскому мужественным, широким, медленным шагом, который позволял прохожим получше его разглядеть. В летней белой форме, напоминающей о теннисе, он предпочитал шаг «сокольский»¹, легкий и прямой. На берегу, в обществе, где особенно интересуются морской жизнью, он щеголял походкой старого морского волка, чуть раскачиваясь и несколько подгибая свободно опущенные руки, чтобы казаться грузнее. Среди своих он обычно ходил по-строевому, вот как сейчас. Походка весьма важна и входит неотъемлемо в общие правила несения флотской службы.

Лейтенант идет, отражаясь в отливающей глянец окраске орудийных башен и надстроек. Рецепт краски на каждом корабле — собственный, хранимый от других кораблей секрет. Он заключается в особенных пропорциях примешиваемых лаков, которые и дают глянец, а также способствуют быстрому высыханию свежеекрасочной поверхности. Это позволяет красить корабль часто и быстро, что способствует его красоте внешней, которая является главным истинным признаком налаженности и внутреннего порядка. «Истина» эта внушалась офицерам флота годами. То обстоятельство, что лак легко воспламеняется и поэтому корабль в бою может вспыхнуть, как факел (так было у Цусимы), никем во внимание не принималось.

Обход командных помещений — обязанность дежурных по низам.

Дежурный идет к носовой части мимо лазарета, откуда остро пахнет медикаментами и слышны чьи-то стоны. Дежурный входит в лазарет:

- Что происходит?
- Не могу я. Спать не могу...
- Почему?
- Больно ушам.
- Отчего?

¹ Шаг, который практиковался в спортивной организации «Сокол».

— На стрельбе повлияло.

— Спи, спи, братец, накройся одеялом.

У матроса вата в ушах, но жужжание вентиляторов и прочие корабельные шумы проникают, доходят до слуха и терзают нервы. У больного серьезно поврежден слух — его избил фельдфебель, но об этом говорить не положено.

Дежурный появляется всюду — неслышно и внезапно. В кубрике команды он сразу вынимает носовой платок, прижимает его к носу и через минуту уже вытирает им лицо и шею: в кубрике тяжелый запах, влажно и душно. Вокруг синих угольных лампочек — тусклые круги света.

Матросы спят скученно, в подвесных сетках, касаясь друг друга. Скопище липких, потных, полуголых людей. Рты жадно ловят слабо поступающий кислород. (Кораблестроителям запретили усилить вентиляцию в кубриках, так как это связано с увеличением прорезей брони, что ослабило бы бронирование корабля.) По переборкам и по столу ползают тараканы. Их бесчисленное множество, слышен их шелест.

Дежурный, равнодушно осмотрев кубрик, спешит на палубу, чтобы подышать свежим воздухом.

Грязно жили царские матросы! Но ведь кубрики не портили внешний вид корабля.

Мерно шагает по палубам вахта... На кораблях эскадры стоят часовые. Стоят у корабельных трапов, на ютах, у флагштоков и на баках, бдительно охраняя свои посты и наблюдая за всем, порученным их надзору. А именно: за проходящими мимо корабля чужими шлюпками, за своими шлюпками, за входами на корабль. Никто, кроме офицеров, не может и не должен сойти или войти на корабль без разрешения. Никто, кроме офицеров, не может ничего увезти или привезти на корабль без разрешения...

Тихий всплеск. Часовой кричит:

— Кто гребет?

— Мимо.

Проходит шлюпка с соседнего корабля. За ней наблюдают вахтенные сигнальщики всей эскадры. За ней наблюдают часовые всей эскадры... Никакая шлюпка не может пройти незамеченной мимо корабля!

Часовые стоят... стерегут...

Склянки бьют два удара... Пять часов утра.

Мгновенно несется над морем пронзительный рев горнов и дудок: «Побудка». Горнисты и унтер-офицеры беспощадно трубят и свистят... Этот сигнал всегда перекрывает любой шум.

Корабль грохочет командами:

— А ну, вставай — не валяйся!

Сигнал подымает людей. Унтер-офицеры самозабвенно свистят. От натуги у них вздуваются шеи, вслухают вены и наливаются кровью глаза...

— Койки вяза-ать, умываться!

Матросы торопливо скатывают и вяжут койки, одолаживаются и бегут по трапам на верхнюю палубу в рассветный холод. Горнист уже играет «Малый сбор», и они летят наверх на молитву. Когда матросы, теснясь на трапах, на секунду останавливаются, шкуры-унтера бьют их снизу цепочками дудок, приговаривая:

— Ходом!

— А ну, веселей!

— Не копайся!

— Шевелись!

Дрожа от холода, матросы — все восемь рот — выстраиваются на верхней палубе.

Из дверей кормовой надстройки выходит седой, прокуренный корабельный священник, застегивая на ходу рясу и поправляя немытыми пальцами наперсный крест.

Фельдфебель обходит роту и шепчет:

— Опять какая-то сука накурила в кубрике! Поймаю — искалечу!

Вахтенный начальник командует:

— На молитву, шапки долой! — и сотни матросов — хором, в унисон — уныло просят о «хлебе насущном».

После молитвы пьют чай. Из яро начищенных огромных красномедных чайников льют в кружки кипятки и приготавливают немыслимое пойло: крошево из черных сухарей, чая и топленого масла.

— Приятново аппетиту.

— Целуй Никиту, а коль нету его — козла моево.

С запада надвигается серая мгла. Начинает лить дождь. Горн ревет: «Движение вперед», вызывая людей на работу.

Унтера свистят:

— Ходи на приборку!

Выходят босые, дабы сберечь обувь. Рабочие парусиновые брюки подвернуты дюймов на пять, рукава го-ланок тоже — приказано беречь одежду. На палубы, заливаемые дождем, низвергается вода... из шлангов!

Вода льется со всех концов сильными струями, обдавая людей. Дождь превращается в ливень, и все парусиновые чехлы, навесы, одежды становятся сырыми и темными. Но люди безостановочно льют воду из шлангов по верхней палубе и разгоняют ее по линолеуму жилых помещений. Она проникает во все щели, и таким образом разводится сырость. Настилы палуб набухают. Матросы долго, яростно и послушно трут их кирпичами, посыпав предварительно песком. Они сидят мокрые, на корточках и, наваливаясь на кирпичи, — трут, трут, трут, медленно подвигаясь вперед. Боцман покрикивает свое вечное:

— Тери, тери, ребята! Штоб как чертов глаз все блестело!

А дождь все льет, и вода бежит и бежит. Но приборка идет по расписанию, и дождь дела не меняет.

Корабли блестят множеством медных частей, и у каждой с тряпками, порошком и мазью сидят люди и трут, трут, трут... Блеск меди особо ценится начальством, и на чистку ее, сверх отпускаемых средств, выдаются деньги из сумм, положенных на окраску корабля, по благоусмотрению командиров. Пусть корабли блестят всегда, как в Воскресенье!

Ветер уносит тучи, и дождь прекращается. Приборка окончена. Палуба на корабле подсохла. Она бела и блестит чистотой.

За пятнадцать минут до подъема флага — «Повестка». Двадцать четыре человека грохочут по трапу, и на левых шканцах стеной выстраивается караул. Шканцы есть святое и почетное место на корабле. Здесь оглашаются высочайшие приказы. На шканцах нельзя громко говорить. На шканцах, когда выходит командир корабля, офицеры отходят на левый борт, оставляя его на почетном правом...

В семь часов пятьдесят пять минут горнист играет «Большой сбор». Из люков снова вылетают один за

другим матросы — все восемь рот — и быстро выстраиваются по обоим бортам. Офицеры, ежась, заспанные, несвежие, еще небритые, спешат к своим ротам.

Старший офицер здоровается с матросами. Он недолго задерживается перед присланными новобранцами:

— Как тебя зовут?

— Камешков, васокродь.

— Сидел в карцере?

— Никак нет, васокродь.

— Что за матрос — не сидел! Посадить на трое суток! А кто из вас сидел, ну?

— Я сидел, васокродь...

— Плохо, плохо, братец... Только начинаешь службу и уже сидел. Плохой матрос. Посадить на трое суток!

И старший офицер, посмеиваясь, идет дальше. Он сегодня — все это видят — в прекрасном настроении. День будет легкий, тыфу, тыфу, не сглазить!

На палубу подымается командир корабля. Ему докладывают о подъеме флага. Воцаряется неживая тишина.

— Смирр-на!

Офицеры докладывают командиру о том, что во вверенных им частях все в исправности, даже если это и не соответствует действительности. Но того требует ритуал, устанавливавшийся веками. Командир, приняв рапорты, подходит к офицерам, выстроенным по старшинству, и здоровается с ними. Старшие лейтенанты, лейтенанты и мичманы подобострастно и осторожно пожимают его руку.

Изредка командир сует руку старшему боцману, и тот нежно на несколько секунд облапит ее шершавыми пальцами и, счастливый, рывкнет: «Здравей-жай!»

Потом командир здоровается с матросами и медленно идет к своему месту — на правый борт, на шканцы.

Наконец вахтенный начальник дает команду:

— На фла-аг и гюйс!..

В эту минуту на всей эскадре горнисты ревут «Подъем».

Все цепенеют.

Корабли украшаются флагами: белыми с синими андреевскими крестами, почитавшимися как знамена, когда они подняты, и гюйсами — красными флагами

с синими андреевскими крестами, окаймленными белыми полосами поверх белых тонких крестов. Эти флаги поднимают на крепостях и носовых флагштоках судов первого и второго рангов, когда они стоят на якорях. Караулы берут винтовки на караул. Все команды и все офицеры одним движением снимают фуражки и бескозырки... Флаги медленно поднимаются вверх под рев горнистов и грохот барабанов...

— На-кройсь!

День начался — один из многих дней положенных матросам лет тяжелой царской службы...

Старший офицер подходит к командиру корабля для того, чтобы выслушать обычное:

— Пожалуйста, по расписанию.

Старший офицер отходит для того, чтобы сказать обычное:

— Гс-да офицеры, прошу быть свободными.

Затем следует разрешение выйти из строя матросам, но через минуту они уже слышат команды, горны, дудки...

— На работы, на занятия!..

Прибывшие вчера новобранцы, запутавшиеся в непонятных ходах корабля, оглушенные горнами, шипениями, шумами, свистом, жужжаниями, истомленные бессонной, жаркой, лишенной тишины ночью, понуро бредут на занятия, стараясь держаться поближе друг к другу.

Как всегда, с новобранцами занимаются унтер-офицеры:

— Ну вот, вы попали на корабль. Это вам, конечно, не казарма в экипаже. Вот вы, конечно, видите воду. Вот — вокруг вода и есть море. Что есть море? Ну, кто скажет?

Молчат.

— Слушай! Море есть движущая опора корабля! Повтори!

— Море движущее корабля.

— Не балдей, не балдей. Руками не сучи, не сучи. Плохо, конечно, вас в экипаже обучали! Гляди прямо. Опора, тебе сказано! Запомнить всем! Корабль, конечно, наш есть линейный. Корабль имеет, конечно, броню и орудия; между прочим, запас угля. Состоит корабль, конечно, из форштевня, ахтерштевня, киля, основания, шпангоутов, бимсов и пиллерсов. Все вместе есть набор

корабля. Вот. Будете теперь, конечно, получать морское довольствие по шесть гривен в месяц сверх жалования (новобранцы пошевелились). Вам, значит, положено семьдесят пять копеек, итого рубль тридцать пять. Будете вина получать чарку. Кто дурак не пьет, за непитое по восемь копеек получает. Вот.

Новобранцы сидят тихие, тихие, глядят на обучающего. Унтер озлился.

— Пешки. Бодрости не вижу. Какие вы есть матросы?! У матроса огонь с носа! Морду бьет кому надо. А ты сидишь, как баба! Ну, делай жизнью вид!

Новобранцы подтягиваются, гонят сон и часто мигают глазами.

— Ты знаешь, что есть русский матрос? Он есть орел! Он есть атлет... Матрос близко, кланяйся низко — вот как надо себя ставить. Я с вас кислую шерсть выбью. Вы у меня упражнянца будете на полный ход! Понятно?

— Так точно, господин обучающий.

Склянки отбивают время — получас за получасом.

— Окончить занятия!

* * *

С пяти часов утра на ногах кают-компанейская господ офицеров прислуга. Чистит, моет, скребет, трет, ковры выбивает, пыль вытирает, и сами чистятся, моются, бреются. Боже упаси щетину запустить, или руки грязные, или изо рта пахнет. Чай, кофе, булочки господам подали, все опять привели в порядок и к обеду, или считай его завтраком, готовятся. Велено: прислуживая за столом, не стоять безучастно позади господ офицеров и ожидать, что они чего-либо попросят, но зорко самим за всем смотреть и предупреждать желания господ офицеров; во-время подавать им такие вещи, как судочек с горчицей, уксус, соль, масло, перец и прочее; без надобности не отлучаться от стола и все время прислуживать.

Вино также надо точно поставить — какое кто требует. Приборы расположить по порядку и по вкусу — одному требуются две вилочки, другому — ставить пепельницу слева, третьему — вазочку с цветами напротив. Не перепутать личные вещи и все разместить. Спичечницы проверить; нарезать хлеб ломтиками в три толщины для всех вкусов; булки — косыми ломтиками. Сухарики

на десертной тарелочке для батюшки. Не забыть бы чего?.. Да, в вазочки для цветов соли бросить...

Хлопочет прислуга.

На камбузе кок докладывает дежурному по камбузу унтеру:

— Господин дежурный, проба готова.

Дежурный посылает к ведающему хозяйством баталеру:

— Господин баталер, проба готова.

Баталер приходит. Посылает к ревизору:

— Васокродь, проба готова.

Ревизор выходит. Все — кок, дежурный, баталер и ревизор — идут процессией на шканцы. Впереди кок. Он несет на подносе пробу: густейше начерпанный борщ с лучшими кусками мяса. Матросам такого мяса не видать! Процессия останавливается, и ревизор, козыряя, просит вахтенного начальника доложить старшему офицеру, что проба подана. Старший офицер выходит и посылает доложить командиру корабля, что проба подана. Посланный возвращается бегом, на носках:

— Васокродь, их высокродь капитан первого ранга ждут.

Процессия направляется к каюте командира. Старший офицер стучит легко-легко в дверь. Командир корабля, чуть выждав, выходит и видит людей и пробу. Он видит это больше двадцати пяти лет ежедневно, но ему рапортуют:

— Господин капитан первого ранга, проба подана.

Господин капитан первого ранга, которому запрещено все жирное, берет ложку, еле касается ее губами, чуть-чуть прищмокивает и говорит: «Перцу как будто маловато», или: «Подсолить следует, я полагаю». Кладет ложку на поднос, берет с него салфетку, утирает губы и обращается к старшему офицеру:

— Благодарю вас.

Старший офицер скромно сгибается. Капитан первого ранга возвращается в свою каюту. Тогда старший офицер приказывает:

— Отнесите пробу в кают-компанию.

И спешит туда, пригласив вахтенного начальника.

Проба ставится на отдельный столик. Вестовые вносят водку. Старший офицер и вахтенный начальник ве-

село охотятся за жирным мясом. Они едят, нагибаясь, стараясь не закапать тужурки, надетые к обеду.

— Хо-хо-хо, грехи наши... Говядинки поест, што ли?

Называется это «делать рюмку под пробу» — перед обедом. Офицеры голодны и уничтожают пробу быстро.

Кают-компания в батарейной палубе быстро заполняется.

Офицеры идут в нее, как к себе домой. Кают-компания есть место соединения офицеров в свободное от занятий время. Все находящиеся в ней обязаны соблюдать приличие и порядок, достойные благородного общества офицеров, как гласит статья сто тринадцатая Морского устава. Тут они в родном кругу, среди сплоченной семьи, согреты вниманием, сочувствием и дружбой. Главное — они наслаждаются красотой, приличиями, этикетом и порядочностью своей корпорации. Здесь они дышат свободно, хотя правила кают-компании строги. Правила эти не допускают споров о религии и суждений о начальстве, также не одобряются личные споры между офицерами. Старший офицер имеет право делать членам кают-компании замечания, а в важных случаях докладывать о них командиру корабля.

Доступ в кают-компанию нижним чинам закрыт. В нее могут входить только прислуживающие или посланные с вахты с неотложным сообщением, после чего нижний чин обязан немедленно удалиться из помещения офицерской семьи.

В кают-компанию могут быть допускаемы лишь лица, по своему званию, общественному положению и образованию принадлежащие к офицерскому обществу.

К обеду офицеры являются не в глухих синих кителях, а в тужурках, открывающих пластроны и воротнички. Некоторые проходят в салон, где стоят пианино, три глубоких кресла, диван; на столике лампа с шелковым абажуром, в вазах — редкостные цветы.

Стол в кают-компании стоит покоем. Сервировка кают-компании, по мнению старшего офицера, не оставляет желать лучшего. Над столом висят портреты государя императора в капитанской форме с андреевской лентой и портрет августейшего шефа корабля — наследника, в морской форме.

В застекленные полупортики светит солнце. Погода поправляется. Свет отражается на корабельных реликвиях, хранимых за стеклом в особой горке: на японском снаряде, попавшем в корабль в Цусимском бою, на итальянском барельефе, на бронзовой медали, выбитой в благодарность за спасение жертв землетрясения в Мессине в 1909 году.

Старший офицер оглядывает всех, замечает одного мичмана и с улыбкой подходит к нему:

— Дорогой мой, я, право, весьма жалею о том, что вы не успели дать наточить вашу бритву.

Мичман краснеет и поспешно бормочет:

— Прошу извинения... я не рассчитал... я не успел... я задержался...

— Отлично. Я прикажу оставить обед для вас вместе с обедом вахтенного начальника.

Все смотрят на уничтоженного мичмана. Мичман уходит к себе и раздраженно кричит:

— Камышов! Воду! Бриться!

— Есть, васокродь.

Вестовой летит за горячей водой.

Старший офицер оглядывает еще раз все и вся и приглашает:

— Гс-да, прошу к столу.

Офицеры поспешно рассаживаются по точно определенным и назначенным в соответствии со старшинством в чинах местам.

Старший офицер обращается к священнику:

— Благословите, батюшка.

Батюшка быстро и невнятно читает молитву.

На столе, на сверкающей белизной скатерти, серия запотевших графинов и блюда с закусками: гренки с сыром, пикули и грибки от Соловьева. Батя, помолившись, наливает рюмку. Вестовой быстро подает ему большую кружку кваса. Батя сначала запивает водку квасом, потом закусывает гренком. Все заправляют салфетки, тянутся к графинам, наливают водку и пьют. Адмиральский час!¹

Вестовой подает бульон, разлитый по чашкам, а на тарелочки быстро кладет горячие расстегайчики.

¹ Шутливое выражение, означающее время выпить и закусить; укоренилось со времен Петра I, когда заседания адмиралтейских коллегии оканчивались в 11 часов утра и наступало время обеда.

Харч добрый. Кают-компания выписывает все, что нужно, все, что потребуется господам офицерам: вино из погреба Броссо (поставщик двора его императорского величества); пиво по выбору — трехгорное, баварское, калинкинское, Шитта... Цветы и растения берут у Гаппиха — с доставкой и с заменой сообразно временам года. Все вполне налажено, и замечаний нет.

Ложки звенят о фарфоровые чашки корниловского сервиза, украшенного вензелями.

Вестовые несут рыбу. А рыбка плавать любит, не так ли? И в бокалы наливается рислинг и понте-кане. Вестовые несут жаркое, его нужно запить, не так ли? И в бокалы наливается поммери или бордо. Вестовые несут мороженое с меренгами, его надо запить, не так ли? И вестовые несут кофе с коньяком. Господа офицеры «ликеры не обожают-с, больше коньячок-с...»

Захмелевший старший офицер берет из вазы два апельсина. Один из них он надрезает ножичком, проводя ровные линии сверху вниз, и отдирает кожуру, которая опадает на тарелку восемью лепестками, открывая сочный плод, покрытый нежной мясистой бело-желтой кожей. Он, не торопясь, счищает и ее и разделяет апельсин на дольки. Второй апельсин он швыряет отцу Федору. Апельсин пребольно ударяет батюшку по коленке, и тот, вздрагивая, сердито оборачивается. Старший офицер, смеясь, кричит ему:

— Pour la bonne bouche¹.

И батюшка не сердится. Старший офицер так мило смеется, что это нисколько не унижает отца Федора, хотя апельсин и брошен нарочито небрежно.

Когда задымили богдановские папиросы и трубки с кэпстеном² (господа офицеры с недавнего времени страдают англоманией), старший офицер, нарушая блаженную тишину, негромко, но веско говорит:

— Гс-да! К нам скоро прибудет адмирал Небольсин...

На мгновенье — растерянное молчание...

— Инспекторской смотр?

— Конечно, не «Bataille des fleurs»³. Готовиться, го-

¹ На закуску (франц.).

² Английский табак.

³ «Битва цветов» (франц.) — праздник, устраивавшийся раз в год в городе Ницце.

товиться, гс-да. Командир просил приложить все старания...

Настроение господ офицеров испорчено. Адмирал Небольсин — старичок требовательный, а «грешков» на блистательном корабле достаточно...

* * *

Матросы харчат свою порцию:

«Хлеба ржаного по 2 фунта 72 золотника или 1 фунт 87 золотников сухарей, 72 золотника мяса, коего по 265-й статье полагается $\frac{2}{3}$ свежего и $\frac{1}{3}$ солонины (в целях освежения запаса солонины), крупы — 22 золотника, в среду и пятницу по 60 золотников, крупы овсяной — 10 золотников, масла — 10 золотников, в среду же и пятницу по $17\frac{1}{2}$ золотников, квашеной или свежей капусты — 40 золотников, соли — $5\frac{1}{7}$ золотника и уксусу — 4 золотника».

Указанные нормы действительными считать нельзя, ибо у коков и унтеров, наблюдающих за хозяйством корабля, есть кого подкормить на берегу. Рука руку моет.

Из всего положенного матросам харча производят ежедневно щи свежие или кислые из свежего или соленого мяса.

В шах порции мяса — означенные семьдесят два золотника — увариваются, конечно, вдвое, не без того. Кроме щей, ничего больше не полагается.

«Признано полезным иногда давать суп и без мяса, — в таких случаях щи заменяют супом гороховым из расчета, чтобы порция гороха была одинакового веса с порцией мяса, то есть тоже 72 золотника, согласно статьи 264 книги XIII Свода морских постановлений, раздел II, глава 2-я».

Перед обедом дается чарка. На верхней палубе ставится ендова, наполненная водкой. Унтер-офицеры становятся в круг и разом начинают пронзительно высвистывать — «к вину».

«Вино простое хлебное, но совершенно очищенное от сивушного масла, крепостью в 40° по спир-

томеру Траллеса, причем проверка делается при приемке вина на корабль и результаты оной заносятся в расчетную книгу, установленную для определения крепости спиртных напитков, принимаемых как во внутреннем, так и в заграничном плавании».

Полагающаяся чарка выдается в два приема: к обеду две трети чарки и к ужину одна треть. Команда, влекомая уже привитой им потребностью к водке, выстраивается в очередь. Подходит к ендове медленно, сняв фуражку, и проглатывают чарку, крикая и приговаривая:

— Пей тут — на том свете не дадут.

— Благослови, господи.

— Первенькая...

Потом идут к артельным бачкам, по уставу молятся: «Очи всех на тя, господи, уповают, и ты даеши нам пищу во благовремении...» — и усаживаются по шестеро. Старший оглядывает всех, стучит ложкой, подавая знак: начинай есть. Едят неторопливо, не позволяя себе вылавливать густое, в обиду другим, а то, неровен час, ударят тебя по лбу: «Ложка твоя узка, тащит три куска, разведешь пошире — и четыре!»

Ложки несут ко рту, подставив под них ломоть хлеба, чтобы не проливать еду.

Обед кончен, и негромко бурчат матросы:

— Ел, не ел, за столом посидел — за обед почитай.

— Мало те?

— Пообедал бы ишо раз, чего ж.

— Лопнешь.

— Пузо растягиватца, не лопнет.

На кораблях эскадры взвигается сигнал «ОН» — треугольный белый флаг с четырьмя вертикальными синими полосами. Флаг обозначает отдых, и не положено, даже при адмиральском посещении, тревожить в этот час команды.

* * *

После обеда отдыхает и кочегарный кондуктор Храмцов.

Каютка у него душная. Он снял китель и с карандашом в руках прикидывает:

— Значит, по табели окладов, выходит мне жалованья триста шестьдесят рублей в год, за выслугу добавочно — сто восемьдесят, морского довольствия — тридцать; в заграничном плавании — все тридцать семь рублей, а то и пятьдесят, квартирные в Кронштадте — сто пятнадцать рублей; если в Питер перевестись — квартирные сто пятьдесят четыре рубля двадцать пять копеек. Надо перевестись бы, хотя тогда морское довольствие долой, но все выходит больше на девять рублей двадцать пять копеек. На поддержание одежды пятьдесят рублей в год, потом, может, какая командировочка набегит — положим по сорок пять копеек кормовых в сутки и по целковому прогоны — пассажирские; какие беспорядки случатся — добавочные за усмирение матросов, положим, по полтиннику... Жить можно... Сосчитать теперь, сколько мне служить до отставки... Уже вышло десять лет сверхсрочной, до пенсии еще осталось десять лет. В тысяча девятьсот двадцать третьем году получаю пенсию и иду в запас... Перед запасом надо бы перевестись куда-нибудь. Выбрать куда бы поехать. Подальше конечно, — получишь тогда большие прогоны... При отставке, значит, высочайше пожалуют звание потомственного почетного гражданина...

Храмцов сидит, выписывает из памятной книжки Морского ведомства все номера статей и параграфов о службе кондукторов и сверхсрочных, о льготах. Сводит в столбики цифры, подсчитывает... Сладкое занятие! Человек семнадцать лет служит, еще десять вытянет. В соку ведь еще — всего сорок восемь лет будет. Заведение откроет, понятно, во Владивостоке, город знакомый... Расходы надо поменьше делать, деньги на книжку сполна класть — шесть процентов!.. «Вот уже скоко рублей набегавши за службу, учитывая наградные за секретные сообщения начальству».

Храмцов вспоминает, что время уже идет к «ученью». Пора. Он медленно идет по коридорам и палубам, сверлит глазами матросов, поправляет на ходу, если что не так. Спустился к кочегарам. У кочегаров в кубрике кто-то читает внятным и тихим голосом. Застыл Храмцов, подслушивает:

— «Офицеры разнятся от нижних чинов по общественному положению и по служебному. Матрос происходит из низших слоев населения, мало развитых и бедных,

офицер же принадлежит к более привилегированному сословию». Вот как пишут...

«Стойте! Куда гнет? Куда гнет? — Притаился Храмцов: — Все надо сначала узнать: кто что скажет, а потом уже брать».

— «Между обоими существует пропасть от рождения, трудно переходимая как с той, так и с другой стороны!» Да... А может, это и не так, братцы? От бога все равные родимся... Да... В последнее время установилось даже прямо-таки враждебное отношение мужика к барину и нижнего чина к начальству...

Храмцов вне себя: «Ах, стервец!..»

— Бывают редкие случаи, когда нижний чин уважает и любит начальника как такового, но он никогда не будет считать его своим и будет бояться доверять ему свои сокровенные мысли, боясь осуждения.

— Это точно.

— В отношении службы: матрос отбывает повинность, а офицер есть представитель ненавистной нам власти, заставляющей нас служить, и поэтому офицер в данном случае представляется как угнетатель.

— Что и говорить — твоя правда...

Храмцов аж побелел: «Ах ты, сукин сын... агитатор!» Он спешно разыскал одного из своих «доверенных» и приказал ему:

— Беги в кочегарку и не выпускай из кубрика никого. Понял?

— Так точно.

— Ни души!

И бегом к старшему офицеру. Стук-стук в каюту.

— Войдите.

Вошел. Каюта — игрушечка: на письменном столе два вентилятора гудят, прохладно, стоит сифон содовой воды.

— Васокродь, агитатора накрыл. Читает!

— Где, кто?

— Вс... вслух читает... Офицера — извините, васокродь, так и читает — угнетатели, заставляют служить... Нельзя, говорит, доверять им...

— Ах, каналья!

Старший офицер схватил фуражку и бросился в кубрик... Храмцов за ним. Подбежали. Матрос стоит, караулит.

— Никто не уходил?

— Никак нет, васокродь!

Прислушались.

— Теперь поутихло во флоте, но это временно. Успокоения, конечно, нет... Ведь так, братцы? Настроение нижних чинов вполне зависит от политических течений в народных массах... Куда, значит, народ пойдет, туда и нам...

— Против народа не пойдешь!

Разом старший офицер и Храмцов вошли в помещение. Команда, как полагается:

— Стать смирно!

— Чем заняты?

— Вот Алексеев читает, васокродь.

Алексеев держал книжку в зеленой обложке. Старший офицер вырвал ее! Глянул... Что? Как? Обложка, а на ней: Вице-адмирал светлейший князь А. А. Ливен. «Дух и дисциплина нашего флота». Второе (посмертное) издание. Издание Морского штаба. СПб... Не подделка? Перелистал. Нет, подлинная книга... С портретом светлейшего. Сам вице-адмирал... Фу-ты черт!

— Алексеев, где взял?

— Так что в магазине... С уступкой, держанная.

Стоит смирно.

— Зачем?

— Интересуюсь, васокродь. В книжке вот указано — как к лучшему наладить и как что.

Тихий стоит Алексеев, спокойный. Формально не придраться: читает книгу начальника Генерального морского штаба. Старший офицер ко всем:

— Он вам тут ничего «такого» не говорил?

— Никак нет, васокродь.

Храмцов вставляет:

— Дозвольте, васокродь, они тут от себя говорили, что нет, мол, доверия господам офицерам.

— Говорили?

Отвечают как один:

— Никак нет, васокродь. Ослышавшись господин кондуктор. Мы что в книжке написано слушаем.

Старший офицер круто повернулся, книжку забрал и вышел из кубрика. В коридоре он недовольно сказал Храмцову:

— Вам нужно быть повнимательней.

— Виноват, васокродь.
— Так получается черт знает что!
— Виноват, васокродь...
— За Алексеевым понаблюдайте.
— Есть, васокродь.
— Как он вообще?
— Матрос был исправный... Самому невдомек... Вот теперь разве...

Старший офицер вызывает ротного командира:

— А что за тип Алексеев? Храмцов доложил, что он агитирует матросов.

— Простите, Николай Григорьевич, этот Храмцов просто дурак. Алексеев исправный, тихий, смирный матрос. Ни в чем ни разу не замеченный. К чтению он действительно имеет склонность, но читает священное писание и дозволенные книги.

Старший офицер успокоился.

Ротный отправляется в свою каюту и на всякий случай вынимает из несгораемого шкафа папку с личным делом Алексеева. «...Имеет двух братьев, один из них токарь на Ижорском заводе, религиозная сестра» и т. д.

Сведения эти помогали офицерам судить о внешних причинах, влиявших на поведение вверенных им нижних чинов, но, несмотря на все сведения и ухищрения начальства, невозможно было изолировать даже закабаленных на кораблях матросов от влияния бушевавших на берегу рабочих забастовок. Революционные идеи вторгались всюду, обнажая противоречия, колебля привычные «законы и правила», провозглашая свои и борясь с тем, что было органически чуждо основным человеческим потребностям. Людей захватывала эта справедливая борьба, и они шли на нее, даже если она была смертельно опасна.

Ротный вызывает Алексеева.

— Честь имею явиться, васокродь!

— Алексеев!

— Есть, васокродь.

— Почему ты книгу читал?

— А я, васокродь, все читаю. Прямо тянет... А тут, вижу, книжка флотская, про нас. С уступкой, держан-

ная. Кабы новая, дорогая, не взял бы, деньги у нас какие...

— Что же ты вынес из нее?

— Как изволите говорить?

— Что же ты понял из чтения?

— Про дисциплину. В чем какие грехи. Какие новые порядки должны быть.

— Ну, какие?

— Справедливые, чтоб команда довольная была.

Ротный благожелательно поглядывает на смиренного «искателя правды»...

— Ну, иди, Алексеев.

— Счастливо оставаться, васокродь.

Идет Алексеев в галюн. Там уже ждет его кочегар Харитонов. Харитонов тихо спрашивает:

— Ну?

Алексеев шепчет в ответ:

— Застукали. Шкура эта Храмцов донес. Таскали. Святого, дурака изображал. Всем, мол, что положено для пользы дела, интересуюсь, все читаю.

— Не подозревают?

— Нет... Но книжку отобрали для проверки. Придется теперь на евангелии работать.

— Вали.

— Т-с... Идут, — и пошли товарищи обратно, в кочегарку.

Что ж делать — действовать надо! Все годится, что в дело сгодится, а дело большое — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) через Санкт-Петербургский комитет ведет на флоте работу.

* * *

В кочегарке от угольной пыли жизни нет.

В кочегарках жара нестерпимая... Кочегары голые, черные. Скрежешет лопата, уголь летит в топку — в совершенно белое пламя. Кочегары от него теряют зрение. Очки бы полагались, да их нет. Стонет один кочегар, из новобранцев:

— Испить бы...

— Не пей, — хуже будет...

Вода, как чай, теплая, ее и в рот не возмешь, противно. Из опреснителя — не настоящая вода. Ее пить — только до ветру бегать и в испарину ударяться... Во рту уголь, в носу уголь, в ушах — везде. Во рту вкус, точно опилки железные...

— Грудь теснит...

У кочегаров лбы платками повязаны — иначе пот бежит, смотреть мешает и разъедает глаза. Пот черный, с углем смешанный, вредный! Лампочки угольные тускло горят. Нет мочи! Устал новобранец, прислонился к переборке:

— О-о-й!..

Ожег плечо. Переборки накалены, прислоняться к ним нельзя, надо было выстоять... Подошел к матросу Алексеев — жаль ему товарища...

— Облей меня, друг, водой, облей Христа ради... Не могу терпеть.

— Нельзя, родной, хуже будет...

Матрос руками за голову схватился, стонет. Алексеев над ним стоит, чем помочь не знает.

— Плохо тебе, сходи в лазарет...

Но старшина в лазарет не отпускает:

— Становись на вахту!

— Да больной же он!

— Вижу, не слепой. С такой болезнью и три вахты отстоять можно...

Скрипнул Алексеев зубами, но промолчал...

Запомним все, товарищи дорогие, придет наш час!

А наверху, над кочегаркой, — на палубе идет по расписанию артиллерийское ученье.

У зарядного станка встали матросы по порядку номеров.

Работают молча. Рядом стоит с секундомером офицер-артиллерист. Он подсчитывает время от времени — ать-два-три-четыре, — подхлестывая работу матросов, и размышляет про себя: «Москвитянин» дал в минуту двадцать два заряжания. Мировой рекорд! Я должен добиться рекорда своего калибра.

— Ать-два-три-четыре.

«Приказать, чтоб матросы старались... Нажать, нажать!..»

— Ать-два-три-четыре...

Матросы молча повторяют стремительные движения одно за другим, замок щелкает и шелкает, снаряды удаляются в стопор приемника... Минута, две, три, четыре, пять...

— Ать-два-три-четыре.

Секундная стрелка бежит по циферблату.

Скорострельность необходимо поддерживать на одном уровне и в течение достаточно длительного времени — пока хватит снарядов, не менее получаса. Каждый снарядный, в грохоте, не слыша команд, должен поднести более сотни снарядов за тридцать минут.

Офицер стоит с секундомером. Станок щелкает, и люди повторяют и повторяют стремительные движения одно за другим...

— Ать-два-три-четыре...

Офицер подсчитывает и размышляет дальше:

«В Цусимском бою пятидюймовки русских кораблей давали два, три, четыре, с трудом пять выстрелов в минуту, и считалось, что большего добиться нельзя. Мы, молодые офицеры, пришедшие после Цусимы, погнались показатели вверх».

— Ать-два-три-четыре...

«В 1912 году шестидюймовки дали на состязательной стрельбе в среднем — двенадцать выстрелов в минуту, что было достигнуто нами после семи лет тренировки матросов».

Офицер ускоряет темпы:

— Ать-два-три-четыре! Ать-два-три-и-ре!

Офицер смотрит работу шестидюймовых. Он видит, как прибойничный, вынимая из казенника прибойник, поднимает его кверху, как делалось это годами. Офицер приказывает опустить его книзу и пускает секундомер... Стрелка бежит, замок щелкает... Артиллерист потрясен результатом: скорость заряжания поднялась с двенадцати до тринадцати выстрелов. Артиллерист внимательно изучает движения и позы каждого номера, вглядываясь в потные с напряженными желваками мускулов лица... Артиллерист не постигает тайны, и замок продолжает щелкать... Приказ: снова поднимать прибойник кверху. Опять бежит секундомер: опять двенадцать выстрелов. Снова прибойник книзу. Артиллерист вглядывается в людей и понимает: вынутый тяжелый шест прибойника раньше,

когда его брали кверху, проходил близко от лица картузного. Картузный невольно вздрагивал. Каждое вздрагивание на терцию замедляет выстрел... Прибойник идет книзу — вздрагиваний нет, показатель скорострельности поднялся до тринадцати! Если картузный двенадцать раз не вздрогнет — корабль выиграет сегодня одно зарядание.

— Ать-два-три-ире!

Чтобы достигнуть скорости, надо внимательно проверить каждое движение.

Чтобы приучить к долгой работе у орудий, надлежит все больше и больше увеличивать число заряданий, с таким расчетом, чтобы после учения прислуга орудия была утомлена. Постепенно утомление войдет в привычку.

Горнист ревет: «Отбой».

После отбоя орудийная прислуга тут же убирает палубу... Матросы трут ее, потом вдруг неподвижно застывают. Устали... Так проходит минута — другая, потом уборка продолжается.

* * *

В пять часов дня на флагмане поднимается сигнал «САЦ» — «шлюпкам ходить по способности».

— На все гребные суда!

Начинаются шлюпочные занятия. На полубаркас № 13 назначили гребцов из новобранцев. Полубаркас № 13 — старый, обшарпанный и вида не имеет. Старший офицер поручил проводить на нем учение лейтенанту Истомину.

— Полубаркас к спуску!

На талиях стоят, ждут... Тали новые, смоленые... Новобранцы смотрят:

— Где в хозяйстве така толста веревка сгодилась бы...

До спуска на воду новобранцев обучает унтер:

— Тали нада травить быстро, ровно, шлюпку при спуске держать горизонтально — боже упаси поспешить или криво: шлюпку спортит, на ходу повредит, а то и людей поутопит. Отвечать придется. Когда фут от воды останется, тогда тали кормовые отдавать, потом носовые. Боже упаси перепутать — все завертится, беда.

Унтер-офицеры смотрят, подан ли конец на шлюпку и закреплен ли. Без конца мало что может случиться.

Полубаркас с людьми спускается на воду быстро и ровно, касается воды, и тогда выкладываются гаки талей:

сначала кормовых — сказано и запомнить! — потом носовых.

Лейтенант Истомин дает команду:

— Весла! Расторопней! Совершенно не шуметь!

Отваливая от борта, новобранцы сидят неподвижно. Старшина из старослужащих кладет руля, и шлюпка отходит в сторону.

Шестнадцать парней обучаются брать весла и вставлять их в уключины расторопно и бесшумно.

— На воду!

Шестнадцать весел падают лопастями на воду... Стучат вальки...

Сгибаются шестнадцать спин. В уключинах скрипят весла.

— Сушить весла! Слушать внимательно, по сторонам не смотреть!

На лейтенанта глядят шестнадцать пар глаз, почти не мигая... Весла застыли параллельно поверхности воды, — шлюпка неподвижна... Лейтенант Истомин в свою очередь рассматривает гребцов. Синие воротники, чистые-чистые с тремя белыми полосками, облегают крепкие шеи матросов. Бескозырки надвинуты на правые виски.

— Хороши жеребцы! Удивительно здоровые! Обязательно с ними выиграю пари...

Лейтенант Истомин решил отличиться: взять приз на гребных гонках. Именно с новобранцами! Он держал крупное пари с офицерами корабля.

— Так вот. Я хочу, чтобы наш полубаркас был лучшим на корабле и на бригаде.

Испытующе поглядел матросам в глаза. Некоторые ответили покорной, испуганной готовностью, другие отвели глаза, у третьих в глазах — мрак и злоба...

— Я хочу, чтобы шлюпка была самая чистая и налаженная, чтобы мы брали призы, и не какие-нибудь, а первые. Да, первые! Семенов, весло чуть-чуть поправь! Так... Я могу вас научить грести весело, красиво, правильно. Но дело в силе, выдержке и привычке... Все зависит от вас. Поняли? От вас зависит. Ну так вот — будем гоняться со всеми полубаркасами эскадры и на гонках возьмем первый приз. Я буду тянуть вас за всякую мелочь, но мы полубаркас сделаем лучшим. Решено! Ну вот, братцы, понятно?

— Так точно, васокродь.

— Приз мы возьмем?

— Так точно, васокродь.

Лейтенант Истомин говорит спокойно, не пугает, не кричит, и у новобранцев отлегло на душе.

— Надеюсь на вас, братцы.

— Рады стараться, васокродь!

Ответили покорно, как отвечали их деды и отцы...

Лейтенант начинает обучать матросов гребле.

— Первый прием состоит в занесении лопасти, как сказано, совершенно горизонтально.

Шестнадцать весел занесены.

— От-ставить! Делай ать!

Шестнадцать весел застыли над водой.

— От-ставить!

Пятьдесят раз без промежутков повторяется первый прием, как того требуют истые правила выучки. Но для лейтенанта Истомина суть дела не в том, чтобы матросы знали свое дело, — у него на уме одно: взять приз и выиграть пари.

Лейтенант учит второму приему — повороту лопасти и опусканию весла в воду. И опять:

— Делай два! От-ставить!

Наконец дозволяется сделать гребок:

— На воду!

Матросы поворачивают лопасти раньше чем следует. Тогда лейтенант, следуя своей системе, повторяет пятьдесят раз и этот прием.

— Делай ать!

Шестнадцать весел погрузились в воду.

— От-ставить! Делай ать!

Матросы широко заносят весла. Спины их темнеют от пота. Лейтенант с каждой новой командой все более властно и настойчиво подчиняет себе людей. Матросы устали, они не хотят повторений и стараются изо всех сил грести сильно и точно, во-время поворачивая лопасти весел.

Шестнадцать матросов рванули весла, и шлюпка летит по воде... Матросы гребут изо всех сил. Лейтенант доволен. Темнеют от пота спины, и влажны лица. Лейтенант сбрызгивает гребцов водой. Матросы жадно ловят брызги. Сорок пять минут ходит шлюпка, и все быстрее и быстрее ее ход, все чаще и чаще дыханье разгоряченных гребцов.

К шести часам шлюпочное ученье кончается. Полубаркас № 13 — у борта.

— Шабаш! — кричит унтер, и шестнадцать весел бесшумно убираются. Лейтенант уверен, что приз и пари будут за ним...

* * *

В своей каюте томится от скуки командир корабля — капитан первого ранга Неведов. Он любит «удобства» и поэтому устроил свою тройную каюту с комфортом и по всем правилам строгого вкуса. Все было приятного голубовато-серого тона, способствующего спокойствию и столь гармонирующего с атмосферой флота. Бронза и синий сафьян делали сочетания еще более точными, напоминая о золоте флотских эмблем и синеве морских просторов...

Но капитан первого ранга далек от тех сибаритов, которые стремятся меблировать свои каюты так же, как береговые квартиры, и жертвуют гигиеной и флотским стилем в угоду роскоши. Опыт плаваний давно его убедил в том, что чрезмерная изнеженность дорого оплачивается: она губит здоровье и портит карьеру.

Он, Неведов, первый на корабле после бога и государя императора, был обречен обычаями и законом на почетное одиночество. Одиночество, предписанное законом, возносило командира корабля на недостижимую для его подчиненных высоту. Оно внушало всем офицерам, что командир корабля должен быть от них отдален. Иначе не быть порядку, не быть строгости и потеряет смысл и силу божье и монаршее назначение этого человека — повелевать. Всем было вменено в обязанность верить и знать, что власть на корабле сосредоточена в одном лице и что власть эта исходит от бога, бог передает ее нижестоящему государю, а государь — командиру корабля. Этот закон должен был подчинять и подчинял людей. Офицерам годами внушали, а они в свою очередь вбивали это в головы матросам, что в мире либо повелевают, либо повинуются, либо поощряют, либо наказуют и только в сем заключается превыше всего стоящая сила управления на море и в сию силу верить необходимо.

Командиру на корабле была предоставлена власть и могущество, коим многие монархи могли позавидовать,

и гипноз этой власти держал в плену офицеров и большую часть матросов.

Утомленный властью командир корабля был обязан со всем этим считаться и приносить в жертву обычаю и закону живейшую человеческую потребность в дружбе и общении с людьми. Он вынужден был надевать маску непрístupности и видел, как вокруг него всегда воцарялась атмосфера страха и молчания. Неведов устал от нескончаемых одиноких дней в своей каюте, ибо устав гласил: «Как можно реже покидать корабль». Неведов давно понял, что флот империи не на высоте, что косность начальства губительна, что нет и не предвидится движения вперед и что он сам бессилен что-либо изменить. Перспектив не было. Было лишь одно мертвящее, пришедшее с годами сознание бессмысленности всего происходящего.

Неведову не с кем было поделиться своими тоскливыми мыслями. Понятия дворянской чести и долга обязывали его красиво нести службу. Он ведь считался одним из лучших командиров, влюбленных в морскую службу. И, пряча скуку, он обманывал себя и своих подчиненных.

Неписаное правило запрещало командиру корабля посещения офицерской кают-компания, ибо это считалось унижением его достоинства. Но были командиры кораблей, которых офицеры решались приглашать к себе; были командиры кораблей, которые сами, не считаясь с этикетом, запросто шли к своим офицерам. Были командиры, которых офицеры боялись, чуждались, не любили и никогда не решались приглашать к себе. К числу последних принадлежал капитан первого ранга Неведов.

Сегодня, в виде исключения, он со скуки послал своего вестового за несколькими молодыми офицерами.

Вестовой стучит в каюты офицеров:

— Васокродь, так что его васокродь господин капитан первого ранга просят васокродь пожаловать к ужину в шесть часов.

Мичманы и лейтенанты в испуге глядят на посланца, рывкающего приглашение, от которого нельзя отказаться. Мичманы и лейтенанты быстро приводят себя в порядок и, в молчании и страхе, идут в каюту командира корабля.

Неведов приветствует пришедших:

— Здравья желаю!

Он уже не начальник, а хозяин, — таким он хочет видеть себя. Ему хочется, чтобы чувствовали это и его гости. Но офицеры теряются в присутствии своего командира, к дружескому общению с которым они не привыкли.

Офицеры источают лёгкие ароматы вежателя, одеколona, каких-то бриолинов; эти запахи приятны капитану первого ранга, они возвращают ему его молодость.

Он знает, что эти молодые люди могут наполнить его каюту остроумным, живым, когда-то любимым им «кают-компанейским» разговором, но офицеры молчат и почти-тельно ожидают слов хозяина.

Неведов, сказав несколько ласковых слов, приглашает всех к столу:

— Прошу, господа, к столу. Чем бог послал.

Он предвкушает веселый ужин. Сейчас начнется фейерверк слов — любимых, понятных и известных только морской офицерской среде, — точных, насмешливых, особенных.

За ужином Неведов собирается произнести блестящий флотский спич... и говорит:

— Очень рад, господа, чести принять вас, господа, у себя... Гм... Каждый из нас заботится об успехе вверенных нам... Дорожим-с... Гм... Прошу помнить общие интересы корабля... Мы находимся в тесном кругу, своем родном кругу, господа... Сплоченная семья, где каждый согрет вниманием, сочувствием и дружбой. Гм... Да не будет между нами вражды, господа... Все офицеры равны. Мы воспитываем беспристрастие и корректность. Э-мм... Горе тому кораблю, где есть рознь в среде офицеров.

Неведов слышит свои собственные слова. Ему не верится, что это он их произносит. Но это так. Он обманул все ожидания — и свои и офицеров. Он с ужасом понимает, что потерял способность живого общения с людьми.

Офицеры едят как-то особенно медленно, не чувствуя вкуса пищи, рассеянно внимая словам командира. Внешне невозмутимый, командир строго-отечески следит за тем, чтобы все было в порядке, потчует с радушием гостей и чувствует нестерпимую неловкость и пустоту.

Подано кофе, в рюмки уже наливают коньяк. Капитану первого ранга показалось, что он слишком поспешно угощает гостей, но он все еще надеется расшевелить гос-

под офицеров, расспросить их об их жизни, нравах, отношении к кораблю. Ведь ему о них ничего не известно. Надо знать это новое, чуждое ему поколение. Надо им и себя показать, да, да... тряхнуть стариной и выдать им блестящий флотский разговор. Напомнить о забытых за последние годы традициях доблестного флота. Но вместо этого он спрашивает:

— Вы, Сергей Павлович, из корпуса уже второй год?

Мичман секунду молчит, потом тихо, испуганно и обиженно отвечает:

— Вы меня, господин командир, спрашиваете?

— Да, да.

— Виноват,— и совсем тихо: — мое имя и отчество — Алексей Сергеевич...

Капитан первого ранга, вы провалили свою дебют! Вам остается только с честью выходить из положения. Он извиняется, с трудом обретая вновь свой светский шарм¹, и мичман прощает его. Но капитан первого ранга, не прощая себе, медленно идет ко дну:

— Вы, Алексей Сергеевич, из корпуса уже два года?

— Так точно, господин командир.

— М-м-м... эмм... Да... Ну и что же? (Что я говорю?) Через два годика лейтенантом будете? (Какую я ерунду порю. Боже!)

— Так точно.

— Ну, а эм... мм... Позвольте налить? А вы, П-петр Иванович, кажется, производитесь в этом году?

— Так точно.

— Эм... мм... Да... совсем... эмм... юноша-с... (Боже, что со мной?) Позвольте налить?

Он не может наладить разговор, не может раскрыть ум и души своих офицеров, привлечь и приблизить их к себе.

Трагедия, не замечаемая никем, продолжается. Мичманы пьют ликер, считают, что они недостойны иной беседы, и не требуют ее. Ведь для них, пока они мичманы и лейтенанты, командир корабля не станет раскрывать весь блеск своего ума, в котором они не сомневаются. Они знают, что у этого блестящего командира, влюбленного в службу (они в этом уверены), исходившего все моря, что у этого большого, сильного мужчины, славившегося

¹ Обаяние.

своей волей, остроумием и храбростью, есть такое умение «блеснуть», которое им — мичманам и лейтенантам — и не снилось.

Неведов знает, что мичманы не могут и не смеют думать о нем иначе. А вдруг? И он представляет себе позу и голос одного из мичманов:

— Гс-да! Капитан первого ранга нас, так сказать, ошеломил! Он знает нас по выпускам! Весь день, должно быть, зубрил по списку. Осчастливил! Только раз ошибся с Алексеем, но это не в счет... Алексей, не возражай! Старик, ей-богу, сидит сейчас и думает, что изумил нас: при всех своих сложных обязанностях командир корабля успевает запомнить, кто когда выпущен и когда произведен. Bravo! Вдумайтесь, гс-да! Ведь для этого-то он нас и позвал.

Командир отказывается от дальнейших попыток сближения с офицерами, но все-таки, глядя на лейтенанта, у которого умерла вчера сестра, которая чуть ли не троюродная племянница его жены (что-то в этом роде), он спрашивает:

— Сколько времени... эм... была покойница больна?

— Три недели, господин капитан первого ранга.

— Своевременно ли подавалась медицинская помощь?
(Что я спрашиваю!)

— Так точно.

— Э-м-м... В котором часу умерла? (Боже!)

— Во втором часу ночи. — Голос лейтенанта дрожит...

— Позвольте налить? Гм...

На секунду мелькает мысль: «Теперь они, может быть, скажут, что у меня прекрасные порывы, что я суров, но чуток... Хотя?..»

Командир кончает пытку. Он со стыдом говорит (фу, как все противно):

— Я так рад, господа, нашей встрече. Мне было так приятно отдохнуть после службы в тесном товарищеском кругу. Мы будем собираться чаще... Эммм... Да-с... Чуть не забыл... Я не хотел говорить о делах, но все же напомню — готовьтесь, господа офицеры, к приезду адмирала Небольсина...

Командир смотрит на часы.

— Ну, я так рад, так рад... Но завтра рано вставать, господа... Хотя для моряка это дело привычное. Я сам просыпаюсь в шесть. Дольше спать не могу. Рекомендую

и вам, господа... Да... я так рад... Эмм... Вот-с... (Откуда этот язык — «Вот-с»?!)

Офицеры встают, откланиваются.

Командир остается один. Он идет в свой кабинет, задерживает портьеру, садится в кресло, затягивается любимым табаком и начинает вечер сначала. В тишине каюты происходит нервный, острый разговор человека с самим собой. Ему необходимо убедить самого себя в том, что он, русский морской офицер, командир броненосца, капитан первого ранга, — влюблен в службу. Да, влюблен! В этом убедить себя труднее всего.

Ему необходимо убедить себя в том, что он еще может быть остроумным, простым, таким, каким он был когда-то... Он душевно и сильно говорит о минувших радостях, волнениях и драмах — своих и чужих; он вновь переживает позор Цусимы и тут же находит блестящие возможности новых перспектив для флота империи Российской, новых форм отношений и службы на кораблях. О, еще не все потеряно! Он с блеском рассказывает сам себе о былых победах: Чесма! Гангут! Синоп! Ведь было, могли!

...Вдруг капитан первого ранга неожиданно зевнул... Ведь завтра будет, как вчера. Перспектив нет... Одна пустая игра воображения! Он, капитан первого ранга Неведов, удивляется себе, своей сегодняшней неожиданной вспышке...

Да, бывают еще странности в жизни, казалось бы, уже не дающей поводов для изумлений...

* * *

Корабль готовится к смотру. У адмирала Небольсина бывают странные выходы. Тут можно и просчитаться...

Не беда! Флотская живая мысль спасет! И господа офицеры отдают последние распоряжения фельдфебелям рот, а старший офицер зудит боцмана:

— Сам проверил?

— Так точно, васокродь.

— Сам?

— Перстами, васокродь.

— Чисто?

— Как вот манжетка ваша, васокродь.

Немыслимо начищен корабль. Старший офицер знает, что было однажды и может снова повториться. Еще в кор-

пуще он слышал рассказ о том, как адмирал Небольсин подошел на вельботе к трапу одного из кораблей, чтоб проинспектировать его. По трапу — бегом, быстрее любого матроса. Он принял рапорт и на шканцах надел перчатки (лучший сорт — белая лайка). Все обошел, ласково глядел, смотрел и давал указания... «Сударь, здесь лучше б то, лучше б так...» Пальчиком все трогал, проверял: чисто ли? Ибо корабль должен, по его убеждению, блестеть подобно зеркалу и быть идеально чистым. Смотр кончился. Небольсин, прощаясь, подал командиру корабля руку, но тут же отнял ее и снял перчатку. Перчатка — о потрясенье! — была грязновата. Грязновата от прикосновения к, очевидно, недостаточно чистым частям корабля-с! Да-с! Небольсин снял перед командиром перчатку. Мрачно на него посмотрев — дескать, извольте-с видеть-с, грязная, — он вежливо извинился: «Прошу прощения... Замарался...» А командир стоял красный, как помидор... Убил, прямо убил его адмирал, при всех убил таким манером.

Так чтоб не было таких вещей! И на корабле идет драйка.

Беспокойство только по части четвертой кочегарной роты. Командир ее — инженер-механик Климов — всегда говорил:

— Не мое дело возиться с ротой, мое дело машины, а с ротой пусть возится фельдфебель.

Так оно и было: возился с ротой фельдфебель. Но стало известно, что Небольсин на флагмане заявил:

— Гс-да офицеры, я требую от вас знания вверенных вам людей и попечения о них личного...

Все знали, что Небольсин в гневе срывался и с молодыми офицерами был вспыльчив, несдержан и груб.

Инженер-механику Климову — это нож в сердце. Но служба есть служба. Небольсин требует, чтобы знали имена, отчества и фамилии всех нижних чинов; состояние, звание, происхождение, семейное положение... А в роте двести пятнадцать кочегаров: разные Наливайки, Подопригоры, и все на одно лицо. Как быть? Что придумать?

День приближался. Ротные днями ходили перед строем своих рот.

— Ты будешь Тихон Задуваев?

— Так точно, васокродь, Семен Захватаев.

Вежливо надо отвечать, уметь надо.

— Да, да... А ты... не ты, а ты, ну, третий с левого фланга... Ты холостой?

— Так точно, васокродь.

— А имя и фамилия?

— Никифор Онипко.

Онипко, Онипко — холостой. Так. Холостой... Да... Приметы, а, черт! — лица у всех простые, молодые, зачем таких берут — всех одинаковых...

Господа офицеры изучают матросов, «сближаются», так сказать.

За обедом в кают-компании кто-то спросил инженер-механика:

— Пушистый, ну как? Вызубрил?

Климов лысый, как ладонь, улыбается:

— У меня порядок!

— Серьезно?

— Знаю всю роту наизусть. Не даю ни одного неточного ответа. «Систему Небольсина» одолел!

— Шутись, пушистый. Это немыслимо.

— Parole d'honneur! ¹

День инспекторского смотра наступил.

К парадно убранному² трапу корабля подвалил начальник бригады. Глядел испытующе — увидим, мол, увидим.

Приветствие нескольких сот матросских глоток спугнуло чаек...

Небольсин остановился перед второй ротой и приказал одному матросу:

— Два шага вперед.

Щелкнули каблуки.

— Как зовут?

— Николай Герасименко, ваш-дит-ство!

— Сними, Герасименко, сапог с левой ноги.

Снял матрос сапог и стоит. Мало ли чудит начальство, дело ихнее — а мы исполняй да помалкивай.

— Покажи левую ногу, Герасименко.

¹ Честное слово! (франц.).

² Убор трапа состоял из коврика, который клали на трап, и красного сукна, которое набрасывали на поручни трапа в торжественных случаях.

Показал. Обернулся Небольсин к ротному командиру:

— Лейтенант, почему у вверенного вам матроса Герасименко дырка на носке левой ноги?

Пролепетал что-то лейтенант. Небольсин кивнул флаг-секретарю, который тут же сей факт занес в блокнот с золотым обрезом.

Так. Пошел адмирал дальше, к четвертой роте. «Пронеси, господи, пронеси, господи...» — бояться все за инженер-механика. Стал Небольсин перед ротой Климова. В упор, не мигая, уставились на адмирала кочегары. Небольсин поглядел на ротного инженер-механика Климова, потом на шеренгу кочегаров, потом снова на ротного. Тот стоял почтительно — независимый, крепкий, лысый, блестящий. Небольсин подозвал одного из матросов:

— Выйди. Два шага вперед. Имя, фамилия?

— Герасим Кара.

Небольсин обернулся к ротному:

— Женат или холост?

— Женат, ваше превосходительство.

— Дети у него есть?

— Двое, ваше превосходительство.

— Отлично. Стань на место, ты... ну, как?..

— Осипенко Иван, ваше превосходительство, — подсказывает Климов.

И что ни вызов — чеканит ротный, сколько детей, кто женат, кто холост. Небольсин проверил, как одеты кочегары. Свежесть, мылом пахнут, пансион-с! Ни пылинки угольной! У одного только дырка у внутреннего шва брюк.

— Крысы, ваше превосходительство, но меры приняты и их не будет.

Небольсин доволен, благодарит Климова:

— Прекрасная рота. Молодчаги! Очень, очень доволен. Рекомендовал бы всем такой порядок, истинно флотская налаженность!

Адмирал нашел корабль в приличном виде — особенно уж хороша была четвертая рота. Уходя, даже изволил улыбаться.

Инженер-механику прохода нет.

— Пушистый, что за волшебство?

— Помилуйте, просто знание дела.

И шурит глаз.

— Знание чего?

— Дела.

— Пушистый, расскажи.

— Очень просто. Мыло купил за свой счет — чистота! Поставил в первую шеренгу женатых, во вторую холостых.

— Ах ты! А число детей?

— Ну, боже мой, — просто! У каждого подогнуты пальцы по числу *bébés! Voilà!*¹

* * *

Команда поужинала и выпила вечернюю порцию водки. Сегодня кончается месяц — идет подсчет питого и непитого. Если не пито — на руки восемь копеек за чарку в день... За месяц — два рубля сорок копеек. И в рапортах отмечается, что матросы, как то показывают раздаточные ведомости, отвыкают от пристрастия к вину, сберегая деньги на различные мелкие нужды.

Часть матросов сегодня увольняется на берег. Те, которым не черед на берег, готовятся к «корабельным радостям». Вахтенный начальник дает команду. Ее давно уже не было, но сегодня ее дают:

— Палубные старшины, по местам, желающие разрешается взять большие чемоданы!

Большие чемоданы! Отрада! Позволение пересмотреть чемоданы — редкость. Позволение впервые за долгие дни дает каждому право и возможность уйти на час в свой собственный мир. Никогда не наскучит матросу, тихо усевшись, перебирать содержимое своего парусинового чемодана.

Матросы медленно выкладывают все, что есть в чемоданах, оглядывая, перетряхивая, обдувая каждую вещь и любуясь ею, как только что купленной. Как хорошо потрогать свои вещи, к которым матрос не имеет права прикоснуться без особого разрешения, разложить форму первого срока², посмотреть на фотографии родных, перебирать купленные во время плаваний яркие олеографии и, наконец, вытащить письма, сто раз читанные, и в сотый раз умиленно их перечитать... Какое это счастье!

¹ Младенцев! Вот! (*франц.*).

² Форма первого срока, парадная, из улучшенного материала, хранилась в «больших чемоданах».

Посмотреть на любимые картинки, вырезанные из журналов, или на открытки с красивыми головками... Какая это радость! И матросы молча наслаждаются, перебирая любимые вещи, целиком углубясь в тихое их созерцание.

Начальство справедливо полагает, что смотреть большие чемоданы — для команды источник неисчерпаемых развлечений. Начальство справедливо рассуждает: нижнему чину обязанностей, налагаемых на него по службе, недостаточно для наполнения всего дня. Поэтому допустимо изредка заполнить их свободные часы спасительным и нравственным занятием, коим и является пересмотр больших чемоданов. Здесь совмещается с чисто умственным развлечением и сердечное волнение, ибо вид хранимого письма с родительским благословением облегчает разлуку и способствует хотя бы мысленному приобщению к семейным радостям. Часто же разрешать не следует — создастся привычка, и удовольствие умалится. Вообще начальство знает «много мудрых и неоспоримых вещей».

* * *

Часть команды сегодня увольняют на берег.

Дудки:

«Гуляющие, во фронт!»

Отправляющиеся на берег нащупывают в карманах деньги для покупок, спрятанные в платках или потертых кошельках.

Все одеты в чистейшее, подбриты, руки и шеи помыты. По шеренге ходит шкура Храмцов, и все трепещут. У него злая привычка: подойдет к матросу и, чтоб задержать его, теребит и крутит крючки и пуговицы сильными пальцами, приговаривая с ласковой досадой:

— Эх, братец! Плохо пришел... Скажи спасибо, я заметил. А то и потерял бы на бережку. Беда была б.

И отрывает пуговицу.

— Ай-ай-яй... Ну, дуй скорей, пришей...

Потом скучный идет дальше по шеренге.

Повадки шкуры известны, и у матросов наготове нитки и иглы. Пуговица мгновенно прихватывается на месте туго-туго, и матрос мчится к шлюпке.

Шлюпки и катера отваливают! Шлюпки и катера идут к берегу! Бьются матросские сердца! Сидят команды —

свой к своему: унтер-офицеры отдельно, кочегары отдельно (нижняя команда с верхней не всегда в ладах), писарье и баталеры отдельно. Все кучками по чинам и по службе — как полагается.

Матросы, наконец, доставлены с корабля на берег и торопливо бегут по своим делам. Времени дается немного. Надо успеть приобрести все, что намечено, и поразвлечься.

За месяц объекты приобретения были уточнены, деньги за непитое рассчитаны, и теперь нужно лишь успеть купить необходимое. Непьющие спешат. Минувя Николаевскую и другие улицы, по которым ходит чистая публика и где нельзя появляться матросам, они сворачивают на тихие, малолюдные и темные улочки, где магазинчики и лавочки малы, но уютны. Там матросов ждут.

Пьющие заходят к селечнице Кате и кладут перед ней шесть рублей.

— На все, Катя, духом!

Катя набрасывает платок и летит за водкой. Все в полном порядке...

В первый год службы матрос вливает в себя четыре ведра водки — по чарке в день, по трети ведра в месяц. Он привыкает к водке, и на второй год одной чарки уже мало, он проглатывает водку, почти не ощущая ее вкуса. Тогда матрос бросает пить чарку, делается «непьющим» и терпит до получки, мужественно подавляя все соблазны. Дождавшись увольнения на берег, «непьющие» матросы идут в темные улочки Кронштадта к друзьям жизни своей — и за весь месяц, за все свое терпение напиваются сразу досыта...

Селечница Катя мчится обратно с полной кошелкой. Выкладывает на стол шотландские селетки с маринованным луком, картофель отварной с постным маслицем и грибки.

— Не предупредили, голуби, уж я бы...

— Ладно.

Катя зовет соседок — вдов матросских. Двери и окна наглухо задраиваются.

Пьют матросы и вдовушки чинно. Родные ведь, кронштадтские! Вдовушки выпьют, вместо закуски рот ручкой прикроют, улыбнутся. Чудо-бабы, флотские бабы, не бабы, а ах-бабы!

Вино играет, оживляет воображение усталых матросов. Они стараются развлечь своих подруг:

— Канечно, мадамы, если в заграничном плаванье, то мы по уставу, статья двести восемьдесят четвертая, между прочим, пьем французскую водку и так называемый коньяк и ром. Из расчета опять же, конечно, сорок градусов. Изготавливают, бывает, и грог. Но я вам расскажу, мы были в Пирее, и, канечно, на берегу нас угощали. Русским везде уважение. Угощали так называемой «мастикой». Это их водка. Канечно, мы по стаканчику, второму, третьему, но мы в порядке. Что же для нашего брата три стаканчика? И, канечно, вечером на корабль. С побудки утром, канечно, пьем чай — и тут феномен! Феномен — это физицкое явление. Явление происходит на глазах — полное внезапное опьянение. Ваше здоровье! Да. С утра — внезапно!

Женщины слушают многие годы подряд эти незатейливые, одинаковые истории, но, желая порадовать матросов, проявляют живейший интерес:

— Господи, твоя воля!

— Так точно. Что же оказывается? Оказывается особое свойство: при влитии в какую-либо персону новой жидкости — хошь чаю — мастика эта, их водка, канечно, опять получает свое действие и производит новое опьянение.

Вдовушки сочувственно ахают...

Матросы пьют, и кавалерская вежливость их постепенно иссякает.

Матросы умолкают... Вспоминается сразу вся их горькая жизнь, хлещут все обиды и отравляют даже пьяную радость. Они рвутся на улицу и шлют кому-то во мглу свои проклятья...

— Голубь, Костенька, милый, што ты!.. Господи, да услышат...

— Ванечка, не кричи, родной... На — вырей.

Женщины торопятся их запойть, приласкать, чтобы удержать людей. Куда такой пойдет? Женщины были молоды, любили и голубили храбрых матросов в пятом году. Повешали, постреляли товарищей за бунты, утопили у Лисьего Носа...

Бушуют матросы, стены трясутся в хибарках Кронштадта.

— У-у-у... Шкура!.. Я тебе честь... от-ддам...

Кулаки крошат стекла. Вдовушки покорно утирают, убирают. Мужья их такими же бывали. У одной с «Сисоя Великого», у другой утонул в японскую войну... Женщины знают, чем взять матросов, как их успокоить, и, подсев поближе, заводят печальную песнь. Матросы слушают ее, поникнув головами и роняя соленые крупные слезы. Женщины поют и сами проникаются отчаянной горестью. Они поют еще заунывнее, еще горше. День сегодняшний не принес и не принесет ничего светлого, как и все за последние годы прожитые ими дни. Ничего не сделаешь...

Вышли на улицу матросы, истекают короткие часы их гулянки. Идут озорные, лихие. Глаза шарят по пустым улицам. Летят камни...

— Все перебьем...

Полиции не видно. Зачем беспокоиться — пошумят и прекратят. Это же флот между собой, так сказать, на почве пьянства и ничуть не противозаконно.

С рейда доносится орудийный выстрел. Конец гулянке!

Шатающиеся, оборванные, но присмирившие идут к берегу — на шлюпки и катера — матросы. Их доставляют на корабли, где веками выработались точные способы приемки и усмирения пьяных.

«Пьяных во фронт не ставить, а немедленно отсылать спать. Для усмирения бушующих употреблять людей равных с ними званий, чтоб к буйству не прибавилось проступков, оскорбляющих честь господ офицеров. Особо бушующих связывать, что не вредит здоровью, и класть на вольном воздухе под мокрый брезент для вытрезвления. Если пьяный имеет желание нанести вред — приковать его на баке. В особых случаях — бить мокрыми швабрами».

На корабле расставшихся с берегом матросов опять охватывает приступ отчаянности. Они пытаются крушить броню, проклинают встречающих унтеров. К ним, бывало, присоединялись и трезвые. Симулируя опьянение, трезвые матросы пользовались возможностью почти безнаказанно поносить неприкосновенные понятия, ибо с пьяных выскидывалось по обычаю со «смягчением вины».

Шкуры волокут на бак грязных, усталых от криков и борьбы людей и швыряют на отсыревшие от росы доски.

Трезвеющие матросы копошатся, беспомощно что-то бормочут и, обессиленные, засыпают вповалку.

На палубу поднимается истинно трезвый, подлинно непьющий кочегар Алексеев. Он подходит к вахтенному начальнику:

— Васокродь, дозвольте доложить.

— Говори.

— Васокродь, на берегу сунули. Так что против закону.

Вахтенный начальник вскрывает протянутый пакет. Враждебные, чуждые, странные, далекие, запрещенные слова. Прокламации!

— Молодец, Алексеев!

— Рад стараться, васокродь!

Кочегар Харитонов идет, не оборачиваясь, мимо, но замечает все, что происходит. Идет и ничего перед собой не видит — в глазах темно... Алексеев провокатор! Алексеев предатель! Алексеев выдал!

Харитонов спускается в кубрик. В кубрике влажно и душно. Тяжелый запах. Многие уже спят.

Алексеев входит в кубрик и, раздеваясь, шепчет Харитонову:

— Шкура следил... Отрава сучья... Пришлось полувину прокламаций для виду отдать. «Спасибо» заработал. Под бирку надежности работаю... Остальное в кальсоны спрятал. Пойдем в галюн.

В галюне, прислушиваясь ко всем шорохам, один отдает другому часть оставшихся тоненьких листков. Харитонов возвращается в кубрик один... Так вот в чем дело? А если?.. А если?.. Да нет! Свой! А если?.. Ну, молчать надо да глядеть.

* * *

Кронштадт.

Белая ночь. Солнце заходит, а заря не темнеет с вечера до утра и небо — серо-розового цвета.

Штиль. Вода на взморье, как на реке в затоне. И ноют над взморьем комары с окрестных болот Ингерманландии. Каждые полчаса бьют склянки — ушло из жизни полчаса. Третий век у острова Котлина на судах склянки бьют одинаково, и часовые недвижны в крепости, и ухо-

дит, уходит в печали жизнь этой крепости, названной матросами — Сахалин.

Эскадра стоит на рейде.

По уставу морскому флагманы и командиры содержат корабли постоянно в совершенной исправности, поддерживая неослабно строгую военную дисциплину и прилагая всемерные старания, дабы подчиненные обретались в благополучии.

И всеподданнейший отчет морского министерства за истекший 1913 год говорит о многих стараниях, приложенных к тому, чтобы российский императорский флот был в состоянии поддержать честь имени империи Российской и достоинство своего флага. А именно:

«Численное состояние нижних чинов российского императорского флота по отдельным флотам и береговым учреждениям за истекший 1913 год согласно ведомостей номер первый, восьмой, второй и третий всеподданнейшего отчета за истекший отчетный 1913 год указывает сорок семь тысяч триста семь человек. Из вышеозначенного числа за истекший отчетный 1913 год — шестнадцать нижних чинов предано смертной казни через повешенье и шестьсот восемьдесят нижних чинов заключено в военно-исправительную тюрьму. Сто шестьдесят пять нижних чинов исключено со службы по лишению звания по суду. Двадцать семь нижних чинов исключено со службы по причине самоубийств. Сорок три нижних чина исключено со службы по причине преждевременной смерти при различных обстоятельствах: утонувшие, смерть на работе и ученье и так далее. Сто сорок девять нижних чинов исключено со службы по причине смерти от болезней. Двадцать четыре нижних чина исключено со службы по причине сумасшествия. Тысяча сто пятьдесят семь нижних чинов уволено со службы по причине получения инвалидности. Четыреста девять нижних чинов находятся в бегах, и сто девять уволено со сверхсрочной службы в дисциплинарном порядке. Итого, по ведомости номер три всеподданнейшего отчета за истекший отчетный 1913 год, указующей изменения в составе нижних

чинов, — имеется убыль. Сие надлежит почитать за естественное очищение флота, сколь бы печальны ни были потери».

И эскадры, очищенные от неблагонадежных и негодных по болезни нижних чинов, стоят великолепные, на страх врагам на рейдах империи: Кронштадтском, Ревельском, Гельсингфорсском, Либавском, на Севастопольском и Тендровском, на Бакинском, на Владивостокском и Хабаровском.

Эскадры стоят на рейдах, и вид у эскадр молодецкий.



ГОД 1914-й

Глава третья

УБИЙ!

I

1914 год увидел рабочее революционное движение на новом подъеме — три с половиной тысячи стачек! Развернуто выступили по всей стране до полутора миллионов рабочих.

В предвоенное лето 1914 года в столице гремели забастовки за забастовками:

4 июня пролетариат Санкт-Петербурга бастовал в память расстрелянных матросов.

9 и 11 июня прошли две политические забастовки.

В ответ на расстрелы рабочих в Баку, — забастовало:

4 июля — 90 000 человек.

7 июля — 130 000 человек.

11 июля — 200 000 человек.

Красный пожар разгорался и устрашал! Приказ Столыпина, гласивший: «Пока в стране не будет установлено спокойствие — полевые суды и господа офицеры олицетворяют юстицию в империи», — сохранял свою силу. И выбритые добела, надушенные, воспитанные господа офицеры, полируя ногти и сдувая с них розовую пыль, вынесли пять тысяч смертных приговоров рабочим.

Империя готовилась к неизбежной войне с Германией. Параллельно, покрытая военной тайной, осуществлялась более важная операция по борьбе с наиболее опасным врагом внутренним — пролетариатом. Секретный стратегический план, не отменявшийся и в случае войны, гла-

сил: развернуть полки и дивизии в Санкт-Петербургском и Одесском районах, в Сибири, Туркестане, на Кавказе и в Финляндии.

Правительство значительную часть своей армии оставляло для внутренней охраны страны, для наблюдения над районами промышленными и «инородческими» в целях быстрых карательных экспедиций, подобных экспедициям 1905 и 1912 годов. Наибольшие силы сохранялись против пролетариата Санкт-Петербурга.

* * *

Санкт-Петербург был живым воплощением вековой монархической власти. Столица угнетала ритмами, формами и «красотой», превозносившей величие империи. Архитектура не могла существовать вне общего исторически-общественного процесса. Архитектура — это та же классовая борьба, выраженная в граните, мраморе и бронзе, в кирпиче, железе и дереве.

В Санкт-Петербурге размах архитектуры и выразительность скульптур победно подчиняли материал идее властвовавшего класса. Столица требовала внимания к двум прошедшим столетиям и приобщала к ним.

Санкт-Петербург, по расчетливо продуманному плану, был приведен к виду императорского лагеря. Он был оккупирован громадной символической армией.

В столице устрашающим постоем расположился конно-жандармский эскадрон бронзовых императоров. Они заняли главнейшие пункты.

Памятники неизменно победоносны и величественны. Высеченные даты трубят славу династии. На высочайших колоннах и шпилях, простирая венки славы и воздвигая христианские кресты, — парят ангелы: Александровский, Петропавловский, Конногвардейский, Троицкий-всей артиллерии и прочая, и прочая. Языческие Посейдоны, Афины-Паллады и Марсы соединяются с ними в воинственном союзе. У подъездов дворцов и особняков лежат на страже черные и серые львы. В парках легионы воинов расположились мраморным бивуаком. С фронтонов, оград и решеток тысячи стрел, копий и мечей разяще направлены в сердца «супостатов внутренних и внешних». Разрезая пространства, взлетают над площадями боевые квадриги.

Великолепны дворцовые площади Санкт-Петербурга! Они подчеркивали иерархию власти и создавали «приличествующую дистанцию» между дворцами — «вместилищами» этой власти — и окружающим их городом. Площади эти были рассчитаны и для удобства развертывания войск против мятежных толп. Доказательством сему было 9 января 1905 года.

Со стен дворцов и музеев глядят портреты военачальников и воинов. Наименования полков предупреждающе грозны: лейб-гвардии Семеновский, Гренадерский, Фангорийский и прочая, и прочая. И сразу в памяти нашей наименования этих полков сочетаются с содеянным ими: *Перово, Пресня, Лена!..*

Все вместе взятое должно было внушать народу страх и покорность.

* * *

Вооруженные силы двинуты. Столица вздрагивает от их хода. Войска идут мимо соборов и церквей. С высоты неумолимые святые благословляют проходящие войска, простирая над ними бронзовые руки. Их раскрытые, застывшие глаза грозно повелевают:

— Убий!

И войска, во исполнение сего, идут в устрашающем молчании к месту столкновения с врагом. Они идут плотными прямоугольниками.

Приказ войскам дан: «Бить, колоть, стрелять».

Войска мерным ходом своим покрывали предуказанное им пространство, сближаясь с врагами. Вот они! Пока их немного — вероятно, разведчики противника. Офицеры в бинокль наблюдали за их действиями, охваченные ненавистью и острейшим любопытством.

Роты медлили... Офицер вырвал винтовку у ближайшего солдата, чтобы сделать первый выстрел. Он стал перед ротой, как на стрельбище, успокаивая этим себя и солдат, прицелился и нажал спуск.

Солдаты вздрогнули, увидев, как упал и закорчился подстреленный человек.

Стрелявший повернулся к солдатам:

— Вот, братцы, до сих пор мы проходили теорию. Теперь перешли на практику. Как видите — просто. Просто?

Рота нерешительно отозвалась:

— Так-точ-ваш-сок-родь, — но стрелять не решалась.

Разведчики, забыв об опасности, склонились над убитым. Этим воспользовались офицеры и пулями срезали их.

Солдаты глядели на подстреленных людей, боясь выдать свой страх и все надеясь, что они шевельнутся. Ожидание было мучительным. Тела лежали совершенно недвижно. Солдаты думали об «этом», впервые ими увиденном и непонятном, и опасливо поглядывали на стрелявших офицеров. Солдаты, будто ожидая чуда, а некоторые моля о нем, смотрели на распростертые перед ними тела. Но чуда не было — люди не шевелились, они были мертвы.

Солдаты мучительно думали: за что убили этих людей?.. Стремясь найти ответ в давно заученных словах: «Защищай веру, царя и отечество от врагов внешних и внутренних... Что есть враг внутренний?.. Враг внутренний есть — студенты, мастеровщина тоже», — они уже в них улавливали ложь.

Противник показался снова. Некоторые солдаты кристались. Офицеры прикрикнули:

— Не балдей! Не робей!

Но солдаты робели. Они пугались даже местности, куда их пригнали: над строениями подымались стволы никогда не виданных ими огромных труб; в воздухе носились копоть, пепел, гарь; под ногами валялись темные пласты каменного угля; из канав, прорезавших местность, шел густой зловонный запах застоявшейся жижи; точно пораженные болезнью, чахли тоненькие деревца с посеревшей листвой. Солдаты — жители деревень — ужасались и недоумевали: кто и как мог здесь существовать?

Противник приближался. На этот раз он шел сплошными рядами...

Офицеры, привычно искавшие у противника воинского порядка и вида, уже готовы были насмеяться над отсутствием их. Но... не смогли. Противник порождал страх. Он шел с неумолимостью и силой, с таким чистым мужеством, которого не было у офицеров, и поэтому движение противника устрашало и озлобляло их еще больше.

Над рядами противника взметнулись, пламеная, лозунги и знамена. Расстояние уже позволяло прочесть «Д. С. 8. 8. 8.»

Войска, оцепенев, ждали. Офицеры намеревались подпустить врагов как можно ближе и бить в упор с постоянным прицелом.

Лица в первых рядах противника были уже ясно различимы. Боязнь отсутствовала в них. Многие солдаты, видя эти лица, жмурились, держа одеревеневшими руками винтовки на изготовку. Приближающиеся ряды переступили через тела павших товарищей своих...

Со стороны противника донеслись слова запрещенной законом песни... Тогда, чтобы заглушить ее, офицеры дали залп...

В этот же день офицеры донесли о победе.

Так было. 3 июля 1914 года в Санкт-Петербурге за Нарвской заставой были расстреляны рабочие Путиловского завода.

Царская армия вписала новую победу в перечень своих деяний, украшенных девизом: «Так было — так будет», — и к числу своих трофеев присоединила знамена и лозунги — «Д. С. 8. 8. 8.», что означало: «Долой самодержавие! Восемь часов работы, восемь часов отдыха, восемь часов сна!» За эти требования полагалась смерть!

Такие поражения бывали, но каждое из них рождало еще более ожесточенную волю к борьбе и обогащало опытом восставших. «Так было, но так не будет...» — говорили они.

Борьба шла, тщательно скрываемая империей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ

II

Как всегда, благоухали июльские цветы в собственном его величества Царскосельском парке, и, как всегда, вокруг них жужжали собственные его величества пчелы.

На низком каменном постаменте, у полосатой бело-черно-оранжевой будки стоял, как то положено по расписанию караулов Царскосельского гарнизона, часовой. Пот медленно стекал из-под околыша к вискам солдата... Благовонная жара... Пчелы гудели, и слышался часовому в гудении пчел голос его взводного:

«Божже упаси что сделать на царском посту не так. Счастья не видать всю жжизнь. Что есть часовой? Часовой есть всякий нижжний чин, поставленный на пост с ружьем. Жжизнь его есть неприкосновенна, и если жжизни его и посту угрожают — коли штыком или стреляй, а если нужда приспичила, не вызывай разводящего, потому в почетном карауле, терпи. А что если тебе, допустим, командир роты или даже полка пожжелает за лихой вид пожаловать на чай? Не брат, не брат, не брать! Согласно устава. А как вы знаете отдавание чести? Ты есть одиночный постовой часовой. Мимо тебя идет знатное погребальное шествие, сопровождаемое вденной командой, тогда отдай честь по-ефрейторски и провожай глазами шествие. А если есть простое погребальное шествие, делай только скорбный вид — честь не полагается. А теперь мимо тебя идет гражданский сановник, и на нем одета лента или цепь святого Андрея Первозванного. Стой! Какой, скажи, цвет на этой ленте? Голубой. А где голубой цвет ты видишь прежде всего? В первом случае на груди своего взводного. Ты видишь на моей груди на означенной голубой ленте высочайше пожалованную медаль в честь двухсотлетия Гангутского боя. Запоминай! Изничтожен был в этом бою шведский флот. А как вышеуказанному сановнику честь отдать на посту? Опять по-ефрейторски. И божже упаси зачем сойти с поста. Стой как заказанный. Если не соображаешь, как честь отдать, можжет чин малый, всегда отдавай полной мерой. Лучше перекланяться, чем недокланяться. Коло будки стоять будешь — помни: касаться ее левым локтем и равняться с ее передней стороной. Высочайшие особы и знатные лица гулять будут — увидишь с собачками прогуливаются. Собачка как покажется — коси глазом...»

Солдат стоял, внимая жужжанию пчел, и не мигая, сжимая челюсти, терпел укус собственной его величества пчелы, ибо не дозволено шевелиться и оных пчел отгонять, дабы движением руки не выказывать вида непристойного в почетном карауле.

Из дальней аллеи выбежала собачка неизъяснимой и совершенной белизны. Затаив дыхание, командуя про себя, солдат, кося глазом, вскинул двумя движениями винтовку по-ефрейторски на караул и одновременно повернул голову в сторону, откуда должен был выйти царь.

Солдат на мгновение поднял глаза, и показалось ему, что небо было цвета андреевской ленты.

Собачка пробежала мимо...

Аллея, в которой чудилось солдату нечто грозное, была той же, какой и была до того, как по ней пробежала одна из царскосельских собачек...

Часовой медленно возвращал спокойствие неровно бившемуся сердцу, и глаза его вновь различали мир: небо уже не сияло голубизной андреевской ленты, а стало обычно голубым, громадный сад попрежнему темнел кронами зеленых лип.

Часовой опустил двумя движениями винтовку к ноге и незаметно стряхнул капли пота.

Пустынный парк благоухал.

* * *

На царскосельский плац вышли гвардейцы роты его величества. К строю приближался маленький хрупкий подпоручик. Он шел, чуть по-женски покачиваясь и придерживая левой рукой шашку, как дама — шлейф.

Самый тяжелый, самый высокий фельдфебель роты его величества зарычал, увидев подпоручика:

— Иррна, равнение на-право!

Необъяснимое волнение владело офицером. Война открывала ему путь славы. Он готов был вести своих послушных гвардейцев к боям и победам, давно созданным его мечтой.

Подпоручик увидел армию, сыном которой он был. Он представил себе ее, шествующую из времен Петра, Елисаветы, Екатерины, Павла, Александра и Николая; своих дедов и прадедов в золотых шитых кафтанах и мундирах. Ему казалось, что в Царском Селе слышится тяжелая поступь российской пехоты, исходившей за век полмира; слышится ржание и стук копыт российской конницы, ходившей в Пруссию, Францию, Венгрию и Персию. Он видел семью царскосельских гвардейцев, и слы-

шался ему ликующий клич их: «Отечество нам Царское Село».

Влюбленный во весь мир подпоручик голосом счастливым и звонким крикнул:

— Братцы — война!

Ответом подпоручику была покорность одинаково неподвижных людей, готовых двинуться по первой команде согласно уставу и данному направлению. Иного ответа быть не могло, ибо устав ничего не предусказывал касательно формы, каковой надлежит отвечать на слова, произнесенные подпоручиком.

Снимая замшевую перчатку (поставляемую «Боем Сарда» на Морской), особенно тонкую, пропитанную духами любимой, подпоручик возбужденно глядел на роту, и взгляд его выражал все счастье, дарованное ему этим днем, часом, так долго ожидавшимся подпоручиком и, как он думал, — родиной. Беспредельную жертвенность нес он России, ее имени, такому торжественно-сладостному.

Рота стояла, ожидая новых действий и слов офицера, чтобы повиноваться.

— Поздравляю вас, братцы.

Однообразный быстрый рев вырвался из глоток и, сотрясая бороды гвардейцев роты его величества, колыхал недвижные, благоухающие в июльской жаре цветы.

— Радды стар-рать-с, ва-ско-родь!

— Братцы, будем молодцами!

По уставу на сие нет точных ответов, но фельдфебель глядел на роту, и взгляд его, изученный ротой, рождал опять однообразный быстрый рев:

— Радды стар-рать-с, ва-ско-родь!

— Ура, братцы!

И загремело за два века созданное русское «ура», рокочущее и безостановочное. Оно шло из глубин глоток — торжественное и ярое. На фланге также раздалось «ура», такое же торжественное и ярое. Оно катилось, вспыхивая, дальше и дальше по всем ротам. Издалека медь оркестра покрывала все гимном, требовательно поднимавшим «ура» все выше и выше. Высокие гвардейцы-бородачи стояли натруженные, багроволикие, глядя вниз на маленького подпоручика, который, плача от счастья, отдавал честь, чуть оттопырив два пальца.

Подпоручик подходит к фельдфебелю:

— Жабин, поздравляю.

И, привстав на цыпочки, он тянется своими душистыми губами к многоволосью у рта фельдфебеля. Фельдфебель благодарно наклоняется, прижав руки ко швам, и прикасается к щекам подпоручика благоговейным, испуганным и стыдливым поцелуем.

Потом подпоручик уходит. Фельдфебель оборачивается и говорит:

— Вот поздравляю вас, братцы, тоже.

Рота в ответ ревет и замирает при приближении дежурного офицера. Застыв в стойке, дежурный унтер-офицер кричит:

— Ваше высокоблагородие, за время моего дежурства в роте его величества происшествий никаких не случилось.

Устав не указывает на то, что война является происшествием и что о сем происшествии надлежит рапортовать по дежурству. Щелкая каблуками, дежурный унтер-офицер «осаживает» назад и в сторону. Дежурный офицер говорит:

— Поздравляю с походом, братцы!

— Рад-ста-ра-ва-скороды!

Офицер восклицает:

— Ура, братцы!

И вновь вырывается «ура», рокочущее и безостановочное, торжественное и ярое, и люди опять стоят багрово-ликие, глядя на офицера, отдающего честь.

Подходит командир роты и, оглядывая своих гвардейцев, говорит:

— Поздравляю, братцы, с походом.

Рота вновь ревет «ура», рокочущее, безостановочное, но уже хриплое. Лица делаются все багровее, люди исходят ревом. Знойный воздух — все жарче и жарче, и видно, как он струится над головами гвардейцев...

По ровной линии теней, падающих от выстроенной роты, шагает командир батальона. Он поздравляет роту. Безостановочно гремит хриплое «ура».

«Ура» раздирает глотки людей, когда, наконец, подходит командир полка. Глаза раскрываются шире и шире. Медь вновь гудит и звенит, долго не замолкая. Потом оркестр затихает. «Ура» спадает, делается тише и тише и переходит в низкий рокот, постепенно замолкающий.

Командир полка ушел... Все затихает... Но изо рта огромного фельдфебеля все еще струится октава, и глаза его закрыты... Раскрыв рты, тяжело дышат стрелки... Молчат — и так проходят минуты.

Потом кто-то спрашивает, нарушая дисциплину, негромко и испуганно:

— Братцы! А с кем война-то?

* * *

Внезапно поздравленные с походом, гвардия и армия ревели на площадях. Запасные, в последнем разгуле, потрясали тракторы империи.

Со слезами умиления престарелые генералы, забывая о проигранной ими японской войне, услаждали себя и внимавших им рассказами о победоносной армии империи Российской.

Всем внушалось: армия лишь ждет повеления царя, чтобы в первый же час по объявлении войны двинуться и доказать непобедимость.

Генеральный штаб тщательно готовил империю к войне. Имелись: частные расписания на предмет войны с Японией и Китаем; на предмет войны с Китаем; на предмет войны в Туркестане; на предмет войны на Кавказе; на предмет десанта на Черном море; на предмет умирения великого княжества Финляндского; на предмет войны против Германии и Австро-Венгрии; на предмет войны против Германии, Австро-Венгрии и Турции.

Означенные планы прорабатывались около сорока лет, то есть с момента первого франко-русского сближения в 1875 году, и, казалось, предвосхищали все возможные варианты войн. В 1913 году начальники русского и французского штабов (Жилинский и Жоффе) окончательно сформулировали русско-французские обязательства на случай объявления Германией войны — Франции или России. Купленная французскими займами, Россия была вынуждена пойти на условия, наиболее выгодные для Франции.

В июле 1914 года Генеральный штаб получил «высочайшее» приказание: «Ввиду Нашего беспокойства за судьбу Сербии¹ привести в действие расписание соответ-

¹ Австро-Венгрия объявила Сербии войну.

ственно обстоятельствам, а именно: на предмет войны против Австро-Венгрии». Истина же заключалась в том, что под нажимом Пуанкаре (Франция) и Ллойд-Джорджа (Англия) — вопрос о войне России с Германией и Австрией был давно предreshен.

О приказе царя был извещен весь мир, дабы все знали, что справедливая тревога за судьбу славянской малой державы вынуждает Россию к «малой» мобилизации.

Генеральный штаб внезапно «обнаружил», что среди его планов никогда не было в наличии «расписания» против войны с *одной* Австро-Венгрией, и всеподданнейше донес о возможности произвести лишь общую мобилизацию по «расписанию» *против Германии и против Австро-Венгрии*. На сем донесении 14 июля (старого стиля) 1914 года начертано было: «Быть по сему», ибо это расписание как нельзя больше соответствовало планам Николая II и иже с ним.

Общая мобилизация началась...

Это было на руку правительству Германии, давно стремившемуся к войне с Россией и державшему наготове свои армию и флот...

Правительство Германии могло перед лицом всего мира и перед лицом своего народа представить Германию страной, подвергшейся нападению России. Зная, что начавшаяся мобилизация уже не будет прекращена, — германское правительство потребовало немедленного ее прекращения, чтобы получить неизбежный отказ. Отказ последовал, как оно и было предусмотрено германским Генеральным штабом. 19 июля (старого стиля) 1914 года Германия объявила России войну. Франция, по договору с Россией, в свою очередь немедленно объявила мобилизацию для защиты подвергшегося нападению «братского русского народа».

Объявив войну России, правительство Германии через два дня объявило войну Франции, стремясь к победоносной и сокрушительной войне в Европе. Германия и Франция, готовившиеся сорок лет к взаимоистреблению, так же как и Россия, известили мир о вынужденной обороне.

«Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный, с ее точки зрения, момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной

технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предпринятые Россией и Францией»¹.

Таковыми путями шел процесс рождения империалистической войны, в которой все только «оборонялись».

Каждое правительство считало своим долгом упорно доказывать в печати, что оно вынуждено выступить во имя долга, во имя «высокой-справедливости».

На деле объявленная война была войной «...между двумя группами разбойнических великих держав из-за дележа колоний, из-за порабощения других наций, из-за выгод и привилегий на мировом рынке»².

Начиналась «...самая реакционная война, война современных рабовладельцев за сохранение и укрепление капиталистического рабства»³.

Вся пехота российской армии в честь победы над Наполеоном была собрана в тысячу восемьсот двенадцать батальонов. По всей стране служили молебны во исхождение у всевышнего побед, равных победам 1812 года.

Правители России ждали войну и знали, что она придет. Но, несмотря на это, в тот день и час, когда она грянула, ничто не было готово к войне в империи Российской. Хаос воцарился на магистралях страны. Ввиду недостатка железных дорог весь поток зерна, леса, нефти, металла, руды, угля, а также мануфактуры, живности, овощей, фруктов и прочего и прочего внезапно остановился в тот час, когда на три тысячи станций империи входили четыре миллиона запасных, посылаемых единым словом одного человека — царя — на смерть.

Большая часть тысячи восьмисот двенадцати батальонов не двигалась с места в ожидании укомплектования, и война, гремевшая в каждом слове, взбудоражившая весь мир, шествовала мимо них.

Командиры полков, полагая, что на них смотрит история, писали в это время приказы. Одни, подражая повелительному лаконизму Цезаря и Корсиканца, слали приказы:

¹ В. И. Ленин, Сочинения, том 21, стр. 12.

² Там же, стр. 334.

³ Там же.

«Господа офицеры и солдаты!

Доблестный полк наш выступает в поход. Нет препятствий для русского солдата. Вы докажете, на что способна армия российская. Куда бы нас ни послали — повсюду найдем мы славные следы побед наших отцов и дедов.

Солдаты, исполняйте свой долг! От успехов России зависит жребий мира!»

Другие, их было более, — писали тоном отеческим, выражающим прежде всего богобоязнь:

«Поздравляю господ офицеров и вас, братцы, с объявлением войны. Вы, старые и молодые, идете на святое дело защиты православной веры от нашего язычников — немцев. Братцы, царь наш и с ним вся Русь любовно смотрят, как собирается могучая рать. Но без бога — ни до порога. Начинать свое дело молитвенно. Проси бога, да поможет он нам исполнять службу во славу Божию и на радость государю и матушке России. Укрепляйся в заповедях воинских и христианских. И тогда: крест на груди, на врага в штыки! В прахе задохнется язычник и иноверец. Ура!»

Правительство царской России рассчитывало, что война отвлечет внимание народа от главных его врагов — царя и властвующих классов.

Правительство, печать и церковь вешали:

— По призыву царя к единению, поднимись, Россия!..

Призыв к единению был лицемерен, ибо власть, призывающая к единению, — разъединяла людей, узаконив неравенство условий их жизни.

Высшее сословие — потомственное дворянство, обладали землей, привилегий и власти — выделялось особо (не смешивалось даже с личным дворянством) и находилось в состоянии лютой вражды с ограбленными и замученными ими крестьянами.

В такой же вражде состояли два основных городских класса — буржуазия и рабочие, так как труд рабочих жестоко эксплуатировался буржуазией.

Наиболее многочисленное сословие — сословие сельское, выдаваемое за равное и единое крестьянство, —

также было разделено, в интересах властей, на крестьян бывших владельческих, бывших государственных, бывших удельных, поселян государственных, поселян собственников на казенных землях и т. д., и т. д. У всех были разные права и достатки. К 1903 году на десять миллионов дворов — было полтора миллиона богатых кулацких дворов. Кулаки принуждали бедных (безлошадных) и средних крестьян к работе дешевой, долгой и трудной... Многие из первых были высокорослы и крепки и брались для особой службы, чаще всего в гвардейские роты. Остальные либо призывались обычно, либо браковались, как хворые и хилые. Были губернии, где вымирало множество бедных крестьян, а именно: Воронежская, Самарская, Саратовская, Рязанская, Тульская, Владимирская и Калужская.

Призыв к единению был лицемерен, ибо власть, призывавшая к единению, имела в виду лишь православных, прочие же — иноверцы — считались вредными, «погаными». Православный закон запрещал браки с «погаными» и выход из лоно православной церкви.

Призыв к единению был лицемерен, ибо, когда в редчайших случаях угнетаемые требовали у угнетателей помощи, угнетатели приказывали стрелять в угнетаемых, и это называлось водворением законного порядка.

* * *

К воинским присутствиям направлялось четыре миллиона людей. На трактах вздымалась пыль.

Марш-маршем, обгоняя всех, неслись тройки. Развлясь на ковровых подушках, обозревали мир — небеса, поля и леса — помещики, владельцы земли русской.

Ямщики, стоя на облучках, с гиком и присвистом крутили кнутовища. Коренники рубили дробь, пристяжные свивались в кольца, и пыль клубом вставала за тройками. Объезжая толпы запасных, господа привставали в колясках и приветствовали их возгласами:

— Ура, братцы!

— Ура!

Один из помещиков, нагнав своих мужиков, махал фуражкой и кричал:

— Здорово, орлы!

— Были здоровы, теперь не будем, — несло в ответ.

Не разбирая слов, барин улыбался, кланялся и махал фуражкой. А мужики кричали ему вдогонку:

— Хлеб-то у нас неубранный. Не как у тебя!

— Провожать легко, а как калек встречать будешь?

А барин, привыкший к почтительности и покорности, оглядывался и приветственно крутил фуражку. Ему казалось, что он видит простых, безропотных, похожих друг на друга людей, готовых на жертвы, к которым их призывали. Но мужики думали иное, свое...

Мужики шли, подымая на трактах пыль. Одни были обуты в лапти или опорки, другие шли в яловичных сапогах на третьих—хромовые штиблеты. Некоторые, несмотря на жару, потирали руки зябким движением, сызмальства приставшим к ним от бедности и мелкости их; некоторые устало и равнодушно шагали; иные ехали по трое на казенных подводах, горлая песни, и лишь немногие, в заломленных набекрень черных и синих картузах, гарцевали на собственных конях, разукрашенных лентами.

Скопища людей, конвоируемые полицией, сходились с разных сторон — из шестисот тысяч селений и двух тысяч городов империи. Скопища росли отчаянно и тоскливо гудели и двигались к сборным пунктам, где их ждали воинские начальники, приемщики, полицейские чины. На каждую тысячу душ, согласно статьи двести восемьдесят девятой Устава о воинской повинности, приходился один врач, коему вменялось в обязанность пропустить эту тысячу душ без замедлений.

Шли люди из сельских местностей, поселков, местечек, слобод, поселений и пригородов, заштатных и безуездных городков. Шли крестьяне, мешане, посадские, ремесленники и цеховые. Каждый из них оставил свои занятия, промыслы или службу; свою семью, избу, квартиру, дом!

Высочайший приказ обязывал к явке всех, за исключением: пункт первый — умерших, пункт второй — приговоренных судом к лишению всех прав состояния и пункт третий — признанных неспособными по болезни.

Офицеры и чиновники запаса ехали, предуведомленные лично за сорок восемь часов (в целях устройства домашних дел), снабженные прогонными деньгами из расчета поверстных расстояний. Прочие же — неблагородных званий — шли без предуведомлений, сопровождаемые (со-

гласно пункту четвертому закона о нижних чинах запаса армии и флота) полицией: уездными исправниками, становыми приставами и прочими полицейскими чинами по назначению губернаторов, а также командами, наряжаемыми от воинских начальников. Скопища людей шли из глубин страны к сборным пунктам и станциям железных дорог.

Среди воя и плача провожающих тронулись первые эшелоны мобилизованных. Они пересекли леса, горы и равнины, шли со всех сторон империи, скрещиваясь, обгоняя друг друга, расходясь и исчезая — увозя четыре миллиона призванных из запаса мужчин.

Следом тронулись эшелоны интендантства. Они шли, пересекая леса, горы и равнины, шли со всех сторон империи, шли скрещиваясь, обгоняя друг друга, расходясь и исчезая — везя миллион изъятых у сельского населения лошадей, быков и коров. Эшелоны шли сутки, другие, третьи и дольше. Мобилизованные передвигались по всем железнодорожным магистралям страны. В пунктах сосредоточения скоплялось множество запасных. Понятия — «расписание поездов», «дороги транзитные», «дороги отправления», «дороги принятия» и понятия — «поезда товарного движения», «поезда большой скорости» бесследно исчезали...

Предмобилизационный период, предусматривавший планомерность сборов, вывоз семей из пограничной полосы и пополнение запасов, был смят внезапною происшедших событий. В Петербург из разных округов летели телеграммы о нарушении планов, о финансовых затруднениях и об отсутствии запасов.

Армия требовала ежедневно, нарушая все предположения Генерального штаба и интендантства, миллионы пудов хлеба, овса, скота, сена, соломы и прочего. И интендантство увидело, что нормы, вычисленные до войны и утвержденные высочайшими приказами, уже превзойдены вдвое.

В первые же дни после объявления войны нарушилось планомерное снабжение страны и армии. Возникли новые сложные формы и трудные условия жизни, оказавшиеся в тесной зависимости от действия тех, кто объявил войну. Но пострадали от этого главным образом те, которые этой войны не ждали и не хотели.

Станции и вокзалы затоплялись лавинами нервных, торопливых, мечущихся людей, потерявших внутреннюю опору — привычку. Уходили сборные поезда, составленные из вагонов всех классов, и синие вагоны первого класса перемежались с серыми вагонами четвертого, что до сей поры считалось немыслимым.

Люди с испугом убеждались в том, что поезда, точно уходившие в 7 часов 30 минут, 8 часов 15 минут, 9 часов 25 минут и т. д., больше по расписаниям не идут. Люди, не понимая происходящего, объясняли себе все одним словом — «война». На станциях все запасы были съедены и выпиты, и, не понимая, как может быть, чтобы не было ситного, колбасы и чая, люди снова искали объяснений в слове «война», которое ничего не объясняло. Жизнь становилась все непонятнее и страшнее.

* * *

Приграничные губернии России пустели. С моря дули северные ветры. Ветры были над брошенными берегами, над пустынными дюнами, мимо которых вспять уходили поезда. Волны обрушивались на покинутые пустынные балтийские пляжи... Сгибаясь от ветра, стояли у моря лишь одинокие часовые-пограничники.

Жители брели к станциям, волоча скарб и увязая в мелком песке. Они валялись на платформах, на скамейках, на станционных столах, просто на земле среди своих узлов и корзинок, котомок, бутылей, кувшинов, чайников, цветочных горшков, среди странной путаницы нужных и ненужных вещей. Вдали урчали непонятные громы, люди внимали им и прижимали к себе своих детей в беспредельном отчаянии. Среди этих людей, лишь впоследствии названных «беженцами» (по неистребимой людской привычке к классификациям), были торговцы и менялы — вкрадчивые и жадные до барышей. Они тайком предлагали в обмен на золото — съестные припасы. Они не сразу называли цены не только из боязни быть услышанными, но и боясь услышать произнесенные вслух ими же назначенные баснословные цены. Но так как война сместила все привычные понятия, эти невероятные предложения вызывали не гнев и расправы, а покорное и грустное согласие. Женщины отдавали последнее, чтобы накормить детей.

Какие-то горячие и пылкие молодые люди — чиновники, студенты и курсистки — бегали, пытались что-то объяснить, кого-то зачем-то объединить, чтобы о чем-то хлопотать. Но лежавшая на земле масса понурых, усталых, притихших мужчин и женщин не откликалась. Иногда тишину сырого дня нарушал плач, чья-то бесцельная жалоба, обращенная к «всемогущему».

Молодые люди нервно спрашивали стариков и женщин:

— Что же вы будете делать? Боже мой!

Молчанье... Потом одна женщина покорно ответила:

— Умирать будем.

В надвигавшихся сумерках шумели приморские сосны, и станция постепенно погружалась во тьму. Люди боялись огня, боялись шума в предчувствии близкой катастрофы.

В запертую дверь, за которой скрылись служащие станции, стучали кулаками:

— Откройте! Откройте же!

Служащие боялись открыть, никого не желая впускать. Телеграфная лента говорила о том, что где-то еще сохраняется какой-то порядок, какая-то жизнь. Частица этого передавалась сюда, в закрытую комнату, стуком аппарата, и она, эта частица, успокаивала их. Служащие боялись, что если в их обитель ворвутся бежавшие, то все окончательно погрузится в хаос, неизвестность, страх... Нарушится последний намек на «порядок».

За дверью кто-то рыдал и умолял взять ребенка... Кто-то кричал во тьму:

— Убийцы, мерзавцы! Сволочи! Слышите?!

Неведомо откуда пришли, гремя сапогами, отставшие от эшелона запасные. Они засветили ручной фонарь и сели. В его рыжем свете они запели:

Славна-ая морря,
Свищенный Байкалл,
Славный каррап,
Амуллевая боцька-а...

Сибирская песнь стенала в тускло освещенном, набитом людьми помещении. От пришедших шел тяжелый сивушный дух... Они звали женщин:

— Эй, тетка!

— Милка, чего хошь проси, только иди к нам!

К запасным тихо подошла женщина. Здороваясь, она протягивала мужчинам руку лопаточкой.

— Пей, Лиза, или как тебя?!

Женщина выпила, не закусывая, и прикрыла рукой рот с обнажавшимися при улыбке деснами. Запасные тоже приложились и снова запели и застучали каблуками.

В дверях показался жандарм. Он поморщился и приказал:

— Уйди отседа. Ну!

— Господин дандар... За верцаряотечество! Немца бить едем.

Жандарм, нашедший возможность действовать, возможность, возвращавшую ему, хоть ненадолго, подобие внутреннего равновесия, повторял:

— Уйдите.

Запасные покорно встали и, пошатываясь, ушли. Женщина уныло побрела за ними.

Приграничные губернии России пустыли.

* * *

Для сведений Санкт-Петербургского телеграфного агентства, умещавшихся в начале дня на сантиметровых полосках телеграфной ленты, к вечеру едва хватало места в витринах газет.

«Германия объявила России войну»

«Всеобщая мобилизация»

«Бои у Белграда»

«В эти роковые часы»

«Нам угрожают»

«Мы должны»

«Мы должны»

И люди, толпясь у витрин, сами не замечая того, повторяли: «Нам угрожают», «Мы должны...»

Газетчики наводняли улицы, выкрикивая названия монархических, кадетских и прочих газет:

«Новое время»

«Речь»

«Биржевые ведомости»
«Петербургский листок»
«Петербургская газета»
«Вечернее время»
«Газета-копейка»

Толпы окружали газетчиков... Напор был стремителен — каждый требовал «свою» газету, к которой он привык, взгляды которой отвечали его взглядам; но скоро все с удивлением обнаружили, что газеты повторяют всё одни и те же слова:

«Многострадальная Сербия вызывает о помощи»
«Нам угрожают»
«Мы должны» и т. д.

Редакторы газет охрипшими голосами долбили по телефону своим сотрудникам:

Сообщить, что армии уже победоносно идут вперед, и уверять всех, что: «В победе уверены все».

Сообщить, что: «Мы снабжены всем», Перелистайте-ка «Биржевые ведомости» и найдите мне статью Сухомлинова.

Сообщить, что: «По пран нейтралитет малых стран». Валяйте о Сербии, — найдете у Брешко-Брешковского, в «Ниве», в «Аргусе».

Сообщить, что: «Противник нуждается в припасах» или в амуниции, справьтесь...

Была одна маленькая петербургская газета Российской социал-демократической рабочей партии (большевики) — «Правда». Только она сумела бы объяснить испуганным и сбитым с толку людям истинную суть происходящих событий, но она была, в предвидении этого, поспешно закрыта царскими чиновниками.

Если бы не этот произвол, то, очевидно, в «Правде» в то время были бы напечатаны следующие строки обращения ЦК РСДРП (большевиков)¹:

¹ Речь идет о манифесте ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия», написанном В. И. Лениным и опубликованном в ЦО РСДРП газете «Социал-Демократ». (См. В. И. Ленин, Сочинения, том 21, стр. 9.)

«Европейская война, которую в течение десятилетий готовили правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост вооружений, крайнее обострение борьбы за рынки в эпоху новейшей, империалистической, стадии развития капитализма передовых стран, династические интересы наиболее отсталых, восточно-европейских монархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. Захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внутренних политических кризисов России, Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих и истребление их авангарда в целях ослабления революционного движения пролетариата — таково единственное действительное содержание, значение и смысл современной войны»¹.

Обращение это было опубликовано лишь 1 ноября 1914 года в Женеве, в газете «Социал-Демократ».

Пропаганда войны в империи принимала грандиозные масштабы. Прессе вменялось в обязанность убеждать людей в том, что каждый из них — защитник и спаситель царя и отечества. Каждая буква газет угрожала врагам... «Тевтоны, сеющие бурю, сразит вас грозный ураган». Ошалевшие читатели недоуменно повторяли:

- Ураган!
- Ураган?
- Ага, ураган!

Столицу и страну наводняли ложными сведениями и «квасно-патриотическими» воплями...

* * *

Гвардия, флот и армия двинуты монаршим указом бить врага. Санкт-Петербург провожал войска.

Полки стояли на плацах столицы — пышные и совершенно неподвижные. Линия строгих и чистых лиц казалась удручающе-однообразной. Фуражки с острыми тульями были надеты с давним умением — сдвинуты к правой брови, открывая чистые лбы. Кокарды сверкали точно

¹ В. И. Ленин, Сочинения, том 21, стр. 11.

над переносицами; ремешки были подтянуты вровень с нижним кантом околышей, и ни одна пылинка не портила блеска козырьков. Волосы подстрижены у всех, и сквозь оставшийся тонкий их слой просвечивала вымытая кожа.

На всех были новые, тщательнейшей пригонки, защитного цвета гимнастерки и шаровары. Плотно в кольца скатанные серо-песочные шинели сбегали с левых плеч и массивами охватывали и округляли торсы. Скатка закрывала каждому левую сторону груди, где обычно быть положено знакам отличия. Знаки отличия на муаровых ленточках: пунцовых, голубых, черно-оранжевых, лиловых и других — были, как разрешалось в данном случае, на открытой правой стороне груди и ослепительно сверкали.

Плечи каждого были залиты пурпуром, накладным и шитым золотом. Шевроны и пряжки пылали. Ремни и снаряжение пахли наилучше выделанной кожей.

Несчастные, вымуштрованные люди! Вдвойне несчастные оттого, что большинство из них еще не понимало своего несчастья, всей бессмысленности предстоявших им подвигов и жертв.

Полки всколыхнулись и замерли. Перед строем летали адъютанты и ординарцы. Водители полков разослали по площади команду:

— К церемониальному маршу!

Полки, в последний раз одетые и обутые царем, двинулись, держа про себя счет — сто шагов в минуту, на двадцать пять более противу каданса, коим шли в Париж в 1813 году. Полки шли, взмахивая правыми руками вперед до приклада, назад до отказа и высекая сапогами искры из камней мостовых.

Гвардия уходила на войну медлительным российским шагом... Санкт-Петербург провожал войска.

* * *

Платформа Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. На войну первыми уходят царскосельские полки.

Раскрыты двери товарных вагонов. На них надписаны мелом номера рот и взводов. На перроне построены отбывающие гвардейцы. Давно не стриженный человек в странной одежде подошел к солдатам. Он держал в руках доску из липового дерева, на которой было изображено мертвенное лицо оливкового цвета с усами и бородой

(доска была фабричного изготовления). Приподняв доску на уровень своего лица, человек заговорил нараспев:

— Христоролюбивые воины! Се перед вами святая икона Христа-спасителя, от царского чертога препосланная. Приимем святой сей залог благоволительного внимания. Значит, прилежно поискало отчестное сердце благочестивейшего государя для нас утешения и благословения на подвиг ратный. Господь вседержитель, владейте над нами, иже на небеси и на земли, во власти коего судьбы царств и народов. Обещает господь покой всем приходящим к нему. Обещает господь покой паче трудающим-ся, как вы теперь, до крови и смерти на поле-е брани и за веру, царя и отчество-о. Кроме оружия вещественного, коим врага истребим, вооружимся сердечной молитвою.

Сделав паузу, человек уже голосом повелительным добавил:

— Веруйте! — и пошел вдоль шеренги, покачивая доской вверх и вниз, вправо и влево. Солдаты крестились, глядя на доску...

— На-кройсь!

Фуражки были надеты одинаковым жестом набекрень.

— По вагонам!

Солдаты устраивались на нарах товарных вагонов. Снимали снаряжение, гремели котелками.

— Открыть доступ прощающимся!

Перрон залила нарядная толпа петербуржцев. Среди мужских соломенных панам, форменных фуражек, цилиндров и треуголок мелькали цветы и перья на шляпках дам. Они шли к офицерскому желто-коричневому вагону. Офицеры спешили им навстречу.

Пожилая дама надевала на шею склонившегося перед ней сына образок и часто-часто крестила его. Кто-то возбужденно сообщал последние новости... Раздавался смех, слышались чьи-то рыдания...

Надпись на офицерском вагоне гласила: «С.-Петербург — Вержболово». Кто-то дописал: «Берлин».

Бородатый солдат с усталым лицом наблюдал за господами. От офицерского вагона отошел мальчик в белом матросском костюмчике. Заметив солдата, он подбежал к нему. На бескозырке мальчика, несколько сдвинутой

назад и открывавшей светлые подстриженные челкой волосы, была георгиевская лента и золотом было выведено «Штандарт». Мальчик держался свободно и говорил повелительно:

— Папа гова'ит, что вы ско'о ве'нетесь.

Солдат вытянулся, как перед начальством:

— Так точно, вернемся.

— Вы п'ивезете мне 'ужье?

— Так точно, привезем.

— И пат'оны?

— Так точно, и патроны.

— Без пат'он нет смысла возв'ашаться.

— Так точно, нет смысла.

— Вы и себе достанете, чтобы было по'авну?

— Так точно, поровну.

Мальчик спросил:

— Как тебя зовут?

— Ягор Петров Сухов.

— А меня г'аф Михаил. Зд'авствуй.

— Здравья желаю, ваше сиятельство.

— Кто вас п'аважает?

— Так што никаво, ваше сиятельство.

— Почему?

— Так что кои в деревни, а кои в городе — так на работе.

Одна из дам оглянулась и, укоризненно покачав головой, позвала мальчика:

— Michel!

В солдатском вагоне гармонист запел с глубоким чувством:

Трансвааль, Трансвааль,
Страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Задумчиво слушали его солдаты. Хроменький барин подошел к вагону и, подозревая гармониста, протянул ему кредитку.

— Пожалуйста, сыграйте лучше что-нибудь веселенькое.

Гармонист рванул плясовую. В вагоне засвистели, затопали каблуками. На перрон вышел танцор. Он начал

плясать, держа прямо голову и корпус, лицо его было строго. Солдаты столпились в дверях, подошли и из соседних вагонов, некоторые присоединились к плясавшему. Из-под ног взлетали облачка пыли. Солдаты наблюдали с чувством, с толком — кто как пляшет. Дамы сдержанно улыбались: «Очаровательны эти солдатики». Плясуны строго молотили землю.

В круг танцующих вбежал юный подпоручик. Солдаты замерли, а подпоручик понесся, все ускоряя ритм танца, — желая быть лучше всех.

На него восхищенно глядели. Офицеры и провожающие подошли ближе... Дамы лорнировали его...

Подпоручик внезапно оборвал танец ослепительным поворотом... В наступившей тишине бородатый солдат восторженно загудел:

— Ну и сукин сын! Как пляшет!..

Мгновенное растерянное молчание. Общество замерло. Солдаты вытянулись. Лица офицеров помрачнели, они поспешно уводили дам... Подпоручик негромко спросил свою роту:

— Кто это сказал?

Молчание.

— Кто это сказал, шаг вперед!

Подпоручик повторил:

— Шаг вперед, я сказал!

Бородач сделал с левой ноги шаг вперед.

— Хам! Забываешься?

Солдат стоял навытяжку.

Подпоручик замшевой перчаткой от «Боз Сарда», пропитанной духами любимой, привстав на цыпочки, больно хлестнул бородача по лицу.

— Проси прощения!

Молчал солдат.

Подпоручик хлестнул еще раз.

— Не понимаешь?

Молчал солдат и, меняясь в лице, пристально глядел на маленького подпоручика.

Мягкий тенорок подпоручика стал неприятно визгливым:

— Говорить не умеешь? Разучился? А? Языка нет?

Подпоручик еще раз хлестнул солдата...

По перрону бежали простоволосая женщина с кульком в руках и мальчик. Они бросились со слезами к бо-
родачу:

— Тя-тя-а...

— Сеничка!..

Мальчик, маленький курносик, грозил подпоручику кулачком:

— Чево дересся!.. Чево дересся!

Женщина плача протягивала мужу кулек.

Солдат стоял вытянувшись, глядя, как полагалось, на подпоручика.

Подпоручик нахмурился.

— В дороге разберемся, — и отошел...

Горнист протрубил сигнал. Раздался заунывный долгий гудок паровоза. Женщина повалилась мужу в ноги, обнимая его сапоги. Солдат, поднимая жену, что-то хотел ей сказать, слезы текли по щекам его, но унтера закричали:

— Сади-и-сь!

И бородач побежал к вагонам.

— Тя-ать, а тя-ать... Тятинька-а-а...

У женщины вырвался крик, полный беспредельной тоски:

— Сеня, мила-ай, Сеничка-а-а...

Мимо шли вагоны и гремело потрясающее, отчаянное «ура».

Женщина рыдала невыносимо. Рыдал и мальчик, прижимаясь к матери.

Поезд ушел... По опустевшему перрону мерно шагал жандарм... Он увидел женщину, являвшую своим видом беспорядок... Жандарм подошел к ней, приподнял ее, поставил на ноги.

— Тетка, прекрати, слышь, прекрати.

Постепенно она стала затихать...

Дрожащим, растерянным голосом женщина спросила:

— Господи... милые мои... А гостинчики-то как же? Милые мои... Как же гостинчики-то?

Жандарм повел женщину к выходу, за ними плелся, утирая слезы, мальчик. Женщина прижимала кулечек к груди и все спрашивала и спрашивала:

— Как же ему гостинчики-то отдать? Как же отдать-то?

Жандарм подтолкнул женщину к выходу, поглядел ей вслед, потом, успокоенный, оправил портупею, подкрутил усы и вновь двинулся мерным шагом по перрону.

Санкт-Петербург провожал войска!

* * *

Гвардия и армия шли на войну.

Когда армия приняла запасных, она была поднята и поставлена на колеса. Армия оторвалась от своих казарм. Пять тысяч пятьсот эшелонов уносили армию к границам. Верная заветам старых лет, она двинулась в поход, утяжеленная громоздким и сложным имуществом. Она тащила его за собой, уподобляясь армиям прошлых веков, за которыми следовали тяжелые обозы со скарбом, живностью и прочими запасами. Каждая дивизия шла в шестидесяти эшелонах, в то время как каждая, молниеносно брошенная, германская дивизия шла лишь в тридцати эшелонах.

Из глубин империи к фронту, по дорогам различных профилей, различной прочности, различных радиусов и кривых, шла армия, меняя скорость в зависимости от характера участков, от мощности паровозов, от наличия двух или одной колес, от сложности прохождения узловых станций, забитых эшелонами и брошенными товарными составами.

Все эти трудности не учитывались начальниками эшелонов, требовавшими все более ускоренного и ускоренного передвижения войск. Они возмущались установленными графиками движения, так как пропускная способность, обозначенная сетью сложных линий и цифр, оскорбительно противоречила священным и простым суворовским понятиям: «Быстрота и натиск!»

Офицеры требовали от путейцев быстроты, быстроты и еще раз быстроты. Путьцы, скрывая раздражение и считая, что разговоры бесцельны, все же убедительно и спокойно объясняли офицерам:

— Вот, гс-да, максимальный абсолютный график — параллельный, вот максимальный график с сохранением поездов большой скорости, вот специальный график

и вот использованный график. Следите по вертикальной оси...

Офицеры, делая вид, что им все понятно, скользили глазами по путанице линий и снова настойчиво просили «ускорить» и «пропустить», а при возражениях раздраженно и упорно доказывали, что со средней скоростью в сорок верст в час эшелоны их полка свободно могли бы покрывать в сутки девятьсот шестьдесят верст и что возражать против этого не стоит, принимая во внимание военное время.

Путейцы, сдерживаясь, доказывали, что на движение грузового транспорта приходится семнадцать процентов, на технические остановки — тринадцать процентов, на опоздания — четыре процента, на погрузку и выгрузку — тринадцать процентов и на маневры — пятьдесят три процента времени. Этим и объясняется то, что непререкаемые и идеальные цифры, так обстоятельно приведенные господами офицерами, несколько видоизменяются практикой. Что же касается того, что эшелоны их полка прошли за последние сутки всего лишь триста пятьдесят верст, то это характеризует наивозможнейшую в данных условиях быстроту... Но офицеры требовали большего, убеждая путейцев в том, что эшелоны их полка должны во что бы то ни стало поспеть к первому сражению.

Подчиняясь магическим словам «военное время», путейцы в конце концов уступали и ломали график, бросая эшелоны окружными путями, стремясь к тому, чтобы войска безостановочно шли вперед, в результате чего пути следования полков увеличивались на сотни лишних верст. Даже там, где войска могли идти походным порядком, выигрывая время, а не теряя его на многосуточные ожидания, погрузки и прочее, их для скорости отправляли эшелонами. Только на восьми магистралях эта гонка дала выигрыш во времени. Сибирская, Самаро-Златоустовская, Сызрано-Вяземская, Александровская, Привислинская, Полесская, Либаво-Роменская и Московско-Виндаво-Рыбинская магистрали донесли о сем успехе и были удостоены благодарности. Но нигде не упоминалось о том, что срочно выброшенные у границ Галиции и Пруссии войска не нашли ни ожидаемых соседних частей, ни развернутых продовольственных баз, ни обслуживания и, лишённые своих тылов, оказались в труднейших условиях. Остальные войска из-за несоблюдения

графика шли с запозданиями туда, где уже были развернуты продовольственные базы.

Армии шли по двум направлениям.

По плану Генерального штаба главный удар русских войск должен был быть направлен на наиболее выгодный театр военных действий и против более слабого противника — на Австро-Венгрию. Одновременно Россия должна была выполнить свои обязательства в отношении Франции и начать на пятнадцатый день мобилизации наступление на Восточную Пруссию. Ставка приняла решение наступать на двух фронтах, не считаясь с тем, что к этому времени располагала лишь одной третьей всех вооруженных сил России, ибо мобилизация могла закончиться не ранее сорокадневного срока. Преждевременность начатого наступления неотмобилизованными и не имевшими хорошо организованного тыла армиями лишила русские войска возможности закрепить и развить успешно начатые операции. Ставка, убедившись в том, что основные силы Германии были брошены, против всех ожиданий, на Францию, не сумела использовать представившуюся ей возможность нанести скорый и наиболее губительный для противника удар — на Берлин.

Страна ждала обещанного быстрого победного марша армии. Хлеставший из ротационных машин поток газет кричал о скорых решающих сражениях. А в это время две трети армии империи Российской лишь начинали развертываться, занимая исходное положение у границ Германии и Австро-Венгрии. Плохие дороги тормозили движение, мосты не выдерживали веса тяжелых батарей и грузовых автомобилей. Дороги, по которым нужно было идти, были испорчены временем; для их ремонта требовались тысячи пудов щебня и сотни катков, к чему интендантство не было подготовлено. Со всех сторон возникали неожиданные требования, ранее неизвестные и не предусмотренные уставом. Военно-полевые карты не соответствовали местности, а местность — картам.

Основные силы — корпуса и дивизии — следовали к указанным им местам, и по мере их хода становилась ясной не только ошибочность направления марша, но и вопиющая нерешительность Генерального штаба. Армии вытягивались цепочкой, юго-западная часть которой — против Австро-Венгрии — взяла семь двенадцатых всех сил, а западная и северо-западная — против Германии —

пять двенадцатых. В угоду Франции русские войска распределялись почти в равной мере и на границе с Германией и на границе с Австро-Венгрией. Создав такое странное, противоречащее основам военного искусства распределение сил, Ставка не учла ни тактику врага, ни новые средства борьбы, ни силу огня германской артиллерии.

Блестяще начатое и выигранное русскими войсками Гумбинен-Гольданское сражение не принесло решающего успеха; более того, русская армия в Восточной Пруссии была в конце августа окружена и понесла тяжкое поражение. Причиной этому была неподготовленность русской армии и тыла в начале войны к длительному наступлению. На Юго-Западном фронте после кровопролитных боев русская армия оттеснила противника и к концу 1914 года заняла Галицию.

Вместо предполагавшихся «по плану» нескольких генеральных сражений военные действия свелись к ряду и крупных, и незначительных боевых операций, разбросанных по фронту, изнурительных, длившихся неделями, месяцами, годами...



ГОД 1915-й

Глава четвертая

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

I

По всей империи Российской все чаще и чаще на стенах домов и заборах пестрели лиловые и голубые листки с двуглавым орлом: «Призвать на военную службу...»

Уходя в июле 1914 года на фронт, войска оставили черные свои казармы — низкие, прокопченные сводчатые каморы со слепыми окнами и гулкими коридорами, затхлые склепы с погасшими перед иконами лампадами. В каморах остался неистребимый запах махорки, кожи, карболки и пота... Лестницы разрушались, сырость разъедала тяжелые камни, и сквозь трещины пробивались бледные ростки чахлой травы...

Здесь, в этих брошенных казармах, шло обучение запасных батальонов.

Каморы после ухода войск наполнились согнанными сюда запасными и ратниками ополчения. На плитах казарменных коридоров с рассвета до вечера муштровали белобилетчиков и никогда до этого не служивших сорокалетних, сорокапятилетних и даже сорокасеми-летних мужиков. Вечерами их загоняли в шевелившуюся от вшей соломенную труху на многоярусных деревянных нарах.

Это готовили, для пополнения армий, маршевые роты.

Запасных плохо кормили. Они пропитывались смрадом коптевших ламп. Запасные, в большинстве своем крестьяне, привыкшие к деревенским просторам, заболели от недостатка воздуха, затхлости и сырости

казарм. Они становились вялыми и апатичными, и вид их ничем не вызывал представления о военной силе.

В тускло освещенных каморах и в коридорах попрежнему раздавались команды... Унтера обучали запасных:

— Пад-равняйсь! Образованье выправки слушай! Гляди все! Пятки вместиа, носки разведены на ширину приклада. Промеж колен просвету нету. Голова ни опущена, ни вздернута, но держитца прямой по своей высоте над землей... Всякий видит: ты есть солдат и готов отдать свою жизнь за веру, царя и отечество... Чего ты кривисси, ну? Держи голову пряма, ну!

Человек злобно глядел на унтера и повторял:

— Не могу я, не могу я, не могу...

— Эт-то как?!

И унтер, еще сохранивший часть довоенного блеска, пораженный неслыханным ответом, впился глазами в говорившего.

— Мускул у меня поврежденный... В детстве ушибли...

Унтер отошел от запасного, недовольный тем, что приходится обучать разных калек. Потом ведь с него на смотр спросят: «Почему у такого-то солдата голова дергается, зачем дергается, чего глядел обучающий? И где он, этот обучающий? Подать его сюда!» А что обучающий может сделать, если гонят таких, прости господи, солдат. И снова голос обучающего размеренно бубнит:

— Слушай дале. Стойка. Что есть стойка? Стой так, чтоб у тебя кокарда, нос, разрез воротника мундера... М... м... Ну, мундер теперь не носят — это в мирное время носили. Ну, все одно, — штоб середка горла, поясная бляха... ну, теперь и блях не носят... ну, середка пояска — были на одной линии. Фуражечку сдвинь набекрень, лоб открытый... Не морщись, ты, — полено! Когда стоишь, шупай себя тихонько — где шов, по шву руки держи, штоб как засохшие были. Карманы штобы всегда пустые были, штоб не топырились. Не на то даны карманы, штоб топырились.

В строю беспрерывно кашляли — то один, то другой. Некоторых трясло от нудного, мокротного, глубокого, всхлипывающего кашля.

— Чего чахотку делаете? Тиха! Смирна! Давай отдаване чести. Рука штоб как на пружине летала, ладонь как досточка. Отдаване чести — дело серьезное. Честь на

ходу — стоящему начальнику, честь на ходу — идущему начальнику. Отдание чести с ружьем на ходу. Впрочем, про ружье у нас понятия нету, ружьев теперь не дадено... Ну, ладно... Обойдется пока... Главное имей лихой вид! Давай ответ громче, и глаз шток был пронзительный!

Голоса у обучающихся скучные, без былой игры и рычаний, стремительных ударений и бархатных вибраций. Унтера уже не видят в службе красоты и, лишь подчиняясь дисциплине и привычке, вторят давнее-давнее, ощущая появление в себе тяжких беспокойств и внутренних, впервые тревожащих, сомнений.

— Прости господи, да што же это?..

И в казармах ощущалась смещенная, искаженная войной, чудовищно разлаженная жизнь.

В ГАЛИЦИИ

II

Пешим порядком пригнали запасных в Галицию, к реке Дунайцу. Они расходились по частям, встречаемые командирами и духовенством...

В одной из бригад маршевиков¹ встречал священник. Он перекрестился, перекрестил солдат и сказал:

— Под крестом служим, крестом себя осеяем... Выпала вам радость служить в части, где блюдут веру... В других полках убиенных бросают, а у нас всех зарывают, и отпеваем каждого, и крест ставим...

Солдаты крестились, благодарили.

По фронту смущаясь прошел командир бригады, из запасных старичков. Когда к нему подошли представиться вернувшиеся из госпиталей на фронт раненые офицеры, он как бы извинился перед ними за то, что командует бригадой:

— Уж вы, дорогуши, не осудите, если что... Я старый вояка. Вы еще под стол пешком ходили, а я уж давным-давно офицером был. Хозяйством заведовал, на

¹ Маршевики, маршевые команды пополнения — команды из запасных, отправлявшиеся в военное время на фронт для укрепления полевых войск. То же наименование присваивалось командам новобранцев, отправлявшимся в войска с мест призыва.

пенсию вышел... А тут война... Опять заведовал хозяйством, да раз как-то остался за старшего, а тут без вас австрийцы нагрянули и, представьте, сдались в плен. Ну что ты скажешь! Успех, батенька, успех... Ну, настрочили в штаб, и оказался я в героях... Бригадой командовать приказали. Ну что ты скажешь!..

Командир подошел к солдатам и спросил, мигая слезившимися глазками, одного из маршевиков:

— Ну, как тебя зовут?

— Еремей Севастьянов, ваше высокородь.

— Так вот, Еремей Севастьянов, — с кем мы воюем?

— И с немцом.

— Так. Молодец.

— Рад стараться, ваше высокородь!

— А почему воюем?

Севастьянов виновато поглядывал и молчал.

— А за что все-таки воюем?

Маршевик мялся.

— Эх, дура-борода... А ну, подумай...

— За вер-царя-отечество.

— То-то.

Люди включались в размеренный порядок окопной жизни. Жили в землянках, таскали бревна, доски, колья и проволоку, укрепляли позиции. Вернувшись, варили чай и торопливо, обжигаясь, пили его из металлических кружек.

По субботам их водили в баню. Фельдфебель из старослужащих досадливо останавливал строй и объяснял:

— В ногу, в ногу ходи! Без ноги теряетца первоначальный смысл!

В одной из лучших хат, в нескольких верстах от позиции, помещались канцелярия и казначейство части. Бухгалтер, из запасных, с Иваново-Вознесенской мануфактуры, которого почему-то звали «дяденька», грелся на солнышке у крыльца, кормил остатками супа галицийских ребят, бледных, с большими животиками, и гладил их по головкам:

— Внуки́, внуки́... Эх, господи... Милые вы мои...

К службе «дяденька» относился на редкость исправно: составлял ведомости, списки и требования, которые направлялись по назначению.

В полевых казначействах и канцеляриях работа велась тихо и аккуратно, творились великие хозяйственные дела.

Заприходовывались люди и кони точно и аккуратно. Выводились же в расход при смертях, ранениях, контузиях и пленениях с опозданием. Опоздания эти давали разницу между наличным составом и списочным. По списочному составу востребовывались довольствия: денежное, вещевое и прочее, и разница в составе доходила порой до тысячи — двух тысяч и трех тысяч человек на полк. Списки, которые шли в интендантство, доставляли, таким образом, благосостояние, а списки о потерях, которые шли в штабы, вызывали награды, сочувствие и соразмерное облегчение боевых тягот, ибо на пострадавшую часть нельзя возлагать задач, подобных тем, кои можно возлагать на укомплектованную и свежую. И, таким образом, по спискам получалась разница на всю армию в сотни тысяч штыков. Разница обходилась в миллиарды рублей тем, кто платил налоги на военные нужды, то есть семьям живых и убитых, раненых, контуженных, попавших в плен и пропавших без вести солдат. Сумма эта превышала сумму в три с четвертью миллиарда рублей, выплаченных правительством в качестве пособий семьям мобилизованных.

Такой порядок давал по сто и более тысяч экономии наличных денег частям. Эти скрытые от казны капиталы увеличивались дешево приобретенными конями, бричками, фазтонами, фурманками, скотом, тканями и продовольствием. Все это числилось как «частное имущество». Отягощая тылы и лишая их быстроты действий, оно радовало благоприобретателей. Денежные ящики по негласному принуждению охранялись особо: заведующие хозяйствами отбирали дюжину степенных, хозяйственных мужиков из запасных. Им предлагалось: либо хранить и защищать до смерти денежный ящик в обозе второго разряда, либо... на позицию. Мужики клялись помереть, но ящики сохранить и неотлучно при них находились.

Тысячи стяжателей ждали конца войны, чтобы привезти домой награбленные ими капиталы и пустить их в оборот.

«Дяденька» заботился и о раненых войнах. Забота эта заключалась главным образом в коммерческих комбинациях, осуществлявшихся им совместно с частью персонала полевого госпиталя. Вместе творили они свои темные дела и жили плотной артелью, наживаясь и за счет раненых солдат. Многие раненые совсем не ели или ели в пол-ложки. Не пропадать же добру! Добро всегда добро, на добре добро нажить можно! Ежели швыряться добром, так и прокидаться можно! Суп, кашу, корки прибирай! Прибрал — свинью, кабана купи. Купил — корми! Они вес и приплод дадут. Жаловаться нельзя, чего бога гневить...

Выдаваемый харч артель скармливала свиньям. Сами ели покупное сало, колбасу, помидоры...

Некоторые санитары снимали с раненых, с умерших, даже с ампутированных рук жалкие алюминиевые колечки с нацарапанными датами боев, с инициалами... Это давало тридцать — сорок копеек доходу с кольца, так как в России многие господа интересовались сувенирами с театра военных действий и охотно их покупали. Старые сапоги, обрезки штанов, портков и рубах шли также в дело: их скребли, мыли и спускали галицийским портным и сапожникам.

Когда в местечке развернулся госпиталь, туда бежались местные жительницы. Они жались к стенам, — тощие, голодные, с мисками в руках. Им плескали иногда остатки супа.

Однажды «дяденька», пошептавшись с санитарями, собрал женщин и предложил им:

— Работать будете?

— Дзенькую, пан!

— Харчи дадим.

— Цо пан муви?

— Попропадаете! Жалко вас. Работу дам. Только вот: жалованье какое в военное время? Нет жалованья. Русский солдат — герой, и тот रुपь в месяц получает. За паек работать будете.

Тощие женщины шли на его условия. Они прислуживали в канцелярии, в госпитале, ухаживали за скотом, убирали. В госпитале их подкармливали. Они напивались румянцем, хорошели, обретали свою женскую силу и быстро забывали о голодных днях.

Постепенно женщины, спасаясь, отдавали себя во власть «артели» (санитарам, «дяденьке» и прочим). «Артельщики» под мудрым руководством «дяденьки» и ему подобных богатели и обрастали жиром, иногда даже забывая о близости позиций. О ней напоминали лишь раненые, которых привозили к ним с фронта. Тогда «артельщики» сокрушались:

— Народу сколько бьют, грех какой! Земле, иначе, не пропадать ведь, купить ее надо, у тех, у кого дома мужиков не будет... А они, сырые, — на нас работать будут. И все ладком пойдет. Мирно время воротится...

«Артель» либо упорно и поочередно выживала совестливых и честных, либо ловко опутывала их и ставила перед необходимостью покрывать их дела. Непокорные, а их было немало, отправлялись на позицию.

«Артель» была с виду исправная, работающая, дисциплинированная. «Артельщики» были гостеприимны, добры, сердечны и богобоязненны. У них был любимый начальством бравый, мужественный молодецкий вид, почтительность, предупредительность и постоянное довольство всем.

«Артельщики» хранили в тайне свои «дела», но у каждого из них были свои собственные планы. Каждый член этого вынужденного временного «содружества» был бесконечно далек от других. Каждый прятал один от другого нажитые им грязные свои деньги. Денег накоплялось все больше и больше, а цены все ползли и ползли вверх.

— И чего только война тянется, одно разоренье, прости господи! — скулили они в страхе, что время обесценит наворованное ими...

По ночам в своих чисто убранных и отгороженных полами углах санитары и канцелярские, тая дыхание и прислушиваясь к соседям, бесшумно извлекали из потайных мест пачки кредиток и мешочки с уже исчезнувшим из обихода серебром. Некоторые накопили и золотые. При слабом свете лампад люди, пугаясь друг друга до содрогания сердца, вновь и вновь считали, слюнявя пальцы, свои деньги. Они любовались, на особо отложенных крупных кредитках, изображениями царей, ставших им близкими, своими, как бы соучастниками в их делах.

Иногда слышались вздохи и бормотанья с приступиванием. Это «артельщики» открывали свои души богу, иступленно каясь и прося отпущенья грехов.

По ночам, после молитв или до них, играли в очко, сгорая от надежд еще умножить свой капитал. Играли тихо, сосредоточенно, медленно вытаскивая карты.

К «дяденьке» приходила женщина. Их ночные встречи были длительны, полны враждебных шепотов.

— Глаза у тебя злые или тоскливые?

— Нет, не злые...

— Я говорю — злые...

«Дяденька» пощупывал на ней платье и недовольно бурчал:

— Эх, разве это матерьял!.. Вот был в России матерьял, матерьялам матерьял: драдедам, кастор, шевьет, фланель, драп... Или — велюр, флаконэ, ратинэ... Еще — велинэ... А какой легкий товар был... Боже ты мой!.. Люстрин, креп, репс, атлас... Кашемир беж... Муслин де лен, гренадин... А газ и вуаль? Штуку возьмишь — воздух, как детские волосики мягкие, ей-богу... А это разве матерьял!.. Довоевались!

Сказав, вглядывался в женщину:

— Ну, почему молчишь?

Женщина вздыхала и попрежнему молчала. «Дяденька» брал лампу, оглядывался на окно, завешенное палаткой, и, подсев к женщине, говорил ей:

— Так-то. Смотри! Ни с кем не занималась? Если занималась, изложи лучше сама, а то хуже будет. Такие происшествия могут тебе нехорошее причинить. Сообщи, например, начальству: подозреваю, мол, ее в сношениях с неприятелем. Свидетелей позову. Как думаешь, найду я свидетелей, а?.. Ну, не молчи!

— Найдете...

— Ну вот, видишь... Найду я, говорю, свидетелей. Дело начнется по обвинению тебя в шпионаже. Папочку заведут за номером, а в других случаях и не заведут, а просто... Ты что-то худеешь... Не люблю, не люблю. Сказал тебе — ешь. Тебе наши офицеры нравятся?.. А? Ну, не молчи. Нравятся?

— Нравятся...

— А они тебя ни за что ни про что убить могут.

То ли дело я, мне тебя сердечно жаль, к людям я мягок. Заботиться люблю. Разве плохо я о тебе забочусь?

— Нет.

— Люблю и детские книжки почитать. Радостные они. Подвинься. Ну, то-то... Давай с господом...

По землянкам ходил с фонариком командир. Он проверял, как спят солдаты: в сапогах или разувшись. Несмотря на то, что передовая позиция находилась в двадцати верстах, командир всегда опасался непредвиденных действий со стороны противника или приезда начальства, в каковых случаях надлежало быстро выходить одетыми по всем правилам формы.

В лесах пугливо мерцали огоньки, которые вызывали зловещие слухи о шпионах. В действительности же в лесах укрывались галицийские крестьяне, спасая себя и свой скот.

По полям, безжалостно разворотив их, тянулись заблаговременно подготовленные линии тыловых окопов. Это были широкие канавы. Сделанные из толстых бревен козырьки закрывали верх окопов.

На западе грохотала артиллерия: тяжелые шрапнели рвались у далекой кромки леса. С интервалами в двадцать минут било тяжелое, могучее орудие.

При орудийных вспышках Карпаты показывали черные зубы своих хребтов. Гул раскатывался по снежным полям. В брошенных замках бежавшего польского панства гулял ветер, из окон нижних этажей высывали морды обозные лошади. Солдаты жгли в каминах остатки мебели — дубовой и красного дерева...

* * *

Армии было дано указание: «Ближайшей задачей вашей будет переход через Карпаты с выходом в Богемию и Венгерскую равнину».

И войска шли на передовые, вытягиваясь в неизменный линейный порядок. Шли по Галицийской равнине, не оставляя за собой резервов, ибо это считалось предосудительным, так как резервы могли оказаться не использованными в бою. Наследие времен непродолжительных сражений!..

В одном из польских замков, достаточно удаленном от передовых позиций, разместился штаб армии. Здесь же жил и командующий дивизией, старый генерал Субботин. Сославшись на необходимость в покое продумать план предстоящего наступления, он заперся в своем жарко натопленном кабинете и сладко дремал в тишине, развалившись на диване. В это же время адъютант генерала упорно доказывал какому-то полковнику, не желая слушать его объяснений, что его высокопревосходительство очень заняты и никого принимать не велели. С трудом полковнику удалось его перебить:

— Господин адъютант, доложите его высокопревосходительству, что его сын вернулся с передовой и желает видеть отца.

Пауза... Растерявшийся адъютант жестом предложил полковнику следовать за ним. У двери кабинета адъютант откланялся.

Полковник тихо постучал в дверь и, не дождавшись ответа, вошел в кабинет. Старик проснулся, заслышав шаги.

— А, это ты! Здравствуй, дорогой. Зачем пожаловал?

— Отец, у меня большие потери в людях.

Старик равнодушно слушал сына. Но полковник, не замечая или не желая замечать равнодушие отца, пытался убедить его в полной нелепости, больше того — преступности готовившегося наступления.

— Снарядов нет, люди не те, что в четырнадцатом году — на маршевиков надежда плохая. Соседние дивизии ненадежны, у многих солдат даже винтовок нет!..

Равнодушно и нетерпеливо слушавший его генерал встал и перебил сына:

— Григорий, за артиллерийское ведомство и за соседние части нам в ответе не быть. Нам велено наступать. Этим все сказано! Не мне вступать в споры с Генеральным штабом. Пойдем обедать, голуба моя.

* * *

По ночам Галицийская равнина оживала.

Приводилась в движение сложная механика тылов: полевого и общевойсковой. Определялись районы пути и пункты питания частей, подвозились и размещались

запасы. Предстояло в условиях весенней распутицы ремонтировать испорченные австрийцами при отступлении дороги, устраивать обходные пути, крепить мосты, распределять в узловых железнодорожных пунктах запасы. Русским войскам, которые находились в Галиции в количестве восьмиста сорока восьми — девяти сот батальонов, то есть более миллиона человек, и превышали в десять, а то и более раз «великую армию», дравшуюся у Аустерлица и Ватерлоо, не хватало боевого снабжения. Это вызывало большую тревогу командиров.

Львов был центральным узловым железнодорожным пунктом, от которого шло пять железных дорог по всем направлениям Галиции. Он был забит поступающими составами. Нормальный обмен затруднялся. Равнина Галиции постепенно заполнялась лазаретами, складами, базами, магазинами, хлебопекарнями, транспортными колоннами, ремонтными мастерскими, артиллерийскими парками. Снабжение последних снарядами было крайне затруднено. В русской армии начинался чудовищный «снарядный голод».

Миллионная армия требовала сотни тысяч пудов продовольствия и фуража. Армия должна была иметь многодневный запас продовольствия в предвидении близости сражений. Только трехдневный запас мяса требовал наличия шести тысяч голов скота.

Необходимо было планомерно, по графикам, двигать всю систему вперед по мере продвижения армий, подводя в кратчайший срок все нужные службы к новым линиям корпусов, восстанавливать мосты, водокачки, виадуки, стрелки, депо...

Все это было почти недоступно для империи Российской, ибо страна не имела ни необходимого количества железнодорожных составов, ни достаточного наличия железных дорог. Отсталая промышленность России, находившаяся в постоянной зависимости от Запада, не справлялась с задачами, которые ставили перед ней условия войны. Не было достаточного количества не только снарядов, но и винтовок. К тому же военный министр Сухомлинов — немецкий шпион (как это выяснилось позже) — срывал как мог снабжение фронтов продовольствием и оружием.

Штабы осуществляли передвижения армии.

Серые плотные колонны солдат двигались по шоссе, ведущему ко Львову. Корпуса, стоявшие в резерве после осенних боев, начинали кампанию 1915 года. Полки еще сохранили кадровиков, но были сильно разбавлены маршевыми ротами из запасных и новобранцев осеннего призыва.

Десятки колонн 3-й и 8-й армий — гвардия и сибирские стрелки — шли разными скоростями по шоссе и параллельным дорогам Галиции, делая усиленные переходы, втроене перекрывавшие уставные нормы, и располагаясь, в минуты кратких дневных привалов, тут же, в дорожных канавах.

Кое-как были рассчитаны направления и места стоянок всей этой лавины, двигавшейся массивом к Карпатам и оседавшей на ночь в халупах и стодолах¹. В так называемых тесных районах квартирования приходилось по шестьдесят человек на избу — в отличие от неведомого войскам, но указанного начальством пункта устава, по которому на одного человека полагалось не меньше кубической сажени воздуха.

Там же, где люди не вмещались в стодолы и топтались на холоде, ожидая приказаний, штабы, устроившиеся в фольварках — господских усадьбах, — приказывали им располагаться бивуаком. Солдаты расстилали, следуя передаваемому из поколения в поколение солдатскому правилу, половину своих шинелей на снегу, ложились на них, тесно прижавшись друг к другу, и укутывались другой половиной шинелей. В темноте по снежным полям дребезжа пробирались походные кухни и кормили остывшим серым супом вылезавших из-под шинелей, дрожавших от холода солдат. Горели костры, сложенные из разломанных изгородей.

В деревнях галицийские крестьянки уже не молили солдат не трогать их имущества. Старики в кожаных и остроконечных черных барашковых шапках теснились в халупах, куда вваливались целые взводы усталых и вороватых от голода солдат, и мрачно, украдкой на них поглядывали.

В халупах тускло светили керосиновые лампы

¹ Сараях.

и свечи... Взводные, забрав у богатых солдат деньги, вызывали из сеней новобранцев. Им наказывалось «в два счета разжиться чего есть в деревне и доставить». Новобранцы покорно бегали по забитым людьми халупам, натыкались на таких же посланцев из других взводов. Стремясь опередить их, они выкрикивали заученные на польском языке слова: «Продай куру» (или гуся, или картошку) — и совали бабам деньги. Бабы равнодушно, безжизненно твердили: «Ниц нема». Тогда новобранцы, выполняя приказ, воровали учуянных во тьме кур или силой отнимали горшки с супом. Солдаты бежали обратно с добычей и, сами голодные, покорно отдавали ее фельдфебелям и взводным. Развалившись на хозяйских кроватях, взводные и фельдфебеля, испив чаю и съев принесенный им харч, блаженно погружались в сон. На лавках укладывались прислуживавшие им, на полу спали хозяева, а в сенях на холоде — новобранцы.

Тьма и тишина воцарялись в деревнях, и только часовые и дневальные шагали по скрипевшему снегу неизменным мерным российским шагом.

На рассвете солдаты вставали. Ежась от холода и зевая, шарили под шинелями. Каждый доставал сапоги, ремни, подсумки, ранцы, патронташи, баклаги — все свое солдатское сложное имущество, весившее полтора пуда. Солдаты приносили в котелках воду, набирали полные рты и, выпуская воду струйкой на ладони, терли лица мокрыми руками.

В халупах топились печи, женщины варили капусту и картофель. Новобранцы протискивались из сеней к печам и, чтобы погреться, тихо, скромно помогали женщинам. Замерзшие безусые парни протягивали руки к огню и грели их у теплых печей. Взводные лежали в ожидании еды и снисходительно делали вид, что не замечают новобранцев. Потом начальство вставало. Прислуживавшие сливали им воду и подавали ярко-розовое мыло и полотенце. Помывшись и помолившись важно и истово, ибо рядом находились подчиненные, коим надлежит подавать пример, фельдфебеля и унтера садились за столы, на которых уже стояла приготовленная женщинами скудная еда.

Роты во дворах кипятили на разведенных кострах воду и пили ее из алюминиевых и эмалированных кружек, макая в кипяток мерзлый хлеб.

В фольварке вестовые и денщики сервировали офицерам завтрак. Экономическое офицерское общество отпускало по требованиям офицерских собраний по прейскуранту ассортименты вин, сыров, колбас, ветчин, маринадов, консервов, печений, варений, экстрактов и фруктов (по сезону) — по пониженным ценам.

Роты стояли уже во взводных колоннах, покинув халупы, стодолы и примятые ими снежные ложа. Роты ожидали выхода офицеров из собрания. Офицеры выходили бодрые, веселые, согретые чаем с красным вином, и весело здоровались с людьми.

Раздалась обычная команда: «Справа по отделениям, шаго-ом арш», — и колонны солдат снова двинулись вперед, на Запад... чтобы начать на громадном фронте новые бои за вторжение в Венгрию.

Отменно ровно колыхались штыки винтовок, взятых на ремень на левые плечи. Лавина войск двигалась к Карпатам. Полки и дивизии вытягивались к магистральной дороге и при встречах рассматривали друг друга ревниво, но с уважением. Команды заставляли людей подтягиваться и выказывать молодецкий вид.

Полки шли по шоссе, усаженному столетними тополями, по которому проходили русские полки в наполеоновскую войну. Но тогда деревья были молоды и тонки.

При приближении к населенным местам неслись новые команды. Батальоны и роты строже брали интервалы и тверже давали шаг. Их снаряжение еще было добротное. Черные ранцы из непромокаемой клеенки блестяли за спинами гвардейцев. Патроны были в кожаных крепких подсумках и черных непромокаемых патронташах. Наплечные и поясные ремни лежали ровно. Ритмичный шаг давал какое-то успокоение. Близость боев меньше тревожила. В них не вызывали ни жалости, ни испуга вопиющие следы осенних боев, уничтоживших жизнь многих деревень и местечек. Полки шли, радуясь проглянувшему солнцу и, быть может, последним спокойным часам своей жизни.

Под снегом лежало солдатское кладбище (осени 1914 года). Дожди размывали надписи на семиконечных крестах. Полки шли, заливаясь лихими песнями, мимо кладбища, мимо старых австрийских окопов и заграждений из ржавой, колючей проволоки, разрушенных русскими солдатами осенью 1914 года. Было приказано петь при виде кладбищ, — «солдатам надлежит исполнять, а не рассуждать», — и полки послушно пели, и песнь торжественно стлалась по снежным равнинам:

Колонна за колонной
Полями, лесом, вброд
Могуче, неуклонно
Гвардия идет...

Так прошли Броды, Злочев, пересекли поперечные шоссе, тракты и проселки, приближаясь к Львову. Приблизившись к нему, дивизии приубрались и дали лучший вид.

Львов! Корпуса вошли в город. Повсюду русские городовые, русские вывески... Полки остановились на окраине города, у вокзала, ожидая эшелоны. В город ушли только офицеры. Был солнечный день. Офицеры гуляли по главным улицам, щеголяя своей беспечностью перед предстоявшими боями, и, самообольщаясь, думали, что скоро Венгрия будет у их ног.

Ночью к платформам подошли эшелоны. Полки грузились... Офицеры расположились в желто-коричневых вагонах второго класса. Фельдфебеля, унтера и прислуживающие им новобранцы первые вошли в поданные теплушки. Прислуживающие вытерли верхние нары для начальства — лучшие места, разостлали поверх досок палатки. Солдаты занимали оставшиеся места — старослужащие на нижних нарах, а новобранцы на полу.

Корпуса покидали Львов ночью, устремляясь дальше по сохранявшимся в тайне маршрутам. Эшелоны уходили из Львова один за другим. Корпуса пролетели Самбор, Яворов, Ярослав; шли к Перемышлю!.. И дальше — на Венгрию!

Войска оставляли равнины Галиции, стремясь к горным хребтам Карпат. Весна растопила снег. Солдаты ловили в мартовском ветерке первые дуновения весны. Весна предвещала им бои, бои, бои...

После упорных боев двадцать второго марта был взят Перемышль. Это был последний крупный успех русских войск в 1915 году.

Огромные потери и все более возраставший недостаток артиллерийских запасов диктовали необходимость приостановить наступление и закрепиться на занятой территории. Однако Ставка, ни с чем не считаясь, торопясь закончить начатую операцию, требовала продолжения наступления во что бы то ни стало и скорейшего вторжения в Венгрию. Германское командование, учтя создавшуюся обстановку на Юго-Западном фронте, перебросило в помощь Австро-Венгрии свои лучшие силы, в том числе и прусскую гвардию. Германия и Австро-Венгрия готовили контрудар, заключающийся в прорыве Юго-Западного фронта в районе Горлицы — Громник. На прорыв была послана и 11-я германская армия. Прорыв должен был быть осуществлен под командованием генерала Макензена. У Макензена количество пехоты в два раза превышало численность русских войск, а тяжелой артиллерии было больше в сорок раз.

ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА

III

В ночь на 2 мая 1915 года на участке Тухов — Горлица, к востоку от реки Дунаец, началась немецкая артиллерийская подготовка. Она длилась всю ночь и утро.

Безостановочно летели, падали и рвались снаряды. В окопах прижавшимся к земле солдатам слышался подземный гул... Протекавшая вблизи окопов река покрывалась видимой даже в темной ночи пеной. На реке вздувались и лопались колоссальные пузыри... В свете разрывов сверкали водяные столбы. Водяная пыль, смешанная с кислотами и газами, покрывала все. На глазах людей откалывались куски берега. Прибрежные скалы превращались в искрошенные массы камня, взлетающие от разрыва снарядов на воздух, чтобы обрушиться черным дождем на землю. Постепенно небо заволокло дымной пеленой. Пропали ориентиры. Перестали работать телефоны и телеграф.

Лес на участке Сурского полка шевелился, как шерсть на спине гигантского животного. С грохотом рушились

сосны. Все подавляющий гул не давал возможности слышать слова команды... Металлический шквал уничтожал заграждения и выворачивал рельсы подъездных путей.

Перепаханная снарядами земля дымилась. Телеграфные столбы взлетали на воздух, точно их выпирало из земли невидимой силой. На местах взрывов оставались глубокие воронки, зиявшие черными дырами на фоне свежей весенней травы. Солдатам казалось, что началось светопреставление... Раненых и убитых не успевали уносить. Санитары падали вместе со своей тяжелой ношей, раненные насмерть. В течение нескольких часов каждое легкое орудие немцев давало до семисот выстрелов, а каждое тяжелое — до двухсот пятидесяти. Обстрел шел неукротимый, безостановочный, ибо остановить его было *нечем*. Русская артиллерия молчала — снарядов не было... Командирам гаубичных батарей запрещалось, под угрозой полевого суда, расходовать больше десяти снарядов в день!

В полевом тылу катились автомобили, мчались конные ординарцы, надрываясь, пыхтели мотоциклетки. Небольшими взводами пробирались куда-то драгуны. Плелись из последних сил раненые. Проезжали телеги, груженные мертвецами.

Прокатился слух, что Горлицу уже взяли немцы. Говорили, что штаб корпуса эвакуируется. На много верст растянулись по шоссе обозы, парки, понтоны, саперы, телефонисты. Гул орудий временами тонул в скрипе и грохоте колес. Изредка, отжимая бесконечную вереницу людей к самой обочине дороги, с треском и ревом мчались грузовики. Лошади испуганно ржали, храпели, становились на дыбы. Все сливалось в один тревожный, отчаянный, ни на что не похожий гул. Навстречу попадались обозы с хлебом, сеном и битым скотом.

Это отступали российские войска, потому что германско-австрийские войска предупредили их удар и перешли в наступление первые.

Лучше организованная и более мощная армия Германии была более слабую и отсталую армию царской России.

Наносившая удар по Горлице германская 11-я армия включала: прусскую гвардию, сводный корпус, 41-й резервный корпус, 6-й австрийский корпус, 10-й артиллерийский корпус. Таран Макензена сразу сравнивал с землей первые линии русских окопов.

Внезапность удара была ошеломляющей. Казалось, что перемещаются покровы земли, что на восток обрушились Карпатские хребты. Гул разрывов, повторяемый эхом лесов и скал, повергал солдат в ужас. Ураганный огонь тяжелой немецкой артиллерии кромсал людей. Масса солдат и офицеров погибла в этом неравном бою. Остальные спаслись бегством.

Некоторые офицеры пытались удержать отступление. Ища выхода, они растерянно вспоминали навсегда со школьной скамьи врезавшиеся в память исторические примеры:

«Цезарь остановил бегство легионов, выйдя им навстречу и спокойно сказав: «Не в ту сторону, солдаты, наступаете»... «Суворов во время одного отступления бежал рядом, смешил солдат и кричал: «Заманивай их, братики, заманивай!»... «Полковник командовал бегущим: «Стой, скидывай сапоги». Часть остановилась, начала покорно разуваться. Остановка сейчас же отрезвила людей».

Но исторические примеры на данном этапе были бесполезны. В памяти офицеров мелькали обрывки знаний о панике: «Бывают паники: а) одиночные, б) отдельных частей, в) целых армий»... Ужас, ужас! «По пространству: а) паника на отдельном участке, б) на значительном участке театра военных действий».

— Сто-ой!.. Куда вы?..

С повозок, сшибая и давя людей, на полном ходу обозники сбрасывали привезенные ящики с патронами, тюки прессованного сена, продукты и убегали, припадая к земле при пугающих звуках разрывов.

Реальный мир исчезал... Его искаженные очертания, звуки, цвета сеяли панику.

Медленно передвигавшиеся в тылу пленные, взятые три дня тому назад, казались прорвавшимся противником. Серо-голубые шинели пугали.

Оглушенные разрывами кони несли, переворачивая все на своем пути... Солдаты задыхались от усталости и

временами останавливались. Коня давили их в своем безудержном горячем беге... На полях в последних судорогах бились раненые лошади. Где-то вырвался табун лошадей... Отчаянно трубили горнисты, пытались привычными звуками остановить их, но звуки горнов тонули в грохоте орудейной пальбы.

Движение было неравномерным. Малообстрелянные новобранцы бежали скопом. Старые солдаты двигались с передышками, не по дорогам, зная, что это опасно, а по полям — в одиночку...

Местами над бегущими уже рвалась шрапнель. Немцы преследовали их по пятам.

В ярости и ожесточении, боясь за свои репутации, в штабах начали принимать срочные меры. Из Ставки летели шифры:

«Приказываю вашему превосходительству, вашему высокоблагородию принять во внимание...» и т. д.

Был дан ход испытаннейшему способу насильственной системы — устрашению.

Унтер-офицеры бежали с остатками своих отделений. Они неожиданно наткнулись на разъяренного командира полка. Полковник выхватил револьвер и крикнул:

— Кто позволил оставить окопы?

Вопрос был явно абсурден, ибо полковник сам знал, что позволений таких не было и не бывает, просто часть была выбита и остатки ее уходили от истребления, не видя помощи и связи с руководством.

Унтер-офицеры молчали.

— Хотите жить — кругом — арш!

Стрелки покорно пошли обратно, а командир полка остался в безопасном укрытии и следил, как тонкая цепочка двигалась на запад. Командир торопливо кричал в трубку: «Мой полк начал задерживать противника». Провод донес чьи-то изумленные вопросы...

Бинокль показывал настойчивое движение цепи, постепенно выросшей. Повидимому, самый факт возможности движения в обратную сторону останавливал многих отступающих пехотинцев.

Цепь быстро углублялась в расположение противника. Телефон передавал лихорадочные сообщения о начале контратаки. С соседнего пункта позвонили:

— Вы видите?
— Видим. Поздравьте нас!..
— С чем?
— Как с чем?
— Вы разве не видите, что цепи ваших солдат бросили винтовки и у многих подняты руки?

Солдаты, выдохшиеся в неравном бою, понявшие цену собственной крови всю чудовищную преступность командования, гнавшего их на верную смерть, нашли в себе мужество пойти в контратаку. Но вскоре, убедившись в том, что и на этот раз ни помощи, ни руководства нет, они сдались в плен, предпочитая его встрече со своими командирами.

Командующий дивизией генерал Субботин считал, что «надо же что-нибудь э-э... сообщить в штаб армии». Начальник штаба, повинувшись приказанию, начал диктовать уверенным голосом:

— «Собрав части дивизии, отошедшие с позиций под натиском превосходных сил противника, я двинул их в контратаку. Встреченные...»

Начальник штаба вопросительно умолк. Командующий пожевал губами.

— Гм... Да...

— Убийственным огнем встреченные, ваше превосходительство?

— Я думаю: «...убийственным огнем, части залегли».

Штабные офицеры подумали о цепях, ушедших в плен.

— Эм...

— Указать на соседей следовало бы, ваше превосходительство?

— Я тоже так думаю, голуба...

— «Соседняя дивизия отходит, обнажая фланг и ставя нас в крайне тяжелое положение. Однако задерживаюсь на занятом рубеже. Расположил штаб вблизи цепей для личного руководства...»

Штабные офицеры вслушивались в звуки ночи, не делая усилий выйти, найти своих людей, отдаваясь сырому теплу халупы, безволию...

От некоторых частей, засевших в неведомых лощинах и героически устоявших против натиска немцев, шли донесения;

«Номер 40 — северо-западнее леса у господского дома. Несу потери. Подпрапорщик ранен. Немец делает перебежки, обстреливает. Я окопался, прошу прислать поддержку, кружится голова, ранен я, прапорщик...»

Прапорщики и подпрапорщики, брошенные на произвол, взывали к тем, кого они привыкли считать сильнее и умнее себя, — к штабу, к командующему своей дивизии... Лежавшим под мокрыми деревьями подпрапорщикам все еще казалось, что их штаб — это нечто властное, разумное, что им помогут, пришлют пополнение, дадут необходимые указания...

Но командующему и штабу было не до них: сражение проиграно, и в первую очередь надо оправдаться...

Начальник штаба, освоившись, бесстыдно продолжал диктовать донесение. Генерал Субботин поддакивал ему. Листки полевой книжки покрывались ровными строчками, уверявшими высшее начальство в том, что войска держатся доблестно, что их подводят соседи, что необходима поддержка, что все меры для удержания позиций приняты. Тут-то полковнику и пригодились сообщения героических прапорщиков и подпрапорщиков, моливших о помощи.

Адъютант генерала вышел на двор и, вздрогнув, отпрянул, схватившись за кобуру. В темноте навстречу ему шел человек, несший в руках какие-то тяжелые, грохочущие предметы. Немец! Разведка!

— Стой, кто идет?

— Свои... Чё орешь?

Подосевший лягнул обыкновенными солдатскими котелками, поставил их у колодца и стал крутить колодезное колесо. Солдат был поглощен делом и не обращал внимания на окликнувшего его офицера.

— Ты откуда?

— С позиции. А ты какого черта здесь околачиваешься?.. Далее всех убер?

Солдат вдруг заметил, что перед ним офицер, и замолчал... Обознался.

Адъютант вдохновенно схватил солдата: значит, есть позиция!

Адъютант потащил солдата в избу. Генерал и тридцать офицеров оглядели грязного, усталого солдата в восемь котелками и слушали его...

— Бегли, бегли... Притомились. Пить хочца... А воды нет. Иди, гряд, за водой. Ну, пошел.

— А сколько ты шел?.

— Версты две. А сколько нам еще бегти надоть, ваше превосходительство?

Командующий побагровел от стыда...

* * *

Армия, вся система которой была построена на принуждении, на извращении здравого смысла, армия, в которой люди должны были умирать за интересы ненавистой им власти, — расшатывалась изо дня в день. Армия, потерявшая кадровиков — покорных, вымуштрованных солдат, — становилась все откровеннее в собственном отрицании.

Даже уцелевшие кадровые солдаты, присмотревшись в условиях фронта к своему начальству, многое продумав и поняв, теряли веру в успешный исход войны, а главное — веру в целесообразность такового. Вливавшиеся в армию массы из тылов несли солдатам здравые мысли о несправедливости и ненужности этой войны. На языке штабов это называлось «злокачественной пропагандой». Штабы характеризовали новые элементы в армии — второочередные войска — как войска неспособные, неустойчивые и политически неблагонадежные.

Истина заключалась в том, что людям не за что было драться, и поэтому они не хотели драться. Постепенно и тыл и солдаты проникались отвращением к ненужной им войне, к тому, что некоторые называли бойней.

Нужен ли был мир? Нужна ли была победа?

Нет! Мир, для того чтобы вернуть в прежнее рабское состояние миллионы мобилизованных?! Победа для усиления монархии и капиталистов? Нет! Нужна была другая война... Нужно было, чтобы вооруженный народ сам перешел к активной борьбе с самодержавием, с царским правительством. Поэтому — огонь, немецкая артиллерия! Народу необходимо поражение царя, ослабление существующего строя, чтобы в свою очередь перейти к войне с ним.

Именно это было первопричиной тех явлений, которые именовались «вялостью», «неустойчивостью», «необученностью», «склонностью к панике»... Абсолютная точность того, что не «психо-физические» свойства определяли боеспособность, — была проверена всем миром спустя два — три года, — в годы гражданской войны. История показала, что эти же солдаты, когда Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) помогла им понять истинный смысл жизни и указала путь избавления, пошли на неизмеримо большие опасности и победили в себе страх силой обретенного высокого человеческого сознания.

ОТСТУПЛЕНИЕ

IV

Германо-австрийские армии последовательным рядом ударов в Галиции теснили русских, заходя во фланг и тыл их северо-западным силам. Произведенный затем Германией нажим со стороны Восточной Пруссии — на наревском направлении — поставил всю русскую армию перед опасностью охвата и окружения. Однако вместо того, чтобы быстро отводить войска, сохраняя их в тылу, то есть следовать основам военного искусства, командование в начале отступления упрямо цеплялось за славянские земли и в бесплодных бросках истребляло части. В течение одного месяца эта стратегия вывела из строя весь Галицийский фронт. На протяжении всего хода летней кампании 1915 года русские армии, изверившиеся в командовании, истощенные, озлобленные, катились назад, теряя людей и запасы, покидая Галицию, Курляндию и Польшу, оставляя немцам огромную территорию...

В качестве единственной оздоровительной меры по приказу № 1842 из всех тыловых частей были изъяты нижние чины, обвиненные в предательстве, шпионаже и вообще в неблагонадежности.

После падения Львова отброшенные с территории Галиции русские армии отступали через Люблин, Седлец к Брест-Литовску... Саперы спиливали деревья фруктовых садов и волокли их к дорогам, чтобы строить засеки. Отступали по ночам. Работа шла при свете костров. Свет

костров не осиливал ночной мрак и только окрашивал в рыжий цвет окружающие предметы, искажая их очертания.

В оставленных деревнях выли собаки. Саперные двуколки и фурманки, поджидая саперов, стояли вдоль дороги. Лошади дремали, иногда фыркая во сне.

На дворах лежали грязные кучи соломы — следы последнего бивуака ушедшей пехоты. У дороги стоял крест с надписью: «Здесь похоронено сорок три стрелка, павших в боях лета 1915 года».

Земля была покинута. Еле теплились остатки сожженных халуп. Вместо них вдоль шоссе стоял длинный ряд белевших во тьме кирпичных печей и труб, уцелевших от огня. Еле заметный дым подымался прямо с горячей рыхлой земли. Не дымили только трубы.

Саперы свалили последнее дерево, опутали его наспех колючей ржавой проволокой, бросили на дороге и пошли дальше. Засеки они строили неохотно, сонно, с отвращением, потому что засеки, предписанные старыми уставами и инструкциями, были явно бесполезны в данный момент. Немцы их устраняли молниеносно. Саперы двинулись, догоняя уходящие части.

В арьергарде шли беженцы. Костлявые клячи не прельстившие ни саперов, ни казаков, ни обозников, волокли, задыхаясь, фурманки, заваленные скarbом. Беженцы понуро шагали вслед за телегами, спасая остатки своего имущества.

Из тьмы, иногда светя фонариками, бесшумно появлялись казаки. Они на ходу обшаривали жалкий скarb, молча вытаскивая все, представлявшее хоть малейшую ценность. Так же молча смотрели на это беженцы, не убыстрявшие своих шагов.

Казаки искали быстро, привычно, не выпуская поводьев из левых рук, отбрасывая старые горшки, шершавые кастрюли, переворачивая спящих ребятишек, закутанных в тряпье. Казаки отбирали у беженцев визжавших поросят и птицу.

Беженцы шли поникшие, раздавленные, среди тяжелого скрипа колес.

По приказу свыше они тащились на восток, загромождавая шоссе и дороги, смешиваясь с уходящими войсками, хотя еще в 1904 году преуказывалось:

«Велика важность предохранения армии от скученности и переполнения дорог и тылов элементами населения, среди коих, даже в цивилизованных странах, распространяются, как показал опыт крупных войн, злокачественные эпидемии, как-то: сыпной тиф, дизентерия и гнилокровье, кои уносят в могилу более жертв, перебрасываясь на армии, нежели неприятельский огонь, и понижают силы и бодрость здоровой части действующей армии».

Западные ветры настигали уходящих. Первые осенние туманы по утрам заволакивали все, костры потухали от сырости. По ночам светила луна, и свет ее падал на сморщенную листву и рыжие вытоптанные поля. Ветры качали колокола, оставшиеся в разрушенных костелах и церквах, и их страшный звон разносился по опустевшим деревням.

Полумертвые клячи из последних сил под ливнем иступленных ударов все еще тащили скарб беженцев. Во тьме на стоянках животные дрожали от сырости и жевали опавшие листья и мятую блеклую придорожную траву. Женщины отлучались к бивуакам и приползали обратно с кусками сахара, корками хлеба, с котелками холодного супа, который с жадностью съедали дети, посеревшие от усталости и голода.

Местами корпусные командиры загоняли беженцев на чужие участки, освобождая свои... Тогда соседние корпуса гнали их обратно. Люди в отчаянии цеплялись за поезда. Сто пятьдесят тысяч вагонов заполнялись этими затравленными, больными людьми.

За беженцами, на вечно одинаковой дистанции, полыхали пожары. На огромных пространствах Галиции, Польши, Курляндии тлели пожарища, и над ними стояли, как окаменевшие от горя люди, никому не нужные печи и трубы, из которых не шел дым.

ОКОПЫ

(Осень 1915 года)

V

Русские армии отходили вглубь страны. К осени 1915 года были потеряны большая часть Прибалтики и Польша; оставлены Либава, Варшава и Брест-Литовск.

Центр событий переносился в районы Риги, Вильно и Гродно.

Немцы охватывали русскую армию в кольцо за Вильно, замыкая его у Сморгони.

Полк сибирских стрелков пробирался ночью, под дождем, в две цепочки, гуськом, по обочинам дороги. По дороге идти невыносимо — выше колен грязь, тонут люди и лошади, а где гати нет — и совсем не пройти. Широким кругом, освещая тучи над лесом дрожащим зеленоватым светом, повисли немецкие ракеты.

Полк пробирался по обочинам дороги. Шинели, вещевые и сухарные мешки набухли от воды. Не было слышно разговоров. Солдаты надвинули фуражки на лоб, задрали тульи фуражек — не по форме, но по практике: чтобы вода стекала с головы не за шиворот, а бежала на козырек. Время от времени то один, то другой солдат, поскользнувшись, падал в грязь, гремя котелками...

— Уснул?

— Бери глаза в зубы! Пропорешь штыком-от.

Ноги скользили по глине, а чуть сойдешь в сторону — увязали в трясине размытого дождями поля.

— Счастье, право слово, — одна нога в меду, другая в патоке.

— Идти долго ль?

— Гак остался.

Солдаты шли, сняв сапоги, босиком. Грязь разувала людей, засасывала мокрую дырявую обувь, наполняла ее жижей. С трудом содрав с натруженных ног сапоги, стрелки закидывали их за плечи. На малых привалах, зажигая спичку, чтобы закурить, люди глядели на свои ноги и видели вместо них рыжие комья сырой глины... Счищали ее лопатками, но, как только трогались дальше, глина сразу же вновь липла к ногам.

Никто из солдат не понимал, где кружит дивизия. Местный народ — не то поляки, не то литовцы. Дивизия пересекала замершие железные дороги, моталась по лесам..., Бивуаки поспешно снимались... Солдат гнали все дальше и дальше. Ведут — значит, иди. Дивизия знала одно: продержаться, пока подойдет пополнение — маршевые роты. Придет пополнение — легче будет.

Полк внезапно остановили на дороге. Стояли долго, понуро кашляя, переступая с ноги на ногу. Никаких при-

казаний не было. Нашупывали в темноте землю у дороги: топь! Стояли, вначале опираясь на винтовки, утопавшие в грязи, потом потихоньку приседали, потом садились, потом ложились — в грязь, в топь... Шестьдесят верст пройти, господи, по такому времени да по такому пути... И босые...

Никаких приказаний не было. В голове полка, светя фонариком, сбились четверо офицеров и устало-сонно глядели на промокшие листы полевых карт. Рядом стоял знаменщик со знаменем, закутанным в черную клеенку. Офицеры говорили, глядя на карту:

— Нет. Тут не Воля Рузданувска.

— А что?

— Не понимаю. Вот лес... вот высота двести три...

— Станем тогда в лесу... до утра.

По полку безжалостно прокатилось:

— Вста-ать!

Роты подтянулись и вошли в лес, давя сырой валежник. Запахло грибной сыростью. Стало совсем темно.

Ротные протяжно и привычно подали команды:

— Ро-та... стой!.. Со-ставь!

Во тьме долго составляли винтовки, закрывая глаза, когда светили офицерские фонарики. От них слепило глаза, совсем ничего не видно.

— Огней не разводите!

Вздохнули горько:

— Эх... кому счастья, нам несчастья...

— А ты ляжь, во сне и почаяешь.

— А мы таких выдумщиков, не спросясь, знаешь, в какое место?..

Стрелки снимали шинели, разгребали ямки для сна в мокрой прелой листве и хвое. В темноте наступали друг другу на руки, на ноги, огрызались. Потом чуть поутихло...

Отделение легло спать на мокрой земле.

Устраивались под елями. Ель густая, разлапистая — дождь не так возьмет.

Отделенный печально вздохнул:

— На брюхо лег, спиной укрылся. Охо-хо...

— Ладно, друг ситный.

Кто-то злобно сказал:

— Кому мы присягу давали? Присягали одному.

А почему не всему народу? А может, царь неспособный родился, а его сподручные еще того хуже?

— Давнуть бы их, поползли бы на коленках...

— Что вы царя ругаете? Он помазанник божий.

— Помазанный солдатской кровью...

— Мотри, дядя, теперь свет такой... Держи язык за зубами...

В темноте раздались чьи-то шаги.

— Кто тут? А?

— Я...

Чуть посветил фонарик.

— Вашбродь?..

— Подвиньтесь, братцы.

Полуротный трясся от холода. Стрелки раздвинулись, он лег между ними в надышанную прелую вонючую теплоту и затих — только бы тепло было. Под шинелью кто-то грыз сахар, хлеба не было. Полуротный лежал среди солдат, закрывшихся с головой изношенными в походах серыми шинелями. Стрелки любили своего полуротного.

Сквозь мокрую тьму деревьев просвечивало сияние далеких ракет.

Под шинелями постепенно надышали, разогрелись, и тогда началось... Отделение было заражено чесоткой и вшами. Как только тело согревалось, начинался нестерпимый зуд. Сон не шел.

— Иых, горе.

— Одолеет...

— Все места горят...

Руки ощупывали пораженную кожу и, стремясь ее очистить, сдирали корочки с расчесанных язв. Шарили руками по теплым сырым ногам; останавливались, нащупав изъеденные горящие места, поглаживали их.

Кожа горела мучительно. Все шевелились, толкались и от безысходности тихо, жалобно вздыхали.

Бесполезная борьба с чесоточным клещом, укрытым в сотнях ходов под кожей, шла часами, яростная и иступленная.

Потом измученные стрелки заснули. Из-под шинелей слышался прерывистый храп, иногда тихий, иногда смешной, иногда пугающий...

А рядом, в четвертом отделении, еще слышались приглушенные голоса. Солдатский мозг пытался найти ка-

кие-то объяснения происходящему. Солдаты обсуждали свои судьбы как умели:

— Выбило силу. Против немца не пойдешь. Не с чем... Глушит... У ево снарядов полно, соображает... Немец, одно слово.

— Может, у нас Гаврилы плохо крутят; поезда, говорят, идут как черепашки...

— Сказывают, ходоки солдатские в Ставку посланы. Про штабных командиров сообщить: как они прятаются да бегают. С немецким фамильем которые — те куплены. Ты вот говоришь — немец, да снаряды... Не в этом сила — продажа у нас, говорят... Шпиёнство...

— Причем шпиёнство? Сидят разные дураки, понабирали добра... Им что? Что в России хлеба или чего не хватит? Хватит, завались... А на хлеб и снаряды купить можно было бы... Была б охота...

* * *

«Порча» совершала свой процесс невидимо, как почвенные воды. Бесчисленные изменения происходили в армии... Она начинала терять свои очертания, распадаться, тускнеть. Недоверие проникало всюду. Почти не было солдат и офицеров-фронтовиков, которые после галицийского разгрома, с ужасающей ясностью показавшего всю несостоятельность руководства Ставки и всю неподготовленность России к дальнейшей войне, не предавались бы сомнениям. Слухи, сообщения, иступленные приказы, письма из дому, рассказы вернувшихся из госпиталей — беспрерывно усиливали недоверие. Великий закономерный ход истории действовал неодолимо и успешно. В распоряжении вооруженного народа были грандиозные силы и неограниченные возможности. В тылу экономические процессы рождали новые формации. Ширилось революционное движение пролетариата.

Покрытые государственной тайной цифры и действия выпирали наружу тысячами последствий, тысячами производных, ибо никакие преступления, совершавшиеся правительством империи, не могли пройти бесследно. Первая выдача жалования почтовыми марками со штемпелем на обороте: «Имеет хождение наравне с серебряной разменной монетой» — сказала больше, чем сообщение о секрет-

ных суммах расходов России. Суть хранимых в тайне колонок цифр эмиссий Государственного банка вскрывалась в первой же лавчонке.

Страну заливали потоки бумажных денег — инфляционный водопад. Со дня начала войны выпуск кредитных билетов с миллиарда восьмисот пятидесяти девяти миллионов рублей дошел в январе 1915 года до трех миллиардов рублей. Учреждались новые акционерные общества, обслуживавшие армию.

В то же время русская промышленность свертывалась: из восьми тысяч пятисот пятидесяти предприятий России пятьсот два прекратили производство, тысяча тридцать четыре сократили производство, и только сто двадцать пять расширили его в связи с потребностями войны. Недоставало из-за нехватки рабочих рук топлива, хлопка, шерсти. Еще больше замедлился ритм транспорта... Пятьсот семьдесят пять станций закрыли прием грузов. На сто двадцать две тысячи шестьсот двадцать вакантных мест могли поставить только девяносто девять тысяч сто девяносто пять человек неквалифицированной рабочей силы, из числа беженцев по преимуществу. В Екатеринославе на металлургических заводах и шахтах на двадцать две тысячи открытых мест могли найти только тысячу человек!..

Все цифры были военной тайной. Газеты с наглостью твердили о подъеме производства. Но отовсюду шло влияние скрываемых властью процессов.

Народу еще трудно было во всем разобраться, но многое уже доходило до сознания масс при помощи приобретавшей все большее и большее влияние Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

* * *

На рассвете стрелки проснулись от холода. Из-под шинелей поглядывали на свет и снова укрывались с головой. Лежали, не двигаясь... Только бы не на холод, только бы еще поспать, полежать...

— Сколько время?..

— Тебе на машину? Лежи!

Команда подняла людей. Солдаты вскакивали дрожа, некоторые крестились. Потом стали разжигать костры.

Днем палить можно, огонь противнику не виден; а дым? Дым — он, как туман.

Лес был сырой, валежник набухший, скользкий. Солдаты лазили, подбирая малые сучочки, нащупывали листья, что посуше. Сносили собранное на разрытое место, где не капало, — под густую ель, и поглядывали, нет ли у кого уже горящего костра. Туда и шли.

— Уголька дадите?

— Напаслись вот на тебя да на деток твоих.

— Жаль те?

— Да не жаль. А сами чего, не можете?

— Спичек нету.

— А мы на вас береги?

— Ух, снегу с вас не выпросишь в крещение.

— Бери, бери, не лайся.

Дымились костерики, чуть дымились — все сырое, не горит, беда. На коленях, склонив головы к самой земле, стрелки раздували снизу тлеющие сучья, ветки и листья. Дули тихонько, чтобы лучше разгорелся, а чуть разгорится — раздували сильнее и сильнее. Дули изо всех сил, только бы костер горел. Рогульки из веток сделали, палки на них положили и котелки на них в ряд повесили. Чай будет! Сахар еще кой у кого был и сухари остались. Отсыревшие они, конечно, лежалые... Ну, ничего.

Костры занимаются пуще и пуще, пламя бьет, вокруг стоят стрелки, руки в огонь суют, огнем играют, шинели подпаливают. Пар идет от людей — под огнем сохнут. Раз-раз — и сушено, загляделся — палено. Дождь стирает, сушим сами. Хи-хи, солдатские грехи!

Костры трещат, горят еловые веточки, запах приятный. Лица у всех повеселели — подсушились, теперь чаю напиться можно. Костры трещат, угольки и веточки спаленные от ветра взлетают, в воздухе кружатся и падают в котелки, по воде плавают, бегают. Это полезно, потому — воду очищают. А когда пить — их снимают, как навар, ложками. Вода уже побелела, помутнела — сейчас закипит. Тут сухарь на палочку и в огонь. В огне из этого сухаря «чайный состав» делается: подгорелый черно-коричневый сухарь дает кипятку полный чайный оттенок, как чай Высоцкого, и даже вкус. Котелки дрыгают, бурлят...

— Заваривай!

Бежит фельдфебель:

— Собирайся! Скоро! Стрелóчки!

— Тьфу ты, господи!

— Ни мачинки, ни росинки во рту!

— Попить бы...

Срывают котелки с огня, держат за дужки, не зная, что и делать. Фельдфебель кричит:

— Собирайсь. Жива!

Отделенный подхватывает:

— Четвертая отделенья! Ну!

Котелки наземь, пусть пока постоят. Стрелки собираются навьючиваются. Сколько вещей стрелку надеть надо! И патронташ, и флягу, и сухарный мешок, и противогаз, и еще, и еще...

— Стан-ви-ись!

Ротный вышел, идет, хромает — ноги стер. К роте подошел, подправился, взгляд кинул с искрой, чтоб ободрить солдат.

— Здорово, братцы!

— Здра-жла-васокродь!

— Нам опять заступать. Пойдем. Ну, с богом! Справа по отделеньям, шагом-арш!

— А что с котелками делать? — Подхватывают их стрелки полами шинелей за горячие дужки, несут, берегут — пока чай теплый. Пройдет стрелок шагов сто, остановится — норовит хлебнуть, а котелок жжется. Опять бежит, отделение догоняет. Неловко пить-то. Тогда ложку из-за голенищ вытянет и ложкой черпает. Ничего, очень здорово, если с сахаром. Как кисель!

Полк опять влипал в грязь и полз по обочинам дороги куда-то влево, за лес.

— Позиция какая — говорили?

— Тюфяки настелены, крыши наведены...

— Бро-ось!

— Тогда не спрашивай...

Роты свернули на поле и пошли на больших интервалах, во взводных колоннах. Шрапнель лопалась далеко впереди — у леса.

— Будто наша.

— Подойдешь, узнаешь.

Роты шли без остановки. Лес ближе и ближе. Один вдруг испуганно завопил:

— Кавалерия!

Вдали промаячили всадники. Стрелки остановились.

Взводный кинулся в шеренгу и затряс кричавшего стрелка.

— Я тебе... Я т-тибе...

Взводный схватил стрелка за ворот и яростно раскачивал его.

— Сволочь! Панику разводить? Сметанник проклятый!

Всадники — человек сто — ехали навстречу. Седьмая головная рота остановилась и изготовилась. Батальонный долго глядел в бинокль.

— Наши.

Кавалерия удерживала позиции и теперь передавала участок стрелкам.

— Где немцы? Эй, гусары!

— За рекой маячат.

— Много?

— Да как сказать — есть.

И кавалерия — статные, чисто одетые, в набекрень взятых фуражках с ремешками, спущенными под нижнюю губу, что делало гусар какими-то важными и презрительными, — тронулась дальше, в безопасный тыл, к теплу.

Стрелки облегчили душу и облаяли их. Во всю войну пехота мало видела пользы от кавалерии.

Начали окапываться. Участь ближней деревни была решена. Сразу пошли за соломой, досками, бревнами — за всем, что согдится из хозяйства для окопов. Время, конечно, военное, и надо понимать.

Из деревни волокли двери, доски, балки, жерди, заборы, снопы соломы, волокни целые ворота... Замки ржавые — ребята бравые, эх!

Стрелки быстро уничтожили покинутую деревню, существовавшую века. В поле никого не было видно, роты зарывались в землю. Частили выстрелы, как всегда почти бесприцельные. Немцы били где-то рядом...

Роты окапывались быстро. Сразу возникли линии окопов и ходы сообщений.

Сварили добытую где-то картошку. Чего еще надо: брюхо набил, цыгарку свернул, лег, где посуше, — умирать не надо.

Четвертое отделение выдвинулось к реке.

В штабе второго батальона — в большой яме, обложенной досками и соломой и прикрытой сверху палаткой, пищит телефон: «Ти-ти-ти».

Телефонист вытянулся.

— Слушаю, да. Слушаю, так точно. Передаю трубку. Васокродь, командир седьмой роты вас спрашивает.

Батальонный подошел к телефону:

— Да-а... Да... Гм... Немцы? Накапливаются?.. Пустяки, пустяки... Примем меры... По обстановке... Все уладится. Сообщайте, Василь Петрович...

Над окопами лопалась и осыпалась шрапнель. Немцы скопились у реки, нащупывали брод.

Батальонный откупорил баночку консервов, газетку подостлал и спокойно ел.

Адъютант доложил:

— Немцы на берегу. Накапливаются, господин подполковник.

— Накапливаются?.. Не хотите ли сардин?.. Ну, пойдем поглядим, поглядим... Как там делишки, поглядим, поглядим.

Пошли. Шрапнель и гранаты рвались над ходом сообщения, выводившим к седьмой роте. Батальонный дожевывал густо пропитанную маслом от сардин корочку и говорил не то адъютанту, не то так вообще:

— Пустяки, пустяки. Разведка боем.

— Так точно.

Шрапнель сверкнула над головой. Адъютант кинулся куда-то в сторону. Батальонный шагал.

— Пустяки, пустяки... Шрапнель...

Из окопа, с крайнего участка, где окопалось четвертое отделение, спуск к берегу был виден как на ладони.

Батальонный поглядел в «цейс» и улыбнулся:

— Пустяки, пустяки... Накапливаются? И откуда это слово взяли?! Ну-ка, дайте винтовочку.

Отделенный — вымуштрованный кадровик — протягивает винтовку:

— Пожалте, васокродь.

Батальонный поставил прицел «восемь». Отделенный тут как тут: согласно с 1912-го вмененным правилам, оказывает уважение начальству.

— Васокродь, дозвольте подстелю...

Отделенный притащил палатку и подостлал ее у бойниц. Батальонный не спеша стал прицеливаться в маячивших за рекой немцев.

— Ну, вот и попотчуем... и попотчуем.

Немецкая разведка перешла к переправе. Батальонный мигнул стрелкам. Его чудаковато-прищуренный глаз успокаивал и смешил людей.

— Пустяки, пустяки! Мы их сейчас.

Прошла минута. Видно было, как немцы, согнувшись, бежали к реке. Некоторые уже переплывали реку. Батальонный выстрелил. Один из немцев исчез под водой...

— Ну-ка, залпик!

— Слушаю, васокродь!

— Эх, жаль, что мы пока в резерве!

Отделенный, как на ученье, показывая свое умение, командовал неторопливо и громко:

— По плывущему немцу-у, на два пальца-а, влево от деревца, прицел девять-ять. От-деление... пли!

Десять выстрелов слились. Вода на реке покрылась кругами, плывущие пропали из виду... Немецкие разведчики были отбиты. Течение воды потащило их трупы по дну неглубокой реки.

Ночь была тихая. С утра моросил дождь. Немцы начали обстрел из тяжелых орудий. Комья окопной земли взлетали в небо. Тянуло паленым — горела деревня. Санитары пробирались по полю, носилки почернели и пахли кровью. Уносили раненых стрелков — кто стонал, кто кричал, кто молчал. Один ни сесть, ни лечь не может — в спину ранен. Солдат выл от боли. Санитары, почему-то боясь, что крики услышат немцы и обстреляют именно их, совестили раненого:

— Ну, милый, не кричи, кричишь — беду нагонишь! Раненый притих.

По окопам резерва вели другого стрелка, совсем обесилевшего, бледного. Он попросил:

— Земляки, постойте.

Остановились.

— Дайте курнуть. Смерть захлестнуться дымком хочу...

— Больно тебе?

— Горит...

Раненый взял цыгарку, закурил, втянул дым. Стал выпускать дым носом и ртом и вдруг, содрогнувшись, замертво упал. Дым еще шел изо рта вместе с кровью.

— Кончился?

— Стало быть.

Третий полз сам и жалобно спрашивал:

— Где народ? Не вижу-у... не вижу-у... Ай, слепой стал... Ай, слепо-ой...

Его подхватили.

— Братцы, доставьте в лазарет... Братцы, Христа ради-и-и, не броса-а-айте... Слепо-ой я ста-ал... бра-атцы...

Земля взлетала пластами. Чернела трава. Стрелки иногда среди содроганий земли тихо переговаривались:

— Воробьиным бы путем отсюда куда-нить.

— Лежи, воробей.

Русской артиллерии на позиции не было. Солдатам оставалось одно — лежать в окопе и ждать своей участи.

Лежали, мокрые, в глине, прижавшись к стенке окопа, покуривая и изредка крестясь...

— Ва-ась?

— Ну!

— Как лучше — когда в брюхо али в грудь ранят?

— В грудь лучше, под плечо под косточку... В брюхо хуже — дух выйдет.

— Отчего?

— Потому брюхо главное. Брюхо за все тело отвечает и действует. Вот водки выпьешь — из брюха тепло по всем косточкам идет... Или чай — тоже тепло дает из брюха. Я вон на брюхо подсумки и патронташ повсегда спущаю — ежели пуля ударит, — срикошетит.

Дождь лил. В окопах скоплялась вода. Она непременно рябилась от содроганий земли.

— Вась, вернемся мы в Расею-то?

— А те што тут?

— Ну, какая тут Расея!

Пролетел, визжа, осколок.

— Ишь забирает на последях.

— Который убьет — не услышишь.

— Смерть тихо ходит.

Раздался крик:

— Носи-илки!

За траверсом лежал раненный осколком стрелок.

— Ох, и кровишши!

Раненый зажимал рукой рану, удерживая хлеставшую из раны кровь. Солдаты обступили его.

— Умрет, ей-богу.

— Райска душа будет.

— Угомонится. Грехи отпустятся...

— А кто отпускать будет? Ежели как ты думаешь, так выходит, бог его убил...

— Ага. Выходит, что так...

Раненого унесли...

— Поесть, что ли, может, напоследок...

Кухни в эту ночь, в первый раз за трое суток, добрались до рот. Дали суп, сварили кашу. Стала каша синяя и, как студень, холодная. Песок окопный вдобавок в нее понасыпался. Стрелкам весь день не до еды было. Ну, какая есть, такую и есть.

Мимо прошел батальонный.

— Ходит. А я знаю, чего он ходит. Видал раз.

— Ну?

— Вот как-то, как нынче, сидели под обстрелом, а он ходит, окоп крестит и шепчет — должно, молитву. И «пустяки» приговаривает.

— Ну-у?

— Ей-богу. А чего ж ему еще делать? Ведь отвечать-то немцу нам нечем... Сиди в резерве — терпи... Авось, молитва поможет.

Рванул снаряд. Какой-то стрелок вскочил, грязь брызнула в кашу.

— Ну, дьявол косолапый! Легше!

Дождь лил и лил. С первой линии по окопам резерва проходили легко раненные из седьмой роты. Шли веселые: ничего их уже не касалось, — «дело наше пока счастливо конченное». Они шли и на ходу торопливо переговаривались с солдатами:

— Ох, и прет он... Ох, и прет! И за рекой сколько и на энтот берег вылез... Должно, в атаку пойдет.

— Напирает?
— Напирает. Сил у него много. За рекой из лесу так и идет — колоннам, прямо колоннам!

День проходил — и в сумерках стали видны, незаметные днем, вспышки немецких батарей, красноватые, желтоватые, зеленоватые и голубые.

Вечером послали разведчиков убрать трупы и доставить забытых раненых с первой линии окопов. Разведчики брели, чертя прикладами мутную воду, забрызганные грязью с головы до ног. Шли, оступаясь, падали в глубокие воронки, доверху залитые дождем. Наконец добрались до оставленной, но еще не занятой противником линии окопов.

Поползли по окопу и видят: человек стоит, другой сидит рядом...

— Кто?

Ответа нет.

— Свои?

Ответа нет... Подползли ближе.

— Да они оба мертвые!.. Стрелки...

Присмотрелись... Оказывается, стоявший стрелок напоролся на винтовку другого. Видимо, его подбросило силой взрыва и он, падая, наткнулся на штык и проколол сердце. А винтовка не упала, так как мертвый солдат зажал ее окоченевшими руками. Чего на войне не увидишь!..

— Стоит!

— Как свеча перед истинным...

Разведчики приносили убитых в окопы резерва, клали их рядом и прикрывали шинелями и палатками. Двадцать шесть убитых принесли. А в седьмой роте было шестьдесят человек! Принесли еще одного.

— Куды кладете? Не видите?

— А што?

— Начальство!

— Эх, не узнали мы впотьмах полуротного! Тогда на фланок клади. Храбрый он был на редкость!

И бережно перенесли убитого офицера на правый фланг.

К утру резерв был выдвинут на первую линию окопов.

МАРШЕВЫЕ РОТЫ

VI

По окопам ночью передали: «Пришло пополнение». Люди обрадовались, ощутили заботу о себе. Много ли солдату нужно. Даже болотина у реки стала милее.

Слух оказался верным. Ночью в штаб полка, восемь верст от передовой, пришло пополнение — пятьсот маршевиков. Они стояли у освещенного окна занимаемого штабом дома — окно не в сторону противника, боже спаси! — и ждали выхода командира полка.

Маршевики были во всем новом, но каком-то жалком и мокром, холщово-брезентовом. Набухшие холщовые, а не кожаные под сумки и патронташи болтались, как тряпки; брезентовые, а не кожаные пояса сползали вниз. Сапоги — тоже брезентовые, только головки у сапог да подошва — из кожи. Из вещевых мешков торчали соломенные маты — смешная, не нужная на войне вещь; соломой из деревень всегда натащишь. Пополнение стояло понуро, испуганно, впервые слыша близкий гул артиллерии, впервые видя сияние ракет...

Вышел командир полка, подошел к маршевикам, поздоровался:

— Здорово, молодцы! Ну, будете служить... Верой и правдой... В нашем полку. В дружной семье сибирских стрелков. Ждали вас. В добрый час, братцы! Сейчас вас отправят по ротам... Держитесь бодрее! Вид, вид дайте!

Командир полка пошел вдоль шеренги, светя фонариком. Маршевики, жмурясь от яркого света, стояли, тая дыхание. Полковник глядел на маршевиков и думал: «Обучены отвратительно, совсем молодые, видно — новобранцы. Не солдаты... Неопрятны. Вид болезненный... Подстрижены плохо... Надо будет ими очень заняться... Потом...»

Маршевиков, которые действительно в основном были новобранцами, разбили по ротам и погнали на позиции. Там ждали пополнения, не могли дождаться, — ведь в полку были большие потери...

— Не растяг-вайсь!

Подпрапорщик повел маршевиков, соблюдая порядок. Сразу надо дать почувствовать строгость.

Ракеты пугали, казалось, что они висят очень близко над головой. Пригибаются маршевики...

— Ну-у? Робей там!

— Не разговаривать, тихо!

На передовой — точно бурлил кипятик. Противник приближался, началась перестрелка.

— Шире шаг!

По скользкой дороге шагали вразнобой. Испуганно перешептывались:

— Куда бежим-то?

— На первую.

— Сразу? Так и погонят?

— Ну, а што?

— А што там?

— Ин стреляют.

Навстречу — офицер.

— Какая часть?

— Маршевые роты.

— А с кем говоришь, бра-атец?

— Виноват, васокродь.

Пополнение спешило. Немцы уже вышли на низину к реке, и полк держался из последних сил.

Подпрапорщик довел маршевиков до землянки штаба батальона. Стрельба оглушала. Слов не было слышно. Все сбились в ходах сообщения.

— Ведите их сразу дальше, скорее, скорее!

— Слушаю-с. Командир велел доложить — как соседи гвардейцы? Помогают?

Батальонный безнадежно махнул рукой:

— Связь с ним вторые сутки прервана...

Новобранцы подошли к окопу, сгрудились.

— Вода, братцы... Куда ж?

Сзади, нажимая, кричал подпрапорщик:

— Вперед, ну!

— Вода — по пояс...

Делать нечего... Побрели по воде на поддержку полка, на передовую... Кой-как разобрались, разместились в окопах первой линии. Поприутихла ружейная стрельба. Впотьмах маршевики глядели на реку, ничего не различая. Вспышки ослепляли людей — перед глазами только круги плавали.

Ночью к окопам по болотине подбирались два разведчика из соседнего полка. Земля чавкала под ногами...

Над головой — свист и шипение снарядов. Разведчики поползли. Болотина засасывала. Во тьме ничего не видно...

— Не туда идем.

— Ну?

— Бери правее.

— Там перестрелка была.

— Ну, и?

— Может, отступили наши.

Почва стала тверже. Неожиданно она заколебалась под ногами и с шумом стала обваливаться. Окоп! Разведчики, не охнув, полетели вниз, в воду. Увидели, что в воде молча стояли еще какие-то люди. Один из разведчиков спросил:

— Свои будете?

Молчат.

— Ну?

— Свои...

— Сразу так и сказали бы. Где батальонный?

— А мы не знаем.

— Как так?

— Пригнали, поставили.

— Где ротный?

— Не знаем.

— Кто ж тут есть-то?

Солдаты молчали. Разведчики удивленно поглядели на них и пояснили:

— Нам во второй батальон Сибирского стрелкового надо... Какой тут?

— А ня сказывали.

Тогда один из двоих не выдержал:

— Ну и пешечки!

— Идем дальше.

Разведчики пошли по воде. Окоп был узкий, и по всему окопу в воде недвижно стояли солдаты.

— А ну, сторонись!

Разведчики протискивались, вдавливаясь в сырые стенки окопа. В темноте нельзя было разглядеть солдат. Только в свете разорвавшегося снаряда разглядели, что у некоторых белели новенькие, незакопченные котелки.

— Вот оно что: пополнение, маршевики! Сердяги!

Окоп пошел чуть в гору, воды стало меньше, но идти хуже — под ногами размытая, скользкая глина...

— Ползи, ползи.

В конце окопа в прорезь подвешенной палатки виден свет — не то фонарь, не то свечка. Значит, начальство. Разведчики встряхнулись:

— А ну, подберись!

Один подошел к прорези и деликатно спросил:

— Дозвольте войти, васокродь!

— Кто там? Входи...

Разведчик откинул палатку, вошел... В землянке сидели полковник и телефонист.

— Вы изволите быть, васокродь, батальонным командиром второго батальона Сибирского стрелкового полка?

— Изволю, изволю.

— Честь имею явиться, васокродь. Разведка, высланная от соседнего полка для связи и определения позиции батальонов Сибирского стрелкового. Старший разведчик.

Полковник оглядел разведчика.

— Гвардеец?

Разведчик выпрямился и победоносно рявкнул:

— Так точно, васокродь!

Полковник оглядел промокшего курносого, безусого парня.

— Иш ты — из молодых, да ранний. Ну, определяй, определяй...

Полковник бросил телефонисту:

— Дай штаб.

Запищал телефон. Полковник взял трубку и спросил:

— Отмены приказа не было?.. Мои доводы не убедительны? Нет?.. Ну, ладно... Свои соображения относительно маршевых я уже сообщал... Повторяю — новобранцы... На этом мой долг кончен. Честь имею кланяться (положил трубку)... Так, та-ак... Ну, надо собираться. (Батальонный вздохнул и повернулся к разведчику.) В атаку сейчас.

Разведчик приложил руку к козырьку:

— Слушаюсь, васокродь!

— Что ты «слушаешь»?! Ты определяй, делай свое дело... Без тебя обойдется...

Полковник, наклонившись, вышел из землянки, приподняв и подобрав шашку с черно-желтым темляком. Разведчик вышел вслед за ним и окликнул своего спутника:

— Епиша!

— Здесь!

— Ну, вали, Епиша, считай окоп с самого левого фланга шагами. Я возьму правее. Понял? Какие где повороты, траверсы, где пулеметы... Может, набросаешь? Хотя темень... Замечай, ни-ни не упусти приметы. По ним потом сам поведешь... Ну, вали...

Из землянки пищало: «Ти-ти-ти»... Телефонист сидел один за палаткой у догоравшей свечи.

— Слушаю, слушаю... Будете что передавать? Их высокородь вышедши в атаку... Есть... Записываю...

Разведчики разбрелись по окопу: один влево, другой вправо. Маршевики попрежнему молча стояли вдоль передней стенки окопа, наполнявшегося водой все больше и больше. Было совсем тихо, только капли стекали с людей. Издалека зазвучала команда, еще неразличимая, но настораживавшая, приближающаяся:

— То... ца.

— Тоо-ца...

— Тов... цаа...

— Го-то... цаа...

— Пригото-о-овитца!..

Маршевики пошевелились и опять замерли. Старший разведчик брел в воде и, сбиваясь, считал шаги:

— Сто, сто один, сто два, сто два... готовятся.. сто два... сто три, сто четыре... атака! Сто пять...

Его тронули за руку:

— Земляк, куды двигатца?

— А?

— Куды готовитца?

— Атака будет.

— О-ой.

Маршевик охнул и отпустил разведчика.

— Сто пять, сто шесть, сто семь... Тут охнешь... Три траверса было... Примет никаких нет, ни черта...

По окопу вдаль что-то закричали... «А-а-ла...» Разведчик соображал:

— Что?.. А — вылазь! Сто семь, сто восемь... сто девять... Попали в переделку... Сто десять... окоп завтра размоет, обвалится... Тоже выбрали!.. Сто одиннадцать... Кто там лезет?

Разведчик остановился. Сзади его окликнули по имени.

— Что, Епиша, ты?

— Я-у.

— Слышал?

— Слышал!

Оба поглядели друг на друга:

— Как быть?

Атака чужого полка, а им велено разведку срочно кончать и обратно. Но ведь атака! Может быть, и они должны помочь?..

Маршевики стояли, темные, неподвижные, и слушали, как вылезали солдаты из окопа в первую цепь. В сырой, поглощающей звуки низине заныло: «А-а-а... по-а-ашли...»

— Господи бластави!

Взлетели зеленые и красные ракеты. Это немцы вызывали на помощь заградительный огонь артиллерии. Пули начали выстукивать: «тук-пак», «так-пак». На близкой дистанции звуки ударов пуль и долетавшие звуки выстрелов почти совмещались.

Разведчик считал:

— Сто семь. Сколько было шагов? Сто семь или сто десять? Сто десять, сто одиннадцать, сто двенадцать... Немцы сейчас трахнут... сто тринадцать... ага, летит... сто четырнадцать... Ложись!..

К окопу медленно, шурша в воздухе, летел первый немецкий тяжелый снаряд. Звук менялся — усиливался и ускорялся... Потом снаряд просвистел над окопом и глухо стукнулся в болоте.

— Не разорвался... Сто пятнадцать... давай бегом!.. Считать по пять шагов сразу... Ать-два-три-четыре-пять, сто двадцать, сто двадцать три, четыре-пять... А, черт!..

Новая партия маршевиков стояла, закрыв вход.

— До-ро-гу-у!

Снаряд опять влетел в болото. Ударило пламя, и извержение потрясло окоп. Второй снаряд. Третий! Они рвались с раздирающим уши низким гулом...

— Скорей... Сто тридцать!.. Сторонись, ты, раззява!.. Сто сорок!.. Кладет точно, пристрелялся... Как там атака?.. Ни черта не слышно... Сто пятьдесят...

Маршевики вылезали из окопа.

— Этих тоже? Второй цепью? Сто шестьдесят, шестьдесят один...

Маршевики подпрыгивали, хватались за мокрую землю высокого бруствера, впились в нее пальцами и шле-

пали ногами по воде, падая при грохоте разрывов. Потом они подпрыгивали опять, снова лезли на бруствер, опять скатывались по глине, снова лезли и снова срывались — не дотянувшись, гремя новенькими котелками — в бурюю воду в окопе...

Старший разведчик остановился и закричал зычно:
— Подсаживай один другого!

Окрик остановил всех. Стали послушно подсаживать, потом верхние вытягивали нижних, и они, скользя, вы-ползали, наконец, за гребень окопа. Разведчик крикнул в озаряемую вспышками темноту:

— Осторожно штыки при посадке-е!

Один крикнул:

— А у нас их и нету.

Разведчик удивился:

— Как? Винтовки без штыков?

— Не, винтовок у нас нету.

Разведчик умолк, потеряв счет — да что же это?

Ударил снаряд. Маршевики стали быстрее выбираться из окопа.

— Вперед!..

Разведчики, закончив счет, тоже выскочили из окопа. С фланга кричали:

— Ложись, не стой, скоси-ит...

Огонь усиливался. У окопа уже лежали убитые и раненые маршевики. Новобранцы с пустыми руками — без винтовок — опять сгрудились у гребня окопа и, лежа или сидя на корточках, вздрагивая, втягивали головы, зажимали уши и жмурили глаза — разрывы слепили и оглушали их вконец. Слева кричали:

— Фитфебель роту приня-ал... Вали вперед, так всех ско-си-ит!

Пули щелкали, осколки фырчали и шипели, но никто не двигался с места. Разведчики влипли в землю вместе со всеми.

— Покосит, покосит, покосит...

Сквозь сырой ночной воздух опять пятнами засветились ракеты, и все стали еще больше влипать в землю. Люди лежали скученно, прижавшись друг к другу, коло-таясь от страха и холода... В окопе и за ним рвались сна-ряды — так часто и с таким длительным ревом, что он не прекращался и в интервалах между падениями сна-рядов... Тяжелая немецкая артиллерия подождла, каза-

лось, весь участок перед рекой: небо горело всеми огнями — синими, желтыми, зелеными, багровыми... Хорошо знакомый разведчикам ураганный немецкий огонь!

Маршевики лежали, ничего не видя, не слыша, никто из них не мог начать снова вкапываться в землю, хотя у всех были лопатки.

Среди мокрых, нешевельившихся солдат слышались стоны.

Слева опять зануло: «А-а-а-а...» Люди пошевелились и затихли. Разведчики встрепонулись. Что это? Вторая атака или контратака? Вдруг кто-то, почти плача, закричал:

— Взво-одный!

Сверкнул близкий разрыв и на полсекунды осветил согнутые человеческие спины — серые, мокрые.

— Взводный жа-а!

Маршевик искал спасения у взводного. А что знает маршевый взводный?

Маршевый взводный — унтер-офицер российской императорской армии — знает наизусть по уставу:

«Россыпной строй, или иначе называемая стрелковая цепь, употребляется для поражения неприятеля огнем, для доставления стрелкам наибольших удобств при стрельбе и для уменьшения в людях потерь от огня противника. В рассыпном строю 4—6 человек составляют звено, 2—4 звена отделение, 2—4 отделения взвод, 2—4 взвода рота. В рассыпном строю отделения располагаются рядом; интервалы между людьми назначаются в зависимости от протяжения участка, который надлежит занять. Отдельные звенья и люди могут несколько выдвигаться из общей линии, принимать вправо или влево, если это не мешает людям стрелять. Обязанности рядового в рассыпном строю: понимать боевую задачу своего звена, отделения, взвода, роты, следить за действиями противника, *не оставляя самовольно места*, выбирать место, удобное для поражения противника и укрытое от его глаз, поражать противника по команде, указанной начальником, беречь запас патронов, стараться его пополнять и по выходе половины доложить старшему в звене; при движении вперед сохранять интервалы, при перебежке быстро вскакивать и стремительно перебегать в

указанном направлении, пригибаясь, если нужно, чтоб представлять меньшую цель. По команде «вперед!» для движения в атаку с криком «ура» бросаться на врага в штыки, смыкаясь на бегу к ближайшему начальнику...»

Новобранцы, лежавшие без движения перед окопом, могли только «не оставлять самовольно места»...

Огонь затихал... Туман на речной низине сгущался. Люди лежали попрежнему, не шевелясь и радуясь наступавшей, наконец, тишине. Вдруг донесся шум чавкающих шагов. По грязи приближалась чья-то цепь, едва различимая в тумане. Маршевики, оглушенные, полумертвые от страха, покорно ждали... Некоторые поднимали руки. Разведчики вскочили... В тумане уже была различима медленно приближавшаяся цепь.

— Немцы!

— Пропали маршевики и мы вместе с ними...

Цепь шла без «ура». Разведчики выстрелили. Послышалось:

— Сто-ой!.. Не стреля-ять!

— Свои?! Ну да, остатки дважды ходившего в атаку второго батальона! Пошли, Епиша! Пора и нам. Подавайся левее...

Цепь поравнялась с маршевиками. Батальонный с жалостью глядел на них.

— Отбились пока. А вы идите за винтовками. Отделения по три человека.

Маршевики лежали не шевелясь.

— Ну, кто тут у вас есть? Взводный!

Из темноты раздался жалкий голос:

— Я-у.

— Пошлешь их, пока туман, вперед по три человека за винтовками.

— Слушаю, вашбродь.

— Прикажи: когда винтовки и патроны со своих брать будут, чтобы никто убитых не обшаривал.

— Слушаю, вашбродь...

Батальонный устало побрел в свою землянку.

План Гинденбурга окружить русскую армию в районе Вильно был сорван героическими усилиями русских войск.

* * *

В Ставку направлялись срочные, совершенно секретные, за особым шифром донесения, содержание которых заключалось в том, что русские заводы не могут изготовлять винтовки в необходимом для действующей армии количестве:

«...Посему нормы изготовления винтовок не выполнены и впредь выполнены быть не смогут, что явствует из прилагаемых на рассмотрение отчетов. В последнее время норма изготовления винтовок не увеличилась, а снизилась против норм довоенного времени на шестьдесят — семьдесят процентов. В то же время убыль винтовок в боях такова, что даже полное выполнение довоенных норм ее покрыть не могло бы. Вследствие вышеизложенного на фронте создалось сугубо тяжелое положение: дело дошло до того, что новые пополнения отправляются в действующую армию не снабженные винтовками, то есть *невооруженные*.

В силу этих обстоятельств выдвигается на обсуждение проект об изъятии и сборе всех видов ружей из имеющихся в империи арсеналов, а также о возбуждении перед союзниками ходатайства о выполнении данного ими обязательства снабдить в кратчайший срок русскую армию необходимым количеством винтовок любого образца.

Касательно винтовочных патронов надлежит установить, что и по этому виду вооружения довоенная норма заводами не выполняется, ибо иссякают запасы пороха, что также вынуждает ходатайствовать перед союзниками о быстрейшем снабжении ими русской армии патронами в необходимом количестве. Касательно катастрофически малого количества орудий и главным образом снарядов уже неоднократно сообщалось; будут представлены дополнительные сведения.

Надлежит с похвалой отметить, что изготовление упряжи и седел для армии выполняется успешно».

После возбуждения соответствующих ходатайств перед союзниками, по прошествии срока, достаточного для того, чтобы отправить «в лучший мир» все очередные партии маршевых рот, пришло в ответ послание маршала Жоффра. В этом послании Жоффр передавал восхищение союзников доблестью русской армии, которая, невзирая на потерю значительной части территории (они надеются — временную), нашла в себе силы устоять перед новыми ударами превосходящих сил противника, чем в данный момент оказала громадную услугу общему делу союзников.

Касаясь в своем послании вопроса о данных союзниками обязательствах, маршал Жоффр любезно обещал запросить соответствующие фирмы о причинах невыполнения порученных им заказов на вооружение русских армий.

БУНТ

(Зима 1915 года)

VII

Человеческое отчаяние утопало в безразличии чужого города, и в злобе, ударяя камень стен, матросы возвращались на корабли. Их отпуск был, как всегда, краток, а служба в царском флоте была тяжела и скучна.

Пятнадцать месяцев подряд бездействовала на Балтийском море эскадра линейных кораблей русского императорского флота. В основу операций на Балтийском театре были положены начала стратегии оборонительной. Здесь операции флота в основном ограничивались активными действиями минных сил и подводных лодок, наносивших ощутимые удары германским военным кораблям и транспортам.

Эскадра линейных кораблей стояла в Гельсингфорсе. Снег падал на выкрашенные в белый цвет (чтобы сливались они цветом с белым покровом берега и моря) линейные корабли, и жизнь на кораблях текла согласно неизменного Морского устава и традиций, не поколебленных войной. Шли месяц за месяцем, как в 1912, 1913 и 1914 годах... Те же побудки, приборки, погрузки угля, учения.

Кубрики кораблей были забиты полуторным штатом команд военного времени, и ночи были нестерпимо удушливы. Ровный звенящий шум стоял в металлических коробках, наполненных жаром и гудением котлов, топки которых непрерывно принимали уголь.

Несмотря на то, что эскадра бездействовала, топливо по боевому положению шло в Гельсингфорс непрерывающимся потоком маршрутных поездов.

Маршрутные поезда с углем прибывали день и ночь. С кораблей день и ночь гоняли матросов на разгрузку угля. Они вяло брели под счет унтеров к поездам. Вздыхались тучи угольной пыли, и всюду от нее снег делался черным. Люди работали медленно, выплевывая черную слюну на почерневший снег. Глаза их воспалялись и гноились. Зрение катастрофически ухудшалось.

Матросам было трудно работать оттого, что и рукава у кистей рук, и брюки у лодыжек, и вороты они туго стягивали веревками, тесемками и платками. Они делали это для того, чтоб хоть отчасти спасти свою кожу от проникновения разъедавшей ее угольной пыли. От нее быстро разрушались и легкие. Число больных росло, доходило до сотен.

Ночная смена бригады линейных кораблей вышла на очередную разгрузку угля.

Унтера по старой привычке искусственно веселыми голосами кричали ночной смене:

— Навались, ребята. Разом, разом! Все подчистую возьмем.

Но этот окрик, прежде неизменно действовавший и ускорявший работу, уже не подхлестывал матросов. Поток угля был безостановочным, и матросы не могли даже представить себе возможность своей победы над бесконечной вереницей вагонов, груженных углем. Горы угля уже высились в порту, заполняли вагоны, эстакады, площадки у складов, склады. В угле тонули заборчики, тумбы и даже фонари. Уголь засыпал всю территорию.

Ночная смена работала почти беззвучно; все делали одинаковые движения, иногда поглядывая на море, и тогда больные глаза различали в ночной дали багровые пятна: это из труб кораблей вырывались огненные языки. Брикет выбрасывал пламя, и матросы вспоминали

инструкции, предписывавшие им «неукоснительно ходить без факелов, кои могут открыть местонахождение эскадры противнику».

Крики унтеров учащались, стали грубее и злее — и матросы вынуждены были ускорить работу. Черная толпа, шумно дыша от утомления и глотая пыль, разгружала составы с углем. Желание закончить работу до срока и вырвать лишний час покоя и сна охватывало людей все сильнее. Несколько человек самовольно отлучились, чтобы узнать у железнодорожников, будет ли ночью доставлен новый уголь. Они вернулись радостные и сообщили о том, что новых поездов сегодня не будет — за Выборгом снежные заносы. Матросы разгорячились, увидя возможность пораньше уйти на отдых.

Разгрузка шла к концу. Приказания офицеров и унтеров, довольных неожиданным рвением ночной смены, звучали мягче, что удивило матросов, привыкших к неизменно грубым окрикам начальства. Работа вспыхнула и забурилась, людям хотелось кончить ее, добраться до койки и спать, спать...

Наконец был разгружен последний вагон, и в ночи раздался ясный и кипящий крик «ура», не похожий на обычный казенный рев. Люди обрели радость. Они повернулись к морю и... увидели, почти рядом, громадные корпуса придвигавшихся к набережной транспортов и впереди них, совсем близко, ледакольные буксиры.

— Эй, на буксире!

— Есть.

— Откуда? Кто?

— Транспорта с углем.

Балтийский флот получал уголь не только по железной дороге — он имел транспорты для доставки топлива: «Анадырь», «Аз», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро», «Есть», «Земля», «Иже», «Како», «Мыслете», «Наш», «Покой», «Слово», «Рцы», «Ша», «Ща», «Татьяна», «Тамара», «Ольга», «Араманс», «Елена», «Ника», «Спиноза» и баржи № 1, № 2, № 3, емкость коих судов была от 400 до 9300 тонн угля.

Ночной партии пришлось снова разгружать уголь, доставленный транспортами. Надежда до срока кончить работу не сбылась. Когда же срок наступил, черная ко-

лонна матросов, под счет унтеров, двинулась, наконец, по черному снегу на корабли.

В кубриках матросы, прежде чем идти мыться, пили чай, чтобы прочистить рот и глотку. Они крошили в него хлеб и давили его ложками по старой флотской привычке. Выпив, долго разгибали спины и шевелили онемевшими руками. Люди скупно перебрасывались словами, не выражавшими тяжелых дум, которые они таили про себя.

В бане им сообщили:

— Мыло ввиду военного времени сокращено. Хватит! Побаловались!

Черные матросы побрели прочь, шаркая ногами по линолеуму, вымытому до блеска, как то предписывалось Морским уставом и традициями. Матросы направились в кочегарку и в угольной яме, в темноте, тихо говорили друг другу:

— Пропадем ведь.

— Ни за что пропадем.

Черные пальцы держали трубки и папиросы, черные губы выпускали дым. Мундштуки у папирос чернели, и иногда на них была кровь. Подавленные и обиженные матросы спрашивали друг друга:

— Чево ж делать?

— Претензии подать.

— Всем вместе.

— Плевали они на наши претензии...

Люди вспоминали всю службу, все свои ожидания — и не видели правды, хотя все им о ней твердили: и корабельный священник, и командир, и офицеры, и унтера. «Говори всегда правду, гляди прямо в глаза, весело...» Как открытие, сулящее долгожданное приближение вечно недостижимой правды, матросы вдруг услышали слова, едва знакомые, но какие-то близкие:

— А если забастовку объявить?

Теснее сдвинувшись, храбрясь, но в то же время пугаясь, делая решительные жесты, но оглядываясь, матросы уговаривали друг друга то пугающими и жестокими словами, то ласково-поясняющими:

— Только, братцы, кто продаст — ну, конец и ему и всем...

— Да что ты, господи, кто же продаст?

— Только стой все, стой все — тогда добьемся...

— Вот, значит, требовать, только всем, ребята, уменьшить количество часов погрузки!

— Выдать всем очки, чтоб не только у офицеров были.

— Мыло чтоб давали.

Ожесточаясь, они слали тут же придуманные страшные ругательства тем, кто не хотел дать им мыло, не мог как следует наладить погрузку угля. Потом снова, пылливо глядя друг другу в глаза, повторяли:

— Только всем требовать, ребята! А то что же... Ладно? Всем!

Кончив беседу, люди разошлись, унося свою радостную и тревожную тайну.

Ночь прошла согласно расписанию, как и все ночи.

Побудка подняла всех — во тьме. В душных, зловонных кубриках все было выполнено согласно расписанию, как обычно. Матросы глядели друг на друга с надеждой и опаской. Засвистели гудки.

— Выходи на разводку!

На верхней палубе работа начиналась до рассвета. Унтера развели людей почти не глядя, скомандовали и двинулись. Матросы не шелохнулись. Унтера заметили это не сразу, не поверили и прибавили голос. Матросы не двинулись. Унтера, знавшие многое и умевшие чутя все флотские дела, сразу увидели и поняли все — по упрямым лицам и по неподвижности шеренг. И тогда они скомандовали спокойно и дружественно: «Оправиться», — мгновенно занимая безопасную позицию выжиданья. Унтера доказали команде свою готовность всегда понять их и торопились с докладом к начальству, чтобы показать и там свою готовность всегда исполнять все приказания.

Появились офицеры, они с опаской вглядывались в лица матросов.

— В чем дело, братцы?

Люди молчали, влекомые дальше и дальше решимостью, смелостью и страхом.

— Ну, что же, братцы? Говори кто-нибудь.

С правого фланга кто-то крикнул:

— Мыло пусть дают!

Крик как-то осекся.

Все — и матросы и офицеры — понимали, что суть дела не в мыле, что отказ в мыле был последней каплей,

переполнившей чашу матросского терпения. Люди стояли совсем как на параде, вытянувшись по всем правилам, усвоенным за годы муштры.

То, как стояли матросы, вернуло офицеру спокойствие и, переходя в наступление, он уверенно и насмешливо спросил:

— Кто это «пусть дают»? Кто должен давать — я?

И сказав эту «удачную» фразу, он увидел, что матросы растерялись. Действительно: разве мыло дает ротный? Мыло дает баталер, а ему в порту дают, а где порт достает, это его дело. Матросы были озадачены простой истиной: не ротный дает мыло, верно. И в то же время они знали, что не у баталера надо требовать, хотя именно он дает мыло. Молчание было длительным. Офицер просто скомандовал:

— Напра-во. Я разберу, братцы.

И люди повернулись, шелкнув каблуками. Тогда опять раздался голос матроса с правого фланга:

— Сто-ой, ребята!

Люди стояли, ожидая привычной команды: «Шагом-арш!» Но правофланговый сразу понял, что надо сделать дальше, и рывкнул:

— От-ставить!

Люди опять повернулись лицом к офицеру. Офицер испугался. Он оглядывался, ища помощи и желая узнать, — видел ли кто-нибудь то, что произошло. Навстречу ему приближался старший офицер.

— Смирна, равнение на-право!

Привычка еще владела матросами, и они подчинились команде.

Старший офицер, знавший уже обо всем, спокойно поздоровался с матросами, внушая этим необходимость обычного поведения. Ответ был необычно бодрый.

Старший офицер прошел по строю и спросил:

— Кто приказал «отставить»?

— Нужда, васокродь.

Голос у правофлангового матроса был глубок, тосклив и честен. Оба офицера стояли, чего-то выжидая, что-то продумывая и не глядя друг на друга. Наконец старший офицер подошел решительно к шеренге:

— Новые моды заводите? Прекратить!

Офицер думал, что подчинит людей. Уверенный в своей силе, он подошел к правофланговому. Тот стоял

ясный, большой, со светлыми усами. Офицер шагнул ближе и остановился. Потом, отойдя, скомандовал:

— Зачинщики, два шага вперед. Шагом-арш!

Правофланговый вышел, выбросив сильно левую ногу при первом шаге. Офицер сунул руку в карман, и все поняли: сейчас застрелит матроса. Многие закрыли глаза...

Тогда правофланговый сказал своим глубоким, то-скливым голосом:

— Васокродь, бейте насмерть. Не убьете — я вас убью.

Матрос стоял непоколебимый и ясный. Офицер вынул руку из кармана и чуть приблизился к матросу.

— Молодец, Соколов!

— Рад стараться, васокродь!

В строю кто-то отчаянно и несвязно закричал и умолк. Офицер приказал:

— Идите пока в кубрик.

Без команды, смешавшись, матросы двинулись было вниз, но возглас правофлангового: «Стой все!» — остановил их.

На соседнем корабле, стоявшем борт о борт с бунтовщиками, выходила на палубу рота — сто двадцать матросов, — уже давшая ночью согласие поддерживать бунт. Ее вел офицер, потрясавший все время браунингом.

Матросы столпились у борта, наблюдая за действиями роты на соседнем корабле.

Рота равнялась под дулом офицерского браунинга. Из ее рядов кто-то крикнул:

— Воюем! Держись все!

И разом на крик ответил гул бунтовщиков и наверх взлетели, по старой традиции, бескозырки с ленточками — знак приветствия.

На соседнем корабле раздалась команда офицера роты. Он спешно уводил матросов, подняв свой браунинг на уровень их лиц. Гул усилился, матросы подбегали к борту и кричали:

— Сто-ой! Сто-ой! Сто-ой, товарищи, все!

Матросы, уходя, оборачивались, улыбались, кивали ободряюще головами.

Палуба гудела и ликовала. По какому-то откровению матросы, сорвав бескозырки, начали сигналить ими во все стороны, торопливо сообщая: «Присоединяйтесь все!»

Они были уверены, что этот сигнал будет понятен матросам на всей эскадре. И это было так. Сигнал был понят, потому что одинаково тяжелой была служба на всех кораблях и одинаково все матросы в тоске ждали правды и каких-то перемен к лучшему.

Весть о сигнале передавалась от матроса к матросу.

Общее течение жизни на корабле внешне не нарушалось. Командир не выходил из каюты, предоставляя «прекратить безобразие» своим подчиненным. Вахта несла службу, в камбузах готовился обед — потому что не могли быть нарушены служба и порядок на российском корабле. Так полагало начальство и всех убеждало в этом.

Бунтующие ждали наверху, на холоде, ждали решения товарищей с соседних кораблей, чтобы дальше действовать вместе. Но ответов на сигналы еще не было. Начальство не показывалось... Кто-то ушел погреться, кто-то ушел оправиться, и это ослабило общее напряжение. Понемногу люди стали сходить вниз. Там они разбрелись по бесчисленным помещениям, теряя чувство локтя, чувство близости «всех», теряя надежду на ответ с кораблей. Пообедав, утомленные ночной работой, матросы погрузились в привычный послеобеденный сон. Жизнь на корабле постепенно приобретала все свои законные и спокойные очертания, и на самих матросов возвращение этого спокойствия производило могущественное и неотвратимое впечатление.

Унтера вызывали бунтовщиков, до тех пор никем не потревоженных, поодиночке в каюты старшего офицера, вахтенного начальника и дежурных, сообщая каждому в отдельности, что решено принять во внимание их жалобы и поэтому пусть матросы еще раз выскажутся.

Злорадствуя, бунтовщики шли на вызов. В офицерских каютах матросов уже ждали жандармы, срочно вызванные и прибывшие на корабль во время положенного всем командам отдыха и сна.

Когда же ночью втайне принятый на кораблях ответ пришел — корабль, поднявший восстание, был тих и

мерно шагали вахтенные по его палубам. Бунтовщики же с этого корабля уже были приняты на берегу — жандармским управлением.

В помещении тюрьмы, куда бы ни обращался взгляд, всюду был непроницаемый камень и железо и свет был скудный — из-под потолка. Матросы постигали необычайные вещи: стена — в два ряда обожженной глины — отрезает человека от мира. Два ряда кирпичей, простых, пустяковых, столько раз виденных... Два ряда! Несколько дюймов... Кругом — полное безразличие. Все превращается в стены. Все молчит.

Матросы все это постигали молча, не умея вслух выразить то, что с ними происходило, и лишь спрашивали друг друга: «Когда допрос?», «Куда повезут?..»

Так же как накануне, в угольной яме, они испытующе глядели друг на друга, чтобы узнать, не выдаст ли кто. Один молодой матрос опустил глаза.

Время шло медленно, без перемен...

В какой-то день (или ночь?), в какой-то час — раскрылась дверь, и в ней, загородив собой все, возникла устрашающая фигура жандарма, огромная и тяжелая. Матросы по привычке вскакивали, услышав свои фамилии, и отвечали: «Есть!» Фигура рывкнула:

— Выходи с вещами!

Это была формула, означавшая перемены судьбы, странствия этапным порядком и последнее — смерть.

Оказалось, что была ночь. Она постепенно превращалась в рассвет. Улицы города были пусты и тихи. Всякий иногда возникавший звук приобретал особое значение в мертвящей тишине. Матросы, выведенные из тюрьмы и стиснутые, взамен кирпичей, конвоем, не решались нарушить тишину...

— Мечтайти?! Апп-ш!

Ноги с трудом передвигались, одолевая трудный путь, хотя это были ровные каменные плиты, покрытые снегом.

Рассвет обнажил пустынную улиц и черные фигуры матросов на белом снегу.

Слух уловил какое-то движение, какой-то посторонний скрип. В глубине улицы показались другие темные

фигуры, шедшие навстречу. Случайные свидетели! Матросы обрадованно, питая какие-то неясные надежды, никогда не оставляющие людей, ускорили шаг, вспоминая истории о невероятных освобождениях и побегах.

Конвой тоже вглядывался в приближавшихся из белой мглы. Это были солдаты. Они шли какой-то неуверенной походкой, странно запрокинув головы. Их дыхание было так слабо, что пар на морозном воздухе шел из ртов жалкими, едва приметным струйками. Запорошенные снегом шинели висели на исхудавших телах.

Матросы, поравнявшись с солдатами, увидели, что они слепы. Это были русские инвалиды-слепцы, пораженные газами. Они вернулись на родину через Торнео из германского плена. Это была одна из первых партий инвалидов, которыми обменивались воюющие стороны еще до окончания войны.

Встреча ничем не помешала тайной системе сокрытия политических арестов, ибо единственные свидетели увода матросов были лишены зрения.

Матросов повели по удаленным от общего движения железнодорожным путям к окованному железом тюремному вагону и заперли их в нем.

День проходил беспокойно, потому что под железным полом не был слышен стук колес. Колеса были недвижны, это было неестественно и тревожило матросов.

Уже смеркалось, когда вагон прицепили к составу. Матросы с нетерпением ждали — в какую сторону тронется состав. Им почему-то казалось, что если на запад — то им конец, а если на восток, в Петроград, то там они найдут защиту. Вагон тронулся на восток.

Вагон на стыках и стрелках гремел всей массой своих железных частей. Сначала, при тихом ходе, глухо, а по мере ускорения хода поезда все резче, все нестерпимее, оглушающе. Исчезли последние огни.

Дверь раскрылась. Она была узка. В нее протискивались одна за другой тяжелые фигуры жандармов, освещаемые фонарем. Они подошли к матросам и в молчании остановились.

Их появление и молчание нагоняли страх.

Двое тихо, почти бережно, за плечи и за руки подняли одного матроса. Он, пряча страх, спросил:

— В чем дело, господин жандарм?

Они ответили:

— Сейчас узнаешь.

Насторожившиеся матросы поняли, что предстоят новые, неизвестные действия...

Один из вошедших пролаял:

— Ложись!

Матрос стоял, не понимая и опять чувствуя страх. Лай повторился, но он как-то плохо доходил до сознания.

Матроса схватили и распластали на полу. Остальные матросы шевельнулись, и один спросил:

— Что же это, а?

В ответ жандармы обнажили оружие и приказали сидеть спокойно.

Вагон трясло. Он громыхал, и казалось, что это громыхают большие тени на потолке и стенах. Взбрасывались саженные руки теней и застывали. Склонялись огромные головы...

Действия были хирургически точны. В руках у одного из пришедших было мокрое полотенце. Это и вызвало ассоциацию с хирургией. С лежащего на полу матроса стащили рубаху, обнажили спину. Полотенцем, сложенным вчетверо, покрыли поясницу и начали избивать его тяжелой калабашкой, стараясь отбить почки.

Вагон грохотал. На стене взбрасывалась и опускалась тень руки. Время от времени матросам предлагалось во всем признаться и выдать зачинщиков.

Били калабашкой равномерно. Полотенце, все так же сложенное вчетверо, передвигали и били калабашкой снова.

Матросы молчали. Испуг проходил.

После того как полотенце, предохраняющее тело от следов побоев, было передвинуто выше, калабашкой отбивали уже легкие. Избивавший был удивлен: матрос молчал.

— Бери второе.

Двое подняли молодого матроса. Он попятился и завизжал:

— Что вы, что вы, что вы!..

— Ложи ево!

Тогда молодой закричал, что он все сам скажет, что только не надо его бить, не на-а-до би-ить...

Тарас Соколов крикнул:

— Предатель!

Широкогрудый, белоусый, он поднялся и, стоя, как на палубе, перед офицером, посмотрел на жандармов, прикидывая их вес и чувствуя прилив бешеной ненависти к ним и к предателю. Все становилось простым до предела. Эта простота освободила от подавленности, от тоскливого молчания, от страха, от ожиданий.

— Понес, флот!

Клич был знакомый, буйный. В нем была решимость, сила, гнев и опережающая все скорость. Брызнули стекла фонарей... В вагон грохнулась тьма.

— Понес, флот!

По стенам шарахался матросский боевой рев, матросские кулаки прошибали мясо до костей. Вагон превращался в корабль. Корабль превращался в остров Котлин, в треклятый Сахалин! И этот бой поднимал все силы матросов, всю их ярость!

Со скрежетом и лязгом они отрывали железные по-
лосы и дробили ими черепа жандармов. Стоял немолч-
ный вой избиваемых, но, покрывая его, взлетали флот-
ские команды:

— Навались!

— Дружно!

В вагоне, наглухо закрытом со всех сторон, от бешеных движений матросов гулял ветер. Матросы без уговора сорвали с себя все, оставшись лишь в тельняшках, чтоб в темноте узнавать друг друга. Матросы наступали. Казалось — здесь, в вагоне, флот повторяет бой пятого года.

— Фло-от!

— Дай, дай!

Матросы, распаленные, счастливые, хлестали, крушили своих истязателей. Вагон трясся и скрипел. В закрытой железной коробке шел прекрасный бой, — шла лучшая из войн, война за правду.

Вздымайте кулаки, все кто с нами!

С проломленным черепом, попираемый ногами, валялся мертвый предатель.

Вагон летел на восток, к Петрограду, неся бой по огромным пространствам — к столице.



ГОД 1916-й

Глава пятая

СТОХОД¹

I

За фронтом была собрана к смотру гвардия. Корпуса стояли в уставных строях, как в прежние века и годы, но в неподвижности строев не было прежнего спокойствия. Люди стояли без прежней выправки; у многих — следы ранений. В глазах их были и скорбь, и глубочайшие вопросы, больше же всего — злобы. Внешнее и возрастное сходство гвардейцев уступило место иному сходству: в рядах стояли и старики, и молодые, мало отличимые от стариков. У многих дыхание было неровное, кашель и вздохи шевелили вылинявшие значки линейных. Отвисли тулья порыжевших фуражек... Кокарды были мутны, как бельма... Моросил дождь, и влага темнила жидкие гимнастерки, облежавшие исхудавшие тела. Гвардейцы, уставшие от бесчисленных походов, были обуты в сапоги, разбухшие от сырости и спаленные кострами.

В первых рядах стояли последние, уцелевшие за время войны, кадровые гвардейцы. Им дали куски картона, и они по-старому подняли тулья фуражек. Это придавало им подобие «молодецкого» вида.

Были вынесены знамена — тлеющие на древках тяжелые материи с двуглавыми орлами.

Дана команда, и полки тронулись по сырой и тощей земле. За широким, гвардейским шагом первых рядов остальные вначале не поспевали. В девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой

¹ Река, правый приток Припяти.

и шестнадцатой ротах, сбиваясь с шага, шли последние разысканные в городах и деревнях России ратники, наспех обученные в столице в гвардейских запасных батальонах.

Полки колыхались в неровном шаге по сырой дороге вдоль леса. Многие из принимавших парад опустили глаза, чтобы не видеть марша последних ратников России. Они думали об обязательстве, данном союзникам 14 февраля 1916 года именем армии российской, — об обязательстве начать в июне новые боевые действия для отвлечения германских сил от Вердена и австро-венгерских — от Италии.

Раздался первый приветственный возглас:

— Здорово, молодцы!

Лес повторил ответ первых рядов: «Ура», «рра», «ра», «а»! Остальные ряды молчали. Генералитет встретился: перед ними плыла линия устремленных косо и ввысь штыков. Они слышали тяжелый шаг российской пехоты, способной валить леса вековых дубов и попирать Альпы. Время от времени раздавался издавна знакомый счет: «Ать-ва — и-ире!» Первые ряды шли, взмахивая правыми руками вперед до приклада, назад до отказа.

Когда проходили роты пополнения, вновь прозвучало:

— Здорово, молодцы!

Но ответа не было. В молчании и решимости, на глазах у всех, хилые солдаты выпрямились. Последние ратники России шли молча, не отвечая на приветствия, поднимая выше и выше свой гнев.

* * *

В течение месяца шло наступление русских армий по всему Юго-Западному фронту. В середине июля 1916 года эшелоны подняли последние гвардейские резервы на смену утомленным и потрепанным в боях войскам.

Три гвардейских корпуса — 1-й, 2-й и кавалерийский — шли летом 1916-го на Ровно, Дубно, Луцк — на Юго-Западный фронт. В состав стрелковой гвардейской дивизии входил и батальон матросов Гвардейского экипажа.

Поутру десятого июля после привала батальон подняли:

— Живо!

— Куда?

— По пути-дороге.

Роты выстроились у халуп во взводных колоннах. Вышел командир батальона. На нем была гимнастерка цвета «шанжан» и снаряжение из Гвардейского экономического общества, следовавшего за гвардией в эшелоне. Там было все, вплоть до зубочисток.

Подошел, здоровается.

— Здравствуй, Садовников.

Фельдфебель, тянется, здоровается.

— Здравствуйте, унтер-офицеры. Здравствуйте, георгиевские кавалеры.

И тогда уж прочим:

— Здорово, молодцы!

На все различия, по табелю рангов.

— Выступаем, идем сменять армейцев... Справа по отделениям, шаго-ом-арш!

Погнали матросов-гвардейцев по волынской земле.

Строй по отделениям. Семь шагов по фронту. Батальон в глубине: триста — триста пятьдесят шагов.

Офицеры покрывают:

— Не растягиваться!

Фельдфебеля гудят:

— Не растягивайсь! Подтяни-ись!

Матросы торопятся, стучат котелки и лопатки. Знаменщик идет грузно, древко тяжелое, держит на плече обеими руками.

За батальоном обоз — кухни, фурманки, брички, двуколки. Обоз грузный, большой. Таскала за собой российская армия по девять харчевых дач.

Отменно ровно идут роты. Черные ранцы покрашенной парусины за плечами — ремни наплечные тяжелые, желтые, широкие, грудная стяжка держит ремни ровно. К ранцу палатка сбоку прихвачена. Пояса пригнаны, патроны сполна — в двух кожаных подсумках и в патрон-таше. На поясе лопатки, кирко-мотыги и топоры. Кому что положено. Сбоку — сухарный мешок, фляга. Скатка

вчистую скатана — конец в конец вогнан аккуратно, по-гвардейски...

Идут роты русским шагом: сто шагов в минуту.

Подсчитывают взводные. Тяжел шаг российский. Рассуждение простое: как деды ходили, так и мы ходим, пусть французы, как воробы, прыгают.

Команда:

— Стой!

Как всегда в походе: пятьдесят минут марш — десять минут привал.

У шоссе австрийское и немецкое кладбище — целый парк.

— Набито!

— Навалено!..

Несколько тысяч крестов по шнуру выровнены.

— 51 К и К инфантери регимент...

— 52 К и К инфантери регимент...

— 53 К и К инфантери регимент...

— Вста-ать!

Опять идут... Шаг да шаг... Только чуть колышутся флажки линейных за ротами. Одно лишь флот напоминает — флажуховые¹ флажки на штыках четырехлинейных.

Жара — хоть падай. Фляги уже пустые. А тут вода — на полянке лужи. Кинулись.

Полуротный — мичман — наперерез:

— Стой! Назад! Вода болотная.

Дальше шагает батальон.

Июль. Жар сушит почву, обращая ее в пыль. От пыли — ресницы пушистые, волосы, брови, усы и борода — серые. Под пылью не видно кокард, и последнее — сохраняемые, как привилегия, красные погоны тоже посерели. Пыль тяжела, весома. Она проникает всюду. Придется винтовки чистить. В строю не слышно разговоров — пыль хрустит на зубах. Шей стиснуты застегнутыми наглухо воротниками. Левые плечи ноют — давит винтовочный ремень, но брать винтовки на правое

¹ Материя, из которой шьются военно-морские флаги.

плечо не дозволено. Глухо звенят лопатки и котелки — пыль поглощает звуки. Пыль со всех сторон — как горячая мгла. Роты не видят друг друга. Как на море — в тумане.

По дороге справа и слева — вишневые деревья. Глаза сквозь просвечиваемую солнцем пыль различают алые пятна. Дикие вишни! Сочные, мясистые. Глаза не отрываются от ягод.

— Ай же ж ягода заказанная!

— Тоска, а не ягода!

— На «ура» бы ягоду взять.

Ряды идут неслышно. Пыль лежит мягким густым слоем на дороге, и ноги тонут в ней. Ягоды перестали быть желанными, они только раздражают солдат. Ведь из строя выйти нельзя — попадет!

На тридцать шестой версте вечером:

— Подтяни-ись!

Мимо идет, пересекая дорогу, пехота.

— Стрелки?

— Они самые.

В душном тумане пыли прошел лейб-гвардии 4-й стрелковый императорской фамилии полк. За батальонами бегут отставшие. Переговариваются с ними матросы:

— А ты валсипед, валсипед, земляк, купи. И езд.

— Ты, говорок, облизал бабе творог.

— А за такие речи — две дуги на плечи.

— А за эти словеса вознес тя черт на небеса.

Окрик:

— Разговоры!

Командир батальона — капитан первого ранга, флигель-адъютант его величества, — барин чистый и фасонный.

— Песни петь!

Хочет на тридцать седьмой версте показать лихость своих матросов. И, по приказу, сплюнув пыль, матросы запели:

Накинув плащ, с гитарой под полою,
К ее окну приник в тиши ночной...
Не разбужу я песнью удалую
Роскошный сон красавицы молодой...

Сладко заливаются запевалы, басы гудят... Доволен

взводный Садовников. Это любимая его песня — мечты возбуждает... Вообще очень поощряет и любит пение.

Ночью вошли в деревню.

— Со-ставь!

Винтовки в козлы. И валятся — все.

Шагают дневальные. А в садах храп: роты спят в палатках на вольном воздухе.

Ночью духота стала почти осязаемой. Внезапно налетел ветер. Он гнал с востока на запад тучи. Они неслись мрачными грядями, непрерывно меняя очертания и извергая потоки вод.

Тьма и ливень скрывали последние приготовления к предстоящему бою, и в штабах, защищенных крышами, ливень был встречен одобрительно.

Струи воды хлестали по тонким солдатским палаткам и, бурля, врывались в эти утлые убежища. Вода уносила жалкое имущество гвардейцев, превращала запасы пыльных сухарей в грязное месиво, размывала написанные ими бесхитростные письма матерям, женам, невестам. Дождь заливал ранцы и сберегавшиеся в них до последнего часа чистые рубахи. Желтоватая бязь становилась сырой и грязной...

Ливень прекратился так же внезапно, как начался. Ветер гнал тучи дальше, на запад.

Гвардейцам не спится: они сушат под звездами свое белье, бродят около палаток... Некоторые со злобой клянут тех, кто обрек их на уничтожение. А матросы — бывалые, хлебнули жизни в экипаже и на кораблях. Кое в чем научились разбираться. Они скрывают свое отчаяние, и вид их обычен.

Утром обрадовали:

— Подарки привезли!

Ну, если подарки — значит, дело к бою. Всегда так.

Подарки из Петрограда! Их собирали, записывали, унаковывали. Эти дары родины скапливались на складах. Их берегли часовые. Защищали стены и крыши. Их возили следом за эшелонами, заботясь о том, чтобы эти дары постоянно были на месте. Но их не отдавали солдатам в руки. Их берегли, пересчитывали, охраняли, во-

зили. Их накапливали. И только перед боем, до приказа об атаке, эти дары отсылались в назначенные для атак части.

Гвардейцам раздавали кистеты, зеркальца, куски мыльца (Ралле или Брокар), сероватую писчую бумагу и конверты. Благодарю и чувствуй — забота на шесть гривен!

Солдаты рассматривали в зеркальца свои исхудавшие лица, а те, кто были грамотны, на полученной ими бумаге слали прощальные слова, последние признания милой родине. Казна давала солдатам льготу: она доставляла эти письма бесплатно, за исключением тех, в которых содержались «вредновлияющие» слова. Такие письма по адресу не доходили.

— Так вот, ребята, поблагодарите за внимание. Ясно? Неусыпны заботы о вас. Напишите, что дух наш крепок... Одним словом, поддержать имя полка. Ясно?

— Так точно, васокродь.

В полдень гвардия пьет из котелков свой обед, то есть суп. Ложки бездействуют. Незачем черпать ими пустую серую жижу.

На виду у всех встает большой тяжелый унтер-офицер. Он яростно швыряет котелок с супом на землю и топчет его ногами. Лицо унтера страшно, и он кричит в пространство:

— И так ни за што дохнем... Да еще суп такой!

Гвардейцы поражены необычайным явлением. Они видят свое начальство, открыто кричащее о том, о чем они сами давно озлобленно шепчутся. Один из них сочувственно поддакивает унтер-офицеру. Тогда тот обрушивает всю свою ярость на гвардейца...

На Волыни вечером одиннадцатого июля в полях, лесах, садах, во дворах стоят на вечерней справке батальоны и эскадроны трех корпусов гвардии: 1-го, 2-го и кавалерийского. Преображенцы, семеновцы, измайловцы, егеря, московцы, гренадеры, павловцы, финляндцы, литовцы, кексгольмцы, петроградцы, волынцы, стрелки — возносят к небесам слова молитвы. В бой идти!

Справа и слева от гвардейцев стоят другие корпуса Особой армии и также возносят к небесам слова молитвы.

Эх, и о чем только думало богомольное начальство, так преступно выдававшее дислокацию своих войск. Не доглядели немцы! Ведь они могли шарахнуть по стоявшим, по приказу себя показывавшим и по приказу молившимся гвардейцам...

«...Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли-и...»

Кончилась справка. Солнце село за германскими и австрийскими окопами.

Июльский вечер. Матросы вспомнили, какая в эту пору на рейде красота: огни, команды на берег отпускают. И пошли матросы по халупам, к дивчатам волыньским, пока время есть.

— Погуляли бы с нами, серденько?

— Ни.

— Зеркальце подарю, мыло, ой и душистое же ж!

— А вы не брешэтэ?

— Гляди!

И отдали петербургские дары дивчинам — на память о гвардии матросах.

На рассвете выступают.

— Заступим на передовую, говорят.

— Говорят.

— Говорят — кур доят.

У офицеров свои разговоры:

— Артиллерия совсем приличная. Заметили — на ящиках надпись: «Снарядов не жалеть!»? Бедам прошлого года — конец. Помните, как было у измайловцев после смены Третьего кавказского корпуса?

— Что именно?

— Ну-у, вы не знаете? Впрочем, вы позже прибыли.. Было это за Холмом, после переброски гвардии из-под Ломжи. Пошли в бой... Снарядов нет. Отступили. Но донесение было изумительно: «Наши части отбились бы за неимением снарядов и патронов — камнями, но так как почва здесь песчаная, то сделать это не представлялось возможным».

Батальон шагает.

Фронт близок, обозначился ракетами. Они светятся, колышутся.

В лесу — батареи стоят. Матросы спрашивают артиллеристов:

— Ну как, земляки? Немцам дадим?

— Насыпем.

— Хватает бабок?

— Хватает.

Гаубичные снаряды навалены — ничего бабки. На ящиках: «Снарядов не жалеть!»

— Помогай бог.

Входят в лес. Втягиваются в полосу резервных окопов.

— Справа по одному, арш!

— Не курить! Не шуметь!

Подправляют котелки, лопатки. Тихо на позиции. Вокруг стоят лишь обгорелые стволы с редкими обломанными сучьями, под ногами трещит сухой лист.

Первые ряды по одному, в затылок, уходят в темный провал окопа. Впереди, поверху, идут разведчики, они подводят батальоны к линиям, заранее изученным ими. Там ждут те, на смену которым пришли гвардейцы.

В воздухе неподвижно висят огненные, голубые, зеленые и желтоватые шары ракет. Стволы обгоревших деревьев образуют уходящие вдаль, освещенные ракетами мертвенно пустые коридоры. Лес ничей, но всюду присутствует опасность.

— Лес-то разделали!

— Разделали. Какого полка?

— Мы не полк. Мы — Гвардейский экипаж.

— Эт как? Обозные?

— Обозные! Флотский батальон.

— А-а. А закурить есть? Сидим тут без табаку.

— Есть, вали — кури.

— Вот спасибочка!

Рассказывают солдаты:

— Горя кто не видал — пусть в этом лесу поживет. С ума посойдешь... Счастье наше — вы пришли... Вырвемся теперь.

— А чем плох лес-то?

— Как немец бить начнет — сразу пожары и занозы.

— Это как?

— Ну, лес сухой, загорается сразу, щепки от дере-

вьев летят, втыкаются, куда попало... Седни в одного восемнадцать шепочек воткнулось, не вытащишь...

— Ф-фу...

Двинулись по окопам дальше. Ракеты все ярче, ближе. Пригибаются все.

— Окопы мелкие тут.

— Беда!

Не окопы мелкие, а гвардейцы-матросы крупные. Кто на них рассчитывал? В окопах больше мужики сидят запасные, да ратники, да белобилетники — они помельче.

Флотский батальон, назначенный для атаки, входит в первую линию окопов — на передовую. Взводные и отделенные ведут разговор с армейскими взводными и отделенными.

— До него с версту, прицел пятнадцать — шестнадцать... Впереди хлебá и болото. По болоту гать. Секреты высылали... Проволоки четыре ряда. Блиндажи ничего... Терпимо... Наблюдатели там — у щитков... Пулеметы — два на роту.

— Воду где брали?

— К колодцу посылали, в резерв.

— Огонь разводили?

— Редко, да и то помаленьку. Немец увидит и глушит с батареей...

Разместились поначалу, у бойниц стали. Армейцы уходят. Папашек много:

— Счастливо, дай бог, сынки.

— Счастливо. Имущества не забыли?

— Какое тут имущество? Одна ложка.

Расстались.

Темно. У немцев почему-то перестали взлетать ракеты. Ну, что такое?

В тишине слабый стук. Затихли. Прижались все к бойницам. С немецкой стороны — далекий стук.

— Ох, ты!

— Тс-с.

— Идут, что ли?

— Работают.

— Проволоку ставят.

Послушали. Немцы забивали колья нового ряда заграждений.

— Вот оно отчего ракет-то не пускают.

Поживают парни в окопе. Подрыли его, глубже сделали. К офицерским блиндажам досочки положить приказано. Ползают ночью над окопами вестовые, доски собирают. Днем куда ж соваться?

Ночью мичман-полуротный идет с двумя разведчиками связь с соседями-стрелками устанавливать; они стоят правее.

Вошли в болото, земля под ногами чавкает. Тьма...

— Держитесь — ты правее, а ты левее, а я в середине. Дистанцию держать по десять шагов друг от друга. И тихо.

— Есть, васокродь.

Шагает мичман, зажал в руке револьвер. Первый раз мичман в боевом деле... Да боевое ли это, собственно, дело?.. Боевое! Несомненно сопряженное с опасностью в полосе действительного ружейного огня...

Повисла ракета над дальними кустами, тихо дрожа опускается и догорает вдали. Тихо... Ни одного выстрела. А сколько глаз наблюдают и с той и с другой стороны!

Мичман слушает — осторожно крадутся разведчики... Потом и их шаги затихают. Почему? Остановился мичман, сердце колотится. Постоял и опять — вперед. Нельзя иначе. Только спокойнее! Ступает — а под ногами что-то мягкое, черное.

— Ни с места! Кто тут?

— Я-а.

Спокойнее... Спокойнее...

— Кто?

— В секрете.

— Стрелок?

— Ага. А ты кто?

Как ответить?

— Разведка, от соседей слева.

— А-а...

— Ты тут один?

— Один.

Мичман нагибается к стрелку... Какая одинокая, какая удивительно спокойная и простая фигура... Один в этой пустоте... Послали — лежит, глядит... Знает свое дело. Такой одинокий в этом болоте... И такой уверенный. Ну что сказать ему?

— Ты... курить хочешь?

— Нет, некурящий.

- Как пройти-то к вам?
- Прямо дуй.
- Ну, до свидания.
- Прощай.

Мичман направился к стрелкам. Страх прошел — уверенность солдата успокоила его... Скоро мичмана нагнали разведчики. Вместе разыскали стрелков и обо всем договорились...

- Вернувшись, мичман коротко докладывает:
- Размер интервала шагов четыреста — пятьсот. Болотом. Стрелками выставляются секреты...
 - Этого достаточно?
 - Вполне.
- Мичман поверил в силу простого русского солдата.

- Живут день-другой, привыкают матросы.
- Жить можно.
 - Чего не жить, только умирать не надо.
- На второй день немецкая батарея открыла огонь. Люди забились в окопы, а кто — в ямки под передней стенкой. Один другого успокаивает:
- Ничего, ребятки...
 - Обойдется...

Снаряды рвутся, дым... Гарью несет... Постреляли немцы, прекратили. Матросы перевели дух.

Целый день ходили с «цейсами» артиллерийские наблюдатели, все осматривали, записывали. Телефонисты тянули новые линии: идут с катушкой, разматывают, к стенкам окопа палочками провод прикрепляют, где по-верх перебросят, песком присыпят.

Вечером мичман опять матросов вызывает:

- Ну, кто в разведку?
- Вызвались молодые:
- Дозвольте, в первый раз, васокродь?
- Пойдем!

Пошли с гранатами и винтовками, налегке, без снаряжения — как в разведки ходят. Проползли канавкой под своей проволокой, вышли в хлеб. Отдыхают. Мичман предлагает:

- Покурим, братцы, садитесь, берите.

Угостил папиросками. Ну, матросы двумя пальчиками из ихнего портсигара берут и шепчут в очередь:

— Покорнейше благодарю, васокродь.

Покурили. Мичман разговор заводит:

— Не боитесь, а?.. Не страшно?

— Не могу знать, васокродь.

— Почему ты не можешь знать?

— Стучит в нутре, васокродь. Начеку состою.

Усмехнулся мичман. Травку сорвал, пожевал.

— Ну, а ты что сейчас думаешь, Гаврилов?

Папироску Гаврилов убрал и шепчет:

— Так что думаю, васокродь!

— О чем?

Молчит матрос. Не привыкли матросы с господами офицерами разговаривать. И ничего тут не поделаешь. Не знают, что сказать, рука к шву ползет... Какой уж тут разговор!

— Ну, а что ты сейчас будешь делать?

— Не могу знать, васокродь. Как прикажете, васокродь.

— Ну вот, голубчики, попробуем взять языка, немца.

— Есть, васокродь.

— Только ползите без звука. Кто кашляет — беда. Засверлит в носу, захочется чихать — дави губу пальцами. Вот так. Ну, пошли благословясь. Не шуметь, не кричать.

Тишина над позициями. Стоят у бойниц окопники, во тьму глядят. Впереди секреты лежат. А еще дальше — разведчики ползут. Прохладой, сыростью с болота тянет... Правее, где 2-я гвардейская пехотная дивизия, гремит, урчит артиллерия...

Разведчики выползали в ту ночь по всей первой линии фронта, извиваясь среди деревьев, кустарников, хлебов, погружаясь в ямы, канавы, рывины и воронки... Они продвигались к окопам немцев и австрийцев.

Опытные разведчики ползли, по привычке соблюдая тишину. Движения разведчиков были необычны. Люди превращали себя в деревья, кусты, камни. Они передвигались непостижимо тихо и, не выдавая себя, приближались к чужим окопам.

Когда была русская артиллерия, немецкие ракеты опускались и дрожа затухали. Тогда разведчики, пользуясь темнотой, стремительно неслись вперед, зная, что немецких наблюдателей слепят вспышки русских батарей. Слепят, и это спасает разведчиков. А в ту секунду, когда взлетали немецкие ракеты, разведчики застывали, исчезнув в кустах или прижавшись к земле. Это была тяжелая работа.

Разведчики должны были в эту ночь взять контрольных пленных, найти удобнейшие пути для атаки.

Поползли и матросы к немецким окопам. Ночь росистая, пшеница высокая, жать пора. Эх, пропадает хлеб!.. Курс дан на звезду, к грушевым деревьям...

Ползут, ухом к земле никнут. Слушают. Первый раз матросы в пешую разведку пошли. Ох, ползти по земле, все вперед да вперед — сколько гирь на ногах! Ночь темна, только ракета взлетит — парни в землю влипают. Кто на боку ползет, кто на животе. Дыхание задерживают, а сердце бьется все чаще и чаще. Будто версту проползли, а выходит, как оглянешься — шагов с полсотни. Еще проволока своя видна. А до грушевых деревьев, что у немецких окопов, куда как далеко!

Как взять живого немца? Какой он? Кто его видел? Ползут парни, и мерещатся им немцы. Штыки у них, сказывали, с пилами, убьют. В темноте все что-то чудится... Шорохи слышатся...

— Владычица, спаси и сохрани, свечку поставлю, чего меня убивать, ей-богу...

Прошмыгнул по хлебу кто-то... Господи, в глазах — немцев цепь... ползут... Застыл... Прислушался... Никого... Голову поднял — никого...

— Суслик, наверно, или крот... Никола Морской... Только б не убили, только б не убили... Покурить бы, господи...

Ползут разведчики. И где край этому хлебу, где свои, где кто? Все в голове спуталось, на звезду глядят, а там ли звезда? Может, сбились? Впервые ведь... Сами себя боятся. В болоте, может, водяные — у воды всегда нечистая сила...

Доползли разведчики прямо и точно к грушевому дереву. Над ними — звезда... Проползли еще дальше — ка-

пелъ слышно. К ветру ухо: действительно, кашель, живой немец кашляет!

Лежат, слушают... В болоте заныли лягушки. Рядом прошуршало... Вот они! Забыв страх, матрос вскочил, вскинул винтовку:

— Стой! Кто идет?

— Не ори ты, шшш...

— Виноват, васокродь.

Ох, счастье... Полуротный!

— Ну, что?

— Наблюдаю, васокродь!

— Ничего?

— Никак нет, васокродь!

— Видно, не достать сегодня языка... Ты как думаешь?

— Вроде так точно, они сидят, не вылазят.

Поползли обратно. Легче, легче обратно ползти! Сноровисто выходит... Чайку глотнуть, покурить — радости столько будет.

В окопе чают разведчики, да вот обида — сахара нет, а чай без сахара — какая уж радость?

Идет разговор по окопу:

— Засаду делали?

— Ага.

— Ну, а как там было? Боязно?

— Ну-у, чего боязно? Лежишь, глядишь... Чуть што и сгребли б! Да, дело-то не простое, — немцы не вылазят...

— Явное дело, боятся.

— Им, может, кто сказал, у них шпиёнаж кругом. Вчера рядом в деревне огоньки мигали.

— Узнали, поди, что пришли матросы, вот и боятся.

И мнение появляется: немец боится матросов! Матрос на немца нарвется — скрутит его враз, морским узлом свяжет, на руках доставит. Очень просто! Был же в Севастопольскую кампанию герой-матрос Кошка... Скажи, что не так? Ну?

К вечеру из тыла подвезли на передовую ящики, набитые консервами и сахаром. Продукты разносят по окопам. Гвардейцы злобствуют.

— Зачем нам в могилу по пять фунтов сахара? Где вы раньше были?

В полночь на пятнадцатое июля — приказ: приготовиться к атаке, артиллерийская подготовка с шести часов утра, атака в полдень.

Ротные вызвали фельдфебелей и взводных:

— Осмотреть все еще раз. Ножницы для резки проволоки чтоб были в порядке. Людей с ножницами в первую цепь. Гранатометчиков — тоже.

— Есть, васокродь.

— Проверить, есть ли у всех лопаты. Индивидуальные пакеты не забыть. Ну, с богом!

Унтера желают:

— Счастливо оставаться, васокродь.

Фельдфебель Садовников, может быть, впервые в жизни, просто, по-хорошему говорит:

— Покойной ночи, васокродь. Все сделаем, будьте спокойны.

— Спасибо. И ты отдохни... Спасибо.

Не сидится матросам в окопе. Не спится... Напоследок все наверх вылезли. Никто не запретит — завтра, может, и помирать. Понятно, что перед атакой с дисциплиной не очень строго. Вылезли подышать, белье сменить и полученные продукты съесть. В чем дело — утром в атаку, не таскать же консервы в ранце до самой смерти. Вспарывают банки ножами, штыками.

— Эх, консервы знаменитые!

— Чарочку бы!

— Не дразни, кишка заплачет.

— В Пирее, помнишь, коньячишка был, а? Эх, гулял «Олег», дымок шел... А как англичанам дали, помнишь?

— Ага, за катер...

Сахар зубами колют, сосут, хрустят. Все равно выбрасывать, пускай меньше пропадает. Патроны обтирают, чуть смазывают:

— Вгонится лучше.

У кого есть кирки, топоры — заботятся, как бы лопатку зацепить. Лопатка — дело первейшее: в атаку пошел, держи наискось перед лбом, пуля, говорят, рикошет дает; потом окапываться, может, придется; потом из лопатки можно упор для стрельбы сделать. Много толку в лопатке.

Раздеваются матросы, белье сбрасывают на траву, чистое надевают.

— В баньку бы.

— С нянькой бы.

Некоторые подсчитывают оставшиеся до атаки часы жизни. Их устрашающе мало... А вдруг убьют?.. Кто заснул тут же на траве, кто молится, а кто при огарке письмо прощальное пишет...

* * *

На Юго-Западном фронте русская армия готовилась к новому наступлению. Союзники неотступно, попрежнему требовали от России помощи; в Ставку летели телеграмма за телеграммой. Австрийцы продолжали громить Италию, и — чтобы Ломбардия не была под Габсбургами — вновь должна была наступать русская армия. Чтоб окончательно избавить Францию от падения Вердена — русская армия вновь должна была отвлекать на себя военные силы Германии. Дорогой ценой платили русские солдаты по кабельным векселям, выданным царской Россией английским и французским капиталистам.

Рассветало. Гвардия еще дремала в тишине. Над болотом слева стоял туман. Затихло все. Только какие-то птички чуть чирикали.

В шесть часов утра русская артиллерия открыла огонь. Из лесов, с опушек, из ложин, из-за дальних строений били сотни батарей разных калибров. Тяжелые орудия слали снаряд за снарядом. В ушах надолго оставалось, слышное даже сквозь гул разрывов, шуршание пролетающих над окопами снарядов. Где-то совсем близко оглушающе палили трехдюймовки.

Земля отдавала солнцу место приближавшейся атаки — и солнце уничтожило туман. Тогда предстали окопы противника. В безветрии над ними нависли дымы. Дымы колебались от новых разрывов, от колоссальной силы стремительного движения воздушных волн. Ввысь взлетали камни, доски, балки, колья, ветви и еще что-то неразличимое.

Офицеры ходили по окопам морского батальона, молча наблюдая за людьми, прислушиваясь к их словам. Офицеры таили беспокойство: как пойдут гвардии матросы? Настроения некоторых уже внушали опасения...

Гвардейцы выглядывали из окопов:

— Ну и ну!

— Сила.

— Попади в такое.

— Выбьет их вчистую?

— Вроде...

— Не усидеть беднягам.

— Хоть и немцы, а ведь как мы, не по своей воле воюют...

Они прежде всего расценивали происходящее применительно к себе, и в голосах их слышалось сочувствие солдата к солдату, выраженное скупой и просто.

Снаряды шуршали, выли, свистели, шипели, гудели. Офицеры нарочито громко восторгались необычайной силой русской артиллерийской подготовки. Только полуротный — мичман — ходил задумчивый, помалкивал.

Над немецкими окопами пылали пожары, клубы дыма уже поднялись высоко в небо, глухо, со скрежетом рвались снаряды, снаряды, снаряды. Высохшая под солнцем земля превращалась в пыль, смешивалась с толченым камнем и бетоном, с взлетающими на воздух деревьями и бревнами. Дым, сгущавшийся с каждым часом все больше и больше, окутывал на многие версты линии немецких окопов. Сотрясение земли передавалось и русским линиям.

Артиллерия мешала небо с землей.

Постепенно огонь и разрушения в окопах противника влияли на настроение враждебно и мрачно ждавших приказов солдат и матросов. Противник молчал, и им казалось, что у немцев все уничтожено, что можно одним рывком добежать до их окопов и быстро завершить неизбежную атаку.

Сразу подметив перемену настроения в окопах, офицеры подзадоривали, бодрили людей, убеждая их в несомненной победе.

— Бьет Россия!

— Не то, что было!

— Любили немцы пятнадцатый год — отомстим в шестнадцатом.

Матросы повеселели. Покрикивали:

— Го-го! Глянь — артиллерия садит!

— Расея и взаправду голос дает! Шевелись-вертись!

Чай вскипятили, хлебают, хлеб жуют с салом, поглядывают.

Офицеры ходят довольные, сдерживают улыбки: просить роты, видно, не придется — все сами рвутся.

Шесть часов мешала артиллерия небо с землей. К полдню и резервы подтянулись ближе.

Время атаки приближалось.

К двенадцати стало в окопах потише: весело глядеть на артиллерийскую подготовку, а в атаку идти — дело другое. Прощаются со своими отделениями гранатометчики и те, которым провололочные заграждения резать поручено.

— С богом!

Лестницы в окопах поставлены, ступеньки отрыты для выхода.

По телефонам сверяются тысячи ручных и карманных часов. По первым линиям сквозь гул идет передача: «Без пяти-и двенадца-а-ать». Все притихли. Земля еще сильнее гудит, дрожит. Артиллерия бьет сильнее.

Поправляют бескозырки матросы, пояса подтягивают. Кто ранец или скатку бросает, чтоб идти налегке. Некоторые кадровики, постепенно разгораясь, играют винтовками, как некогда на площадях столицы, вспоминают Гвардейский экипаж, казарменный плац: «Вперед коли, назад коли!» Пришло, кажись, время попробовать...

Артиллерия переносит огонь в глубину расположения противника, на погашение его батарей.

Полдень!

Гвардия начинает атаку 15 июля 1916 года.

Безлюдное пространство палимой солнцем долины Стохода разом покрывается ринувшейся вперед пехотой.. Винтовки на руку, равнение направо. Офицеры — впереди. Шеренги вспахивают своим ходом поле пшеницы.

Одновременно над ними, в том же направлении, рассекая воздух, летят снаряды. И все движение на запад венчается плотными, ровными грядами бурлящих, воинственных облаков, несомых благоприятным ветром, вещающим, что нет опасности от газов.

Полдень!

— Вперед!

Вместе с гвардией идут в атаку и матросы. Немецкие окопы в пшенице... Матросы на ходу мнут, валят хлеб, хлещет пшеница по сапогам. Эх, жаль хлеба! Снаряды русские свистят... Дальше, дальше бьют! Бей!

Роты ускоряют свой ход, развивая огромную силу удара.

Разом в ответ хлестнули немцы. Слева наискось забили пулеметы — в упор по частям, а над головами лопается немецкая шрапнель. Хлопает, сверкает, бьет. Держись, земляки! Делать теперь нечего! Немыслимо идти молча в атаку. За триста шагов до немецких окопов загремело «ура», и бешено кинулись матросы вперед.

Глушит, хлещет немец. Сидел в укрытиях, в своих «лисыих норах», молчал, а когда надо — вылез. Достань его в норе!

Несутся роты вперед. «Ура» все яростнее и яростнее... Но звучит оно не былой удалью, а отчаянием и злобой... У самого окопа — гранатометчики кидают гранаты. И все с хода вниз: в окоп. Вот они, враги!

Первая цепь летит по окопу. Окоп — глубже сажени, широкий. Схватились... Бой идет в окопах. У одного из немцев застрял в груди русский штык — вогнал его матрос со всей силы. Немец глядит на грудь свою, сам руками помогает матросу вырвать обратно штык и... мертвый обвисает...

Вторая цепь летит. Кто-то смаху бросает гранату. Грохот, подорвались и свои и чужие.

— Полундра!

— Сто-о-й! Свои!

Окопы разворочены. Завалены трупами и ранеными. Двигаться дальше еще труднее, но все еще бегут вперед, кто поверху, кто по ходам сообщения. Цепи смешались — здесь и матросы и солдаты...

— Вперед! Не останавливаться!

Гвардия прорвалась в третью линию окопов. Устали, задохлись от бега, залегли, притихли...

Атакующие пытаются разобраться: что же произошло, что происходит и что будет дальше?..

Немцев уже почти не видно. Ушли, что ли? Попрятались? Отход немцев скоро получил свое объяснение.

* * *

Молчавшая германская артиллерия внезапно открывает огонь. Буйному огню русских она противопоставляет свою выверенную, точную систему.

Занятые русскими окопы обстреливаются методическим, все сметающим огнем. Применяется расчет: на каждые сто метров окопов тысяча двести легких и тысяча четыреста тяжелых снарядов, срок — три часа.

Интервалы между выстрелами тяжелых орудий заполняются точным числом выстрелов легких орудий — четыре выстрела в минуту — с целью постоянного воздействия на моральное состояние русских солдат, уже достаточно подорванное за годы войны, что хорошо известно германской разведке.

Германская система огня действует методически, непрерывно, с беспощадной ритмичностью. Каждое орудие имеет точные таблицы заданий, целей, протяжения участков, скоростей стрельбы. Многократные линии связи, оптическая аппаратура Цейса и Герца и топографические условия обеспечивают действия системы...

Система убивает все живое, безжалостно превращает в пыль свои же добротные немецкие окопы, захваченные русскими.

Система демонстрировала прекрасные промышленные фабрики Круппа, продукцию четырехсот пятидесяти ее доменных печей, справившихся в течение двухсот пятидесяти часов с первоклассными фортами Антверпена и восьмидесяти четырех часов с фортами Намюра.

Система была триумфом мощных капиталистических предприятий, обрекавших — по закону конкуренции — более слабых на уничтожение.

За этой первой комбинированной линией огня следует вторая, заградительная. Местность, куда стремятся подойти русские резервы, находится под двойным огнем гаубичных снарядов и шрапнелей.

Третьим и четвертым видом огня является огонь на ослепление русских артиллерийских наблюдателей и погашение огня русских батарей по данным длительных наблюдений и воздушной съемки. Батареи подвергаются уничтожению или нейтрализуются 152-миллиметровыми гаубицами. Расчет — от четырехсот до пятисот снарядов на батарею.

* * *

Ошалевшие, сбившиеся роты сидят в захваченных ими окопах немецкой третьей линии. Падают тяжелые снаряды. Оглушающе-протяжно, замедленно и страшно крикают. Тянет черно-зеленым дымом...

— Недолет.

— Мал-мала не дохватил.

— Подрывайся под стенку.

Второй залп ложится почти по брустверу. Окопы дают трещину и осыпаются.

— Придавит...

Нарастающее шипение снарядов и грохот взрывов заглушают все команды. Все ходы сообщения забиты мертвыми и ранеными. Здесь и русские и немцы. Вынести раненых — невозможно... Прижавшись к стенке, замерли живые... Волосы слиплись, лица почернели...

Мичман цел, стоит в ходе сообщения. Бледный, но покрикивает:

— Ничего, обойдется...

Трясутся у матросов руки, скрутить цигарку не могут, махорка просыпается.

— Никола Морской, выручай...

Падение снарядов все чаще и чаще, и запах пороха все нестерпимее. Окоп содрогается... Осколки жужжат, гудят, свистят. Земля оползает, засыпая людей.

— Убьет, убьет! Если б только ранил... И чего я бежал сюда, ради чего, за что?.. Летит, опять летит... Пронеси, пронеси...

Земля снова валится пластами, двух придавило. Никто не шевелится. Мичман кричит:

— Помогай, откапывай!

Поднялись матросы, встряхнулись, откопали своих.

Летят, свистят, рвутся снаряды...

Батальон теряет силы. Яростный грохот, едкий дым и чьи-то стоны из-под свалившегося бревенчатого наката...

Матросы подползли к мичману:

— Васокродь, может, какое приказание будет?

— Пока подождем.

— Разнесет нас так, вон косит!

— Подождем. Резервы подойдут. Нельзя оставлять окопа.

Внезапно орудейный огонь прекратился, в наступившей тишине раздался крик: «А-а-а-а». Что такое? Поверху вперед бегут солдаты.

— Немцы в атаку идут!

Немцы после ответного шквала артиллерийского огня действительно пошли в контратаку. Выскакивают матросы наверх: кто стреляет, кто стоит — «ура» кричит, кто вперед бежит. Не разбира-бери...

Немцы перебегают с места на место, стреляют стоя или с колена.

Кричат матросы:

— Вон они!

— Бей их!

Мичман командует:

— Вперед!

Застрочили немецкие пулеметы, косят выскочивших из окопов людей. Дрогнули матросы, иные остановились, другие назад в окоп лезут.

Увидя это, мичман кричит во весь голос:

— Станов-и-ись!

Как на плацу! Услышали матросы, обернулись... Годами ведь привыкали к этому окрику... Сбегаются, строятся под огнем...

— Направо равняй-сь!

Подравниваются, а немцы по живой цели бьют... Один матрос охнул, упал...

Мичман командует:

— От середины в цепь! За мной, вперед, ура!

— Ур-ра!

Рванули. Немцы попятись... Не ожидали... Контратака немцев быстро выдохлась, ее сменил новый шквал немецкого артиллерийского огня.

Полыхают за окопами и перед ними взрывы, черным дымом окутывают захваченные русскими позиции, куда должны подойти их резервы, а над черным дымом в небе белеют шрапнельные разрывы. Снаряды пригибают лю-

дей к земле. Бесперывно крушат немцы прорвавшуюся в их расположение гвардию. Запасы германской артиллерии снова превзошли запасы русских.

Преследуемая не дающим ни секунды передышки огнем, ища спасения, но не отступая, гвардия залегла в болоте, прячась в кустах и высокой траве. Поле осталось позади...

Густо стелется дым пожарищ. В воздухе носятся черные, перегоревшие соломинки и падают, падают, как черный снег. Безостановочно рвутся снаряды.

Немецкие гаубицы поднимают на воздух целые пласты черной болотной земли. С высоты летят осколки. При их падении булькает вода в развороченных на болоте воронках. Почерневшие от грязи цепи гвардейцев влипли в топь, но держатся упрямо.

Мичман лежит в траве, потирая рукой висок, — чем-то больно ударило...

* * *

По захваченным немецким окопам третьей линии бежит связной, посланный командиром морского батальона со срочным пакетом для мичмана. В окопах мертво, только слышатся стоны раненых русских и немцев, которых под обстрелом нельзя унести...

Кто-то хватается связного за руку.

— Hilf mir! ¹

— Немец? Герман?

Не слыша окриков начальников, вдали от них, матрос заговорил с раненым немцем, показывая в сторону рвавшихся снарядов.

— Плохо? Бум, бум...

— Ja, ja... ²

— Наших и ваших...

Подсумки у немца матрос заметил — кожаные, на три пачки каждый. Раскрыл — почти пустые.

— Стратил? По нас стрелял?

— Ich muss es tuhn ³.

¹ Помогите мне! (нем.).

² Да, да... (нем.).

³ Я должен это делать (нем.).

Матрос видит на груди у немца черный с белой каемкой Кульмский крест.

— Глянь-ка, у меня такой же? Ты у кого взял?

Пораженный немец глядит на грудь русского матроса.

Все гвардейцы носили как отличие Кульмский крест, данный русской гвардии в 1813 году королем Пруссии Фридрихом за разгром французов при Кульме. Так с тех времен и носили. Этот же крест был и для немцев наградой за храбрость.

Качают головами, удивляются. Дело непонятное. Почему у обоих одинаковые кресты?

Матрос помахал немцу рукой, вылез из окопа и полз дальше, к болоту. Разглядел редкую цепь — свои...

Ждет, смотрит: падает залп. Считает: раз, два, три, четыре, пять... Падает второй. Считает: раз, два, три, четыре, пять. Высчитал, сколько секунд между залпами, — надо успеть перебежать... Добрался. Мичман лежит, будто спит. Устал...

— Васокродь! От батальонного.

А батальонный — капитан первого ранга, флигель-адъютант его величества — под шестью накатами бревен в штабе батальона пребывают.

Прочел приказание мичман. Вскочил...

— Переползай по одному назад. К первой линии немецких окопов. По цепи передавай. Не бегать!

Кто живой — ползет обратно. Мичман рядом, идет в рост. Немцы усиливают огонь.

Снаряды ложатся по болоту, разрывая его, разворачивая. Земля дыбом становится — как смерч!

— И отойти не дает! Пропадем...

Воздух колеблется. В полосе дыма, подхваченная воздушной волной, пронеслась какая-то птица. Мичман идет, за ним ползут связной и остатки морского батальона. Наконец, добрались до хода сообщений и по окопу — обратно. Жаль мичману оставлять захваченный окоп третьей линии... Но делать нечего... Снаряды рвутся рядом... Тонко, тонко пропел осколок...

В грохоте взрывов, в окопной тесноте, в спешке отступления не замечают матросы, что не шагает рядом их полуротный...

Засел батальон в первой немецкой линии. Гвардия закрепилась и удержала позицию. Ночью вызвались матросы идти на поиски пропавшего мичмана.

Ползают парни по разрытому полю, шарят, влипают в какие-то лужи — не то кровь, не то грязь...

Ракеты взлетают над полем, освещая тела убитых гвардейцев на смятом, спаленном поле пшеницы.

— Чисто пахано, а?

— И не говори... В море того не видел.

— Там свое, здесь свое.

— Нам везде припасено.

Ползают парни, ищут... Понизу земля пахнет смрадным снарядным запахом.

Лежит убитый матрос... Глядят, не узнают. В гашнике кошель нашли, а в нем номерок жестяной — фамилия Садовников.

— Взводный это!

— Ну-у!

— Крепко доставалось от него... И вот — лежит убитый...

— Песни он любил...

— Отнесем взводного?

— Да где тут!

— Пошли, раз надо...

Забылись, зашпорили, зашумели... Сразу пулемет застрочил. Не было печали! Выждали. Один к окопу третьей линии — на разведку пополз... Пусто... Немцы, видимо, еще не решались занять его... Знак подал — остальные подбежали, в окоп прыгнули...

Шарят, шепотком кличут: «Васокродь» — нет никого. Ракета опять светит... Видят: из-за поворота в окопе ноги — сапоги маленькие...

— Они — мичман. — И понесли тело мичмана в роту.

Их встретил новый, присланный вечером полуротный.

— Нашли, васокродь.

— Молодцы.

— Рады стараться, васокродь.

Ночью отправили мичмана в цинковом гробу. Маршрут: Режица — Ровно — Киев — Петроград. И лаконичное, краткое сообщение: «Пал смертью храбрых...»

Могилев.

В одной из комнат барского особняка сидел у стола, освещенного тяжелой настольной лампой, пехотный офицер средних лет. Осторожно, беря страницы за верхний край, он перелистывает Марка Твена, время от времени стряхивая пепел папиросы и хихикая. Кончив чтение, он встал и, все еще посмеиваясь, шагнул к окну. Нога, затекшая от долгого сидения, подвернулась. Тогда, охнув и скривившись, офицер начал осторожно шевелить ногой, сгибая и разгибая ее. Когда нога стала сгибаться без боли, офицер двинулся к окну, весело подпрыгивая — от ощущения здоровья и избавления от неприятного чувства, напомнившего ему о том, что где-то сейчас у других бывают острые боли, раны и ампутации. Прикрыв рот, офицер зевнул, потянулся, подняв руки и привстав на носки.

За окном было темно. Внизу стоял часовой Георгиевского батальона.

Офицер побарабанил по стеклу и улыбнулся, вспомнив прочитанное; вернулся к письменному столу, открыл ключом верхний ящик, вынул тетрадь, раскрыл ее, разгладил страницы, взял ручку и, обмакнув перо в массивную чернильницу, записал почерком без нажима:

«...15-е июля... Гулял немного. Днем наступала гвардия... За обедом слушал забавные истории... После ужина читал Твена. Много смешного».

Кончив запись, он рассеянно водил пером по полям тетради, пытаясь одним движением, не отрывая пера, нарисовать «конвертик». Потом отложил перо и задумался: чем бы заняться? Придумав, он приложил пресс-папье к еще не просохшему рисунку, нажал раз, другой и третий. Затем, положив пресс-папье на место, придвинул к себе бронзовую коробочку, открыл крышку и вынул чернильную резинку. Еще раз поглядев, высох ли рисунок, осторожно стал стирать его резинкой. Когда рисунок был стерт, офицер положил резинку в коробочку, закрыл ее и поставил на место. Затем он придвинул к себе пепельницу, но, передумав, отодвинул ее обратно и вынул перочинный нож. Открыв малое тонкое лезвие, он тихо, затаив дыхание, стал собирать лезвием кусочки резинки и бумажную пыль, оставшиеся на месте стертого рисунка. Собрав все в маленькую кучку, он сложил перочинный

нож, придвинул к себе пепельницу и, приподняв над ней тетрадь, чуть наклонил ее и постучал по корешку. Кучка пыли и остатки резинки ссыпались в пепельницу. Тогда офицер взял лежавший рядом с бюваром нож для разрезания книг и блестящей закругленной рукояткой его осторожно загладил шероховатость, оставшуюся на месте рисунка. Шероховатость была заглажена, но он заметил на бумаге маленькие оставшиеся царапинки. Офицер потер эти царапинки ногтем среднего пальца и этим почти уничтожил всякие следы рисунка. Тогда, посмотрев страницу на свет, довольный собой, он закрыл тетрадь, положил ее в ящик стола и запер его на ключ.

Часы пробили двенадцать. В комнату тихо вошел человек.

Офицер встал, бездейственный и требовательно-послушный. Вошедший снял с него мягкую гимнастерку, ловко помогая извлечь руки из рукавов; вынул запонки из рубашки и положил их на особое блюдечко на ночном столике; спустил с плеч офицера шелковые подтяжки, почти не касаясь его тела.

Когда подтяжки были спущены, офицер сел на стул и, расставив ноги, начал расстегивать брюки. Человек стал перед ним на колени и снял с сидевшего сапог, осторожно и одновременно подергав его одной рукой за задник, другой за носок. Так же стянул он и другой сапог. Выждав, пока офицер расстегнет все пуговицы на брюках, медленно стянул и их, помог снять рубашку, подал ночную, принес и надел ночные туфли и, аккуратно сложив вещи, вышел, тихо прикрыв дверь.

Шаги ушедшего затихли...

Офицер подошел к умывальнику и посмотрел на себя в зеркало. Поджав сердечком губы, расправил мизинцем тонкий рыжеватый завиток волос на груди и прополоскал горло.

От какого-то движения, звука, запаха что-то вспомнилось... Мысль офицера, всегда аккуратная и бедная, устремилась вдогонку за мелькнувшим воспоминанием, пытаясь постигнуть причину неожиданного нарушения обычного хода мыслей. Он начал восстанавливать в точной последовательности свои движения и мысли: «Я подошел к умывальнику. Так... Я — в зеркале... Что же дальше?.. Сполоснул горло, посмотрел в зеркало, волосы... Ну?» И, наконец, он вспомнил: «Ага, умывальник, зер-

кало, волосы!» Сразу всплыл в памяти давний острый и стыдный случай... Офицер ощутил легкое волнение и, чуть-чуть смущенный, машинально пригладил прическу, усы и бороду.

Бесцельно потоптавшись на месте, офицер подошел к столу, отомкнул ящик, вынул записную книжку и раскрыл ее на последней странице, где был календарь. Он посмотрел на значки, аккуратно нанесенные красным и черным — на крестики, кружочки, черточки, угольнички, отмечавшие домашние — личные и семейные — дела: дни именин, рождений, годовщин и прочее. Вздохнув, офицер вынул карандашик и, найдя дату «15 июля», поставил рядом восклицательный знак, потом закрыл книжку, положил ее на место, снова задвинул ящик стола и повернул ключ. Волнение еще длилось, — и было неудобно начать вечернюю молитву. Офицер выпил воды... Став лицом к углу, где теплилась лампада перед старинной иконой в тяжелой серебряной ризе, офицер опустил на колени, зашептал по-церковно-славянски и тремя пальцами — указательным, большим и средним — касался лба, плеч и живота... Но молитве мешали посторонние мысли. Он, досадуя, отгонял их, но, отгоняя, снова сосредоточивался на них же...

Вспомнившийся случай не выходил из головы... Умывальник, вода, зеркало... И голос женщины... когда она, причесывая рыжие локоны, удивленно произнесла: «Ты — божий помазанник? Да?..» Ее испуг и судорожный смех...

Офицер тихонько стучался лбом об пол, шепча: «Прости, господи... прости, господи...» Затем он погасил лампу, зажег ночник, так как боялся темноты, и лег в кровать, вспоминая женщину, которая смеялась над его титулом:

«Божиею поспешествующею милостью, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский; Государь и Великий

Князь Новгорода-низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны Повелитель; Государь Иверские, Карталинские и Кабардинские земли и области Арменские; Черкесских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая».

Николай II — ныне исполняющий роль Верховного главнокомандующего армией и флотом Российской империи — повернулся на другой бок и, наконец, сладко уснул...

* * *

Наступление на Стоходе, начатое в полдень 15 июля 1916 года, захлебнулось к вечеру 15 июля. Гвардия устояла ценой огромных потерь.

Во исполнение плана, принятого в Шантийи, — с ведома и благословения Николая II, — союзники решили и впредь воевать, опираясь на помощь русской армии, вплоть до последнего русского солдата.

В ночь на шестнадцатое июля подошедшие резервы сменили остатки гвардии...

* * *

За день пятнадцатого июля на Стоходе вышли из строя тысячи солдат. Санитарные и товарные поезда, переполненные ранеными гвардейцами и пленными, пересекали Волынь...

Ночь. Июльский вечер томил духотой. С грохотом несется поезд. Раскрыта дверь товарного вагона. Прижавшись щекой к косяку, стоял раненый — маленький человек в хаки, почти мальчик, — доброволец. Он вынул голову навстречу ветру.

Поезд летел к Киеву. Раненый закрыл глаза, провел здоровой рукой по развевавшимся на ветру волосам и зашел.

Вдоль полотна железной дороги ветер гнул тополя. Летели искры, искры! Из тьмы вагона доносились стоны и храп раненых.

Мальчик пел, чтобы не стонать от боли. Кто-то рядом с ним прошептал:

— Trinken!¹

Пленного немца мучила жажда. Доброволец вздрогнул и перестал петь. Он смотрел на раненого врага. Вот он — враг! Присутствие немца и его голос раздражали... Боже мой, как болит рана!

Немец шепнул опять:

— Trinken!

Нет, будь ты проклят, враг! И тут же мелькнуло сомнение: но ведь это раненый, пленный...

— Trinken!

Немец подошел вплотную. Он всхлипывал, что-то тихо говорил и поводил забинтованными и потому казавшимися огромными руками... Видимо, у него были перебиты обе кисти рук.

Подавленное молчание...

Немец снова зашептал — он снова просил утолить его жажду. Надо дать... Неудобно, он же просит... Доброволец медленно протянул перед здоровую руку с флягой... Он забыл, что у немца тоже раненые руки. Вспомнив, русский солдат, преодолевая собственную боль, обхватил больной рукой голову немца и приложил горлышко фляги к его воспаленным губам, оправдывая себя тем, что он действует как санитар, как сиделка.

Поезд грохотал во тьме... Вагон швыряло из стороны в сторону. Дверь была открыта, потому что раненые задыхались от июльской жары. В темноте белели огромные забинтованные руки. две — немца и одна — русского. Оба поглядывали друг на друга, почти сблизив лица. Немец стал медленно подбираться к краю вагона. Левая рука русского вцепилась в борт тужурки немца.

Вагон швыряло все сильнее. Русский крепко держал стоявшего на самом краю вагона, над уходящим с громадной скоростью полотном железной дороги, немца. Русский увидел его выжидающие, недоверчивые глаза.

¹ Пить! (нем.).

Пленный глубоко дышал, впитывая долгожданную ночную прохладу. Доброволец, с детства знавший немецкий язык, спросил:

— Gut? ¹

Пленный застонал и пошевелил большими белыми руками... Он стоял, прижавшись к косяку, несчастный и все еще испуганный...

— Noch trinken?.. ²

Чувствуя каждое движение и понимая почти каждую мысль немца, русский, подавляя отвращение, в приливе жалости снова напоил его.

— Danke... ³

Немцу было трудно дышать. Он с усилием поднес забинтованную руку к горлу и умоляюще посмотрел на русского. Перевязанная рука вздрагивала, и немец вскрикнул от боли. Русский понял. Он начал расстегивать ворот тужурки пленного. Одна пуговица, другая, третья... Он старался не касаться чужого тела, тела врага...

Кажется, наконец, последняя... Как странно!.. Пуговицы ведь почти такие же, как у нас, — солдатские! Потрясающее открытие! Оно подтверждало давно мучившую его и других солдат мысль о том, что на фронте судьбы их одинаковы с судьбами немецких солдат. Вот еще одно доказательство! Пуговицы — это, конечно, мелочь, но все-таки...

Немец, благодарно улыбаясь, смотрел на русского и вдруг тихо-тихо сказал:

— Камрад...

Поезд гремел...

Одинаковы! Одинаковы! Немец, солдат, камрад — товарищ по несчастью...

ГОСПИТАЛЬ

II

Эшелоны с ранеными прибывают на станцию «Киев-товарная». Их не подают к платформам «Киев-пассажирская», чтобы скрыть от киевлян бедствия войны... Ране-

¹ Хорошо? (нем.).

² Еще пить? (нем.).

³ Спасибо... (нем.).

ные «под пение птичек, в сиянии солнца» исходят стогами...

К вечеру, пользуясь наступившей темнотой, раненых на санитарных повозках, а тех, кто покрепче, на трамваях везут в город — в госпиталь...

Лошади тащат санитарные повозки по булыжным мостовым. Обоз с ранеными растянулся по улочкам пригорода. Каждая встряска причиняет боль, вызывает вскрик, холодный пот... Тише, тише двигайтесь! Санитары!

Наглухо закрыты ставнями домики и лавки пригорода. На тяжелых железных засовах висят замки. За ставнями горят ночники, лампы, свечи. Цветут в горшках цветы. Остывают выпитые самовары. Стоят комоды с симметрично расставленными фотографиями, баночками, вазочками. Тикают часы... Кровати покрыты яркими лоскутными одеялами. В сенях — запах веников, воды, кадушек, мыла, выстиранного белья...

Вода, мыло, белье! Не дразните нас, раненых, — до слез, до иступления!

Санитарные повозки тащатся дальше...

Киев! Улицы темны. Люди спят, запершись на замки, задвижки, засовы... Никому нет дела до раненых...

Раненые глядят на беззвучные, темные дома. Раненые молчат — обиженные, огорченные... Они с завистью думают о тех, что спят в этих домах. Война идет, а им что?

Раненые, собирая остатки сил, ждут помощи, койки и утешения в госпитале.

Обоз останавливают у симметричных казенных корпусов. Госпиталь! За стенами и окнами — долгожданный отдых и покой. Примиренные солдаты спешат сойти или сползти с повозок... Их ведут или несут на носилках... мимо подъездов госпиталя.

— Куда?

— Почему?

Их размещают в палатках и просто на соломе под толевыми навесами вдоль госпитальных стен и заборов — около куч угля и штабелей дров.

Никто не сумеет описать всю горечь обманутых солдатских надежд.

А рядом — в домах, за шторами, гардинами, кисеей при свете ночников и лампад — почивали в спальнях, защищенных от жары, дурных запахов и мух, те, кото-

рые сумели, пользуясь своими деньгами и связями, избежать фронта, сохранить себя, свой дом, свое благополучие...

Утром гвардейцев, не нуждавшихся в операциях, наспех обмыли и небрежно перебинтовали. Переодетые в застиранное, измятое госпитальное белье, в пахнувшие карболой, истрепанные фланелевые халаты, раненые лежали во дворе под палящим солнцем. Многих уже не было — некоторые умерли, не дождавшись помощи, остальные ждали очереди в госпитальном коридоре у дверей «операционной». Санитары и какие-то бабы прибирали двор: посыпали его песочком и украшали зеленью палатки.

Солдаты, догадываясь, перешептывались:

— Чай, начальство ждут?

Они не ошиблись.

Днем прибыл генерал — военно-санитарный инспектор. Сестры и санитары успели сказать раненым, что он привез кресты и медали. Раненые забеспокоились:

— Кому крест?

— А за што дают?

— За што? За драку. В мирно время нас за нее в участок волокли, в военно — кресты за драку дают.

— Встать, смирно!

Привычная команда подчинила всех. Во дворе, где лежали сотни раненых гвардейцев, все затихло. Лежавшие вытянули поверх одеял руки. У кого были целы ноги, вскочили.

— Здорово, молодцы!

— Здра-жла-ваш-дит-ство!

Генерал шел, сопровождаемый своим адъютантом и врачами. Он остановился около одного из раненых.

— Ну, что? Как живется? Чем дома занимался?

Раненый промычал что-то, едва шевеля разбитыми челюстями. Адъютант засуетился, беспокоясь, что их превосходительство не понял ответа. Но равнодушный взгляд генерала уже остановился на другом:

— Ну, а ты? Где лучше, дома или на фронте, а?

— Как прикажете, ваш-дит-ство!

— Отличный ответ! Молодец!

И к третьему:

— Ну, а ты, много немцев уложил?

— Так точно, ваш-дит-ство!

— Штыком?

— Так точно, ваш-дит-ство!

— И пульей?

— Так точно, ваш-дит-ство!

Генерал заметил юношу, почти мальчика.

— А ты почему такой молодой?

«А почему вы, генерал, так глупы? Я молод, очевидно, потому, что родился в тысяча девятисотом году...»

Но так не ответишь...

— Так что — доброволец, ваш-дит-ство!

— А-а... Молодчага, молодчага...

— Рад стараться, ваш-дит-ство!

— Бог тебя спас, а ты свечку поставил?

— Никак нет, ваш-дит-ство.

— Как же это ты, братец, богу не помолился? Стыдно, стыдно...

— Виноват, ваш-дит-ство.

— Поставишь свечку?

— Так точно, ваш-дит-ство.

Генерал изволил чихнуть, а солдат стоит — молчит.

— Что ж ты, братец, здоровья своему генералу не пожелаешь? «Будьте здоровы» — по русскому обычаю говорят, а ты молчишь. Хе-хе.

— Виноват, ваш-дит-ство. Будьте здоровы, ваш-дит-ство.

— Ну, спасибо!

Генерал о чем-то пошептался с адъютантом, взял у него медную медальку и наклонился над неподвижно лежащим, молчаливым матросом.

— Какого полка?

— Гвардейского экипажа, ваш-дит-ство.

— Поздравляю, братец, с наградой.

Адъютант отогнул край одеяла, чтоб медалька могла украсить грудь матроса, но на его груди уже были две медали и три георгиевских креста. Адъютант обалдел, а генерал смущенно отошел, повертев в руках медальку

и не решившись ею приумножить ранее полученные боевые отличия гвардейца.

Распределив кое-как привезенные награды и мельком пошупав на одной из коек простыню, генерал приказал собрать наиболее крепких солдат у входа в госпиталь и обратился к ним с речью:

— Братцы, тут в Киеве... стали, гм... вашего брата на плохие дела подбивать... Листки подбрасывают какие-то... Они... мм... чем-то соблазняют вас... Но все сие — ложь, суета и обман. Вы, братцы, воины русского царя, и преступников между вами быть не должно... А если таковые есть, ваша святая обязанность их изобличать... Уговяйте на господа бога... и соблазнить им вас не удастся. Смотрите, братцы, разума не теряйте, «на бога надейся, и сам не плошай». Поняли?

— Так-точ-ваш-дит-ство!

Генерал повернулся к старшему врачу:

— Отлично. Я доволен. Толковые ответы. Благодарю.

— Ваше превосходительство, прилагаем все старания...

— С солдатами надо по-простому, душевно, берите пример с сегодняшней беседы...

— Так точно, ваше превосходительство... — и в уме прикидывает, что орден он ему обеспечен.

Генерал записал для памяти: «Раненые чувствуют себя бодро и окружены заботой» — и отбыл. Госпиталей много, и его превосходительство торопился...

Старший врач, проводив генерала, шел обратно по двору мимо раненых.

Молчаливый гвардеец-матрос шевельнулся:

— Васокродь, дозвольте претензию?

— Ну?

— Васокродь, как мы гвардейцы, покорнейше просим, нельзя ли нас в Петроград или Царское Село направить. Там служили, там пусть нас и лечат в гвардейских госпиталях. Надоело здесь без помощи валяться. В жаре да на гнилой соломе...

— Ты что городишь, дурная голова?

— Виноват, васокродь, я слуга государя императора, унтер-офицер роты ее величества государыни императрицы и георгиевский кавалер...

— Так вот, кавалер, выбей дурь из головы.

В вазочке стояли левкои. Они пахли сладко и сильно. Обстановка почти ничем не напоминала о госпитале, о раненых. Мерно тикали настольные часы, и по ночам тишина была так велика, что офицеры останавливали маленький маятник: его тиканье казалось невыносимо громким.

За окнами расстилалась даль реки. На приднепровских берегах уже лежали следы ранней осени. Офицеры вспоминали гранитные берега Невы, и в палате, если можно назвать так комнату, где находилось четверо офицеров, велись бесконечные беседы о Петербурге, о Царском, о гвардии, — полные особенных чувств, пауз, воспоминаний и цитат: «За петропавловской пальбой сердцебиение Невы», «Короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась...»

Офицеры погружались в теплый, счастливый довоенный мир, палата возвращала им забытый комфорт, потерянный рай: руки гладили хрустящее полотно накрахмаленного белья, ноздри вдыхали аромат левкоев, и во внезапно наступавшем проникновенном молчании четверо офицеров боялись спугнуть ощущение возвращения к жизни, радость надежд...

Вошла сестра. Чуть смущаясь, она спросила легко раненного в лицо офицера.

— Вы могли бы пойти на операцию?

— Пожалуйста. Когда прикажете?

— Вы могли бы сейчас?

— Как вы прикажете.

Раненый встал. Давая дорогу «даме», он улыбнулся, мужественно и грустно, друзьям и последовал за сестрой, досадуя лишь на то, что в халате его внешность кое-что теряет.

Операционная была слепяще бела и мала. В ней было много солнца.

Раненый поклонился врачу и ассистентам, устанавливая тон дружеский и неофициальный и как бы предлагая рассматривать операцию как маленькое частное дело, не заслуживающее особого внимания.

Поглядев на операционный стол, раненый вдруг что-то вспомнил, подошел к хирургу и тихо произнес:

- Могу ли я попросить вас о небольшом одолжении?
- К вашим услугам.
- Видите ли...

Раненый чуть покраснел и запнулся. Хирург предупредительно отошел в сторону, так, чтобы разговор не был слышен другим. Офицер, не глядя на собеседника, пробормотал:

— Я просил бы... я думаю, это можно... когда вы будете меня оперировать...

— Может быть, вас беспокоит боль, дать наркоз?

— Нет, я хотел бы, чтобы рана, вернее след от раны... был бы... замечен... Остался бы замечен...

Офицер решил поднять глаза на хирурга. Тот иронически-внимательно смотрел на чуть капризное лицо офицера. Он все мгновенно понял: офицеру хочется быть центурионом со шрамом на лице...

— Успокойтесь, все будет сделано.

Раненый лег. Осторожным движением сестра ввела иглу под кожу. Хирург успокаивающе произнес:

— Местная анестезия.

И, выждав, спросил:

— Что вы чувствуете? Не больно?

— Нет...

Операция была окончена. Хирург, мило пошутив, отдал офицеру вынутый крошечный осколок.

Офицер взял его «на память», попытался улыбнуться, пожать хирургу руку, но почувствовал слабость не столько от операции, сколько от пережитого волнения. Сестры подхватили его и положили на диванчик, дали выпить валерьяновых капель. Офицер, смущаясь, но в то же время с удовольствием чувствуя, что он — центр внимания, полуоправдываясь, сказал слабым голосом:

— Нервы... Окопы...

Постепенно оправившись, он поднялся, поблагодарил всех и, поддерживаемый сестрами, пошел в палату.

Постель была ослепительно чиста... Подушки — высоко взбиты. Сестры, не слушая протестующе-благодарных слов, бережно уложили офицера в кровать... Послеоперационный уход за ранеными был особенно тщательным.

По прошествии недели офицер умчится в междунациональном вагоне на север, в столицу — на отдых.

Родина баловала своих героев...

* * *

Ночью под навесами беспокойно шевелятся солдаты. Никто их не лечит. Некогда врачам, не до них... От жары еще больше гноятся их раны... После операций в бинтах завелись вши... И кормят еще хуже, чем на фронте...

Неподвижно лежит гвардеец-матрос. Из уха у него течет гной. Тоскливо молчит... Он снова бесплодно настаивал на отправке гвардейцев в Петроград. Теперь ему надо самому искать правды.

Под навесом беседуют раненые. Люди отучились в окопах спать по ночам...

— Вот, значит, после смерти осталось у ево шестьдесят копеек...

— Холера была, померло много. А земский кричал: пьянствуете, от этого и холера...

— Про какие таки листки говорил генерал-то? Почитать бы их! Раз его превосходительство их ругать изволили — знать, там про правду написано!

— Эй ты, потише, санитары бродят, за нами подглядывают...

Ворочаются, укладываясь то на один, то на другой бок, солдаты, таящие бесчисленное множество мыслей и желаний.

Раненный в голову солдат бредит в бессмысленности... Никого не узнает... Слушая его бред, один из гвардейцев говорит:

— Гляди, ребята! В нем ведь душа — божий дух — живет? Плоть у него только поврежденная... Так как же это? Душа целая — а разум потерял? По религии учили унтерá, что есть в нас дух божий, и все в порядке... Вот тут они, видно, и соврали. Какой же порядок, ежели от маленького осколка душа вон, а человек, как животное, — без памяти, без разума? А ежели дух в порядке,

на месте, то как же человек, сам видишь, конченный? Что-то тут не так... Вот я об этом все время и думаю. Раньше не думал... Народ такой поврежденный не попался...

Так у солдат постепенно иссякала вера.

В темноте, преодолевая слабость и боль, поднялся матрос-гвардеец. С ним еще человек шесть. Они уходили прочь. Набросили на плечи шинели, — вымолили их днем у сестер: холодно, мол, спать ночью...

— Двинули! Чего ждать, пропадешь тут...

— Пошли на риск... В Дарнице попытаемся сесть в поезд.

Чутье разведчиков вело их по пустым безопасным улицам к Днепру. Дома темны. Двери заперты. Киев закрыт для них...

С Днепра тянуло холодом. На мосту стоял часовой — лохматый ополченец, с берданкой, с крестом на шапке.

— Куда? Стой! Эй!

— Не так кричишь. Службы не знаешь... Пропусти, отец...

— Куда, ребята? Не могу, родные.

— Пусти! Пропадаем, загнием тут...

— Ей-богу, сынки, не могу... Ну что ж я... Да разве я... Господи!

— Пусти, отец.

— Под суд пойдем... все пойдем...

Солдаты побрели вниз к реке. «Чуден Днепр при тихой погоде...»

Шлюпки!

Гвардейцы осатанели. Они камнем разбили замок на чужой лодке, сорвали цепь.

— Долой!

Весел нет — не беда... Доску выломали... Гребут... За много лет первое проявление своей воли!

Перемахнули Днепр. Добежали до станции Дарница... Ждут. К перрону подошел и остановился скорый поезд.

— Ку-да?

— Раненые, гвардейцы мы, нам в Петроград нужно...

— В санитарный поезд.

— Пусти!.. Господин кондуктор! Хоть на тендере...
Сделай милость! Раненые ведь мы...

— Нельзя. Контроль пойдет.

— Пустите, господин кондуктор... Как-нибудь обойдется...

— Проваливайте, ну! Жандарма позову...

— Зови, стерва! Ряжку нажрал! В тылу закорневался? Ездите? Мы вам скоро поедем!

Гвардейцы прыгнули, отошли... В темноте белели их повязки, фуражки смялись и сбились на затылки, мокрые волосы слиплись на вспотевших лбах, шинели были распахнуты. Регистрационные номера на красных картонках — с первых перевязочных пунктов — еще висели у каждого на груди.

Эти ли люди шли в первых ротах гвардии — на весеннем смотре?

Солдаты стояли в полосе света, падавшего из окна вагона. За открытым до половины зеркальным стеклом показался офицер. На лице его была легкая повязка...

— Васокродь!

Один из гвардейцев узнал своего командира.

— Васокродь, милый, помоги!..

Голос был почти плачущий и безмерно доверчивый.

Офицер взгляделся в своего солдата и растерянно проговорил:

— Голубчик, голубчик... Напиши мне, напиши... В Петербург, в Петроград... Сделаю, что смогу. Кланяйся нашим... роте... Напиши, напиши, слышишь?

Гудок... Поезд двинулся...

Раненые гвардейцы остались на перроне... Белели в ночи их повязки, ветер трепал их волосы, на веревках болтались красные картонки с регистрационными номерами — с первых перевязочных пунктов...

Родина баловала своих героев...

* * *

Армия крошилась и расплзалась с непреодолимой настойчивостью... По домам расходились тысячи, десятки тысяч солдат, твердо знавших одно: «Не за что было драться».

Цели еще только смутно брезжили, но солдаты тянулись к ним, к новым законам жизни...

Родина! По твоей земле, спустя два года после Сто-
хода, мы проходили с боями... Боец Красной Армии,
бывший солдат, провоевавший всю войну с 1914 года,
горько вспоминал бессмысленные жертвы минувшей цар-
ской войны. Он познал новые, справедливые, величе-
ственные битвы! Он познал иные масштабы побед —
побед революции от Тихого океана до Балтийского моря,
от Ледовитого океана до границы Персии...

Русские солдаты в 1916 году, проклиная навязанную
им войну, тысячами убегали в тыл...

Бойцы Красной Армии в годы гражданской войны
дрались до последней капли крови, и даже раненые то-
ропились вернуться в строй:

— Наша земля! Наша армия! Наша свобода!



ГОД 1917-й

Глава шестая

МЕРТВЫЙ ЛЕС

I

Пространство в восемь миллионов десятин пропитано на глубину многих саженей гниющей водой. Пространство полно странных звуков, вздохов — это бродят и выходят болотные газы. Кое-где над трясинной, как спины тонущих неизвестных животных, сереют дюны и пласты мела...

Это мир погибших века тому назад озер и рек, заросших и обезображенных. Они побеждены растениями. Миллионы сплетений темных скользких корней саженной длины образовали на поверхности воды прочную, но колеблющуюся корку. Веками отмиравшие части растений, погружаясь на дно, оседали густой, зыбкой, мертвой массой.

После сильных дождей до предела разбухшие от влаги мхи вздуваются, как нарывы, — чудовищными буграми. Тогда начинается невиданная, почти недоступная человеческому глазу игра: колышутся мшистые бугры, и вместе с ними шевелятся дикие поросли ядовитых трав. Слышатся утробное урчание и вздохи земли. Это скопившиеся газы распирают болотную землю, и тогда с неописуемым гулом лопаются мшистые бугры... Из них хлещут потоки жирной грязи, уничтожая почти всю растительность.

Среди необозримых пространств белого мха появляются протоки, меняющие направление своего течения от колебаний зыбкой поверхности болот.

Это Полесский район Западного русского фронта. Здесь, на краю болот, в мертвом лесу, уже три года на-

ходятся русские и немецкие части. Окружающая природа угнетает и тех и других. На этом участке фронта война едва тлеет, озаряясь редкими вспышками отдельных боев.

Воздух напоен холодной сыростью... Мириады комаров летают густыми роями. Они проникают в окопы и облепляют солдат. В иступлении люди расчесывают укусы, вносят заразу болотных ядов — и погибают.

Мертвый лес покинули птицы и насекомые: жуки-точильщики, осиновые листогрызы, трубноверты, древесные вши, короеды... Только шелестящие рои комаров не покидают лес. Они грызут, сосут и терзают солдат... Закутанные во что попало от сырости и комаров, солдаты ютятся на островке гнилой земли... Они живут, прикованные к кострам, чтобы согреться и укрыться в дыму от комаров. Дым тлеющих сырых ветвей разъедает глаза.

Урчание взбухающих на болоте нарывов тревожит солдат...

Дрожащая, зыбкая корка корней и мхов играет разведчиками... Они ползут по доскам, держась за жерди и полусгнившие пни, чтобы не провалиться в трясину.

Иногда бугры, взрываясь, выбрасывают на поверхность полуистлевшие скелеты погибших здесь солдат прошлых войн...

По протокам — на лодках и пешком, по рядам поваленных деревьев — доставляют из тыла хлеб, крупу, консервы, изредка масло, табак.

В безмолвии, среди белых мхов, плывут лодки к мертвому лесу. Еще в 1915 году он подымал к небу набухшие кривые ветви мрачных осин и судорожно цеплялся за уцелевший слой глины, валунов и песков, слой единственно прочный среди неверных болот. Лес почти не пропускал солнца, был темен и дик.

Но в последних боях люди уничтожили лес... Деревья сожжены и расщеплены снарядами. Обуглившиеся пни и стволы постепенно обросли белым мхом и кажутся седыми.

Солдаты почти не вылезали из окопов, радуясь защищавшей их земле и погребая себя в ней. Незаметно день за днем сырость сгоняла краски с их лиц, и силы истощались.

В окопы доносились вздохи болот. Окопники тряслись в ознобе, кутаясь во влажные шинели. Стоны заболевших болотной лихорадкой смешивались с урчанием земли... Но неизмеримая выносливость русского солдата преодолевала все.

* * *

В конце января 1917 года в мертвый лес шла смена. Маршевые роты, с трудом пробираясь по болотам Полесья, пугались окружавшей их мрачной природы. Встречные солдаты окликали их:

— Откуда будете, земляки?

— Из Питера.

— Какие там дела?

— Кисло-сладкие...

Роту вел прапорщик. Он прикрикнул:

— Не разговаривать!

Было приказано наблюдать за маршевой ротой.

Маршевики после окрика умолкли. Только снег скрипел под подошвами тонких холщовых сапог. Маршевики с трудом продвигались по деревянным настилам болотных дорог.

К ночи они пришли на позицию и стали у штаба полка, прислушиваясь к звукам, шедшим сквозь лес: били пулеметы.

Штаб полка помещался в блиндаже. Это было сложное сооружение с окнами на юго-восток, на солнце. Вместо крыши — шесть накатов толстых бревен, прослоенных землей и камнями; шестой накат был покрыт железобетонными плитами. Поверх плит лежал пласт земли. Потолок поддерживался тремя рядами десятивершковых стоек. Внутри, в комнате, оклеенной обоями, стояла городская мебель. Под абажуром горела пятнадцатилинейная лампа. На столе лежали журналы, табак... Пахло смолой. Аккуратно убранные походные кровати были чисты. На вешалке висела сменная одежда, белые маскировочные халаты и оружие. На столике у стены стоял самовар. В углу висела икона.

Маршевики ждали выхода полковника — командира полка. Он повременил, потом вышел — в бурках и полушубке. Командир оглядел маршевиков. Это была сто вторая рота, вливавшаяся в полк с июля 1914 года. Сто две роты — пополнения — по двести пятьдесят человек в каждой. В представлении полковника они слились в неизменно одинаковую массу плохо одетых в холст цвета хаки людей.

Командир посветил карманным фонарем и в сто второй раз с 1914 года, махнув рукой в сторону своего безопаснейшего, сухого и теплого блиндажа, сказал:

— Разделите с нами опасности и лишения.

Неласково посмотрел на маршевиков и добавил:

— Вы ведь, братцы, питерские?

И в свою очередь неласково посмотрели на полковника маршевики:

— Так точно — питерцы, ва-сок-родь.

Полковнику послышалась в ответе скрытая угроза.

— Если по-хорошему служить будете — добро пожаловать, если плохо...

Полковник не договорил, поджал губы и отошел. Маршевики неподвижно стояли во тьме, и даже в их неподвижности ощущалась непокорность. Обернувшись, полковник сердито крикнул:

— Ну! Почему их не ведут? На передовую!

Маршевиков повели по расчищенной в снегу тропинке. Навстречу им шли солдаты. Они, задыхаясь от тяжести, несли бревна для штабных блиндажей. Маршевики свернули с тропинки и вошли в саженный слой снега...

Впереди роты налегке шел прапорщик, вдыхая морозный чистый воздух. Стремясь показать роте пример, он пробивался вперед первым и, чувствуя себя почти как в бою, кричал солдатам:

— Вперед, живо!

Тогда в ответ раздалось сверху:

— Да ну тебя... Дурак...

Пораженный прапорщик остановился. На дереве сидел человек и покрикивал:

— Не ори, дурак. Ну! Давай, что просят.

Прапорщик, окончательно растерявшись, спросил:

— Виноват, что?

С дерева ответили:

— Линию проверяю. Телефонист я. Кричу ему, не понимает...

Маршевики фыркнули... Прапорщик погнал их дальше, преодолевая раздражение и стыд.

В окопах, среди расщепленных остовов деревьев, угрожающе и скорбно простиравших остатки сучьев маршевиков встретили старожилы — уцелевшие кадровые солдаты. Шли обычные солдатские разговоры:

— Какого полка?

— Маршевая рота... А ваш какой?

— Какой, какой. Был полк да весь вышел...

При свете цыгарок сменяемые солдаты разглядывали людей, набившихся в окопы. Среди пришедших были и юноши, и почти старики.

— Плохо тут.

— Тут плохо, а в тылу управляют еще хуже! (Голос солдата был напоен предельной ненавистью.) Поправить бы надо. Ходоков послать!

— Послушают там наших ходоков! Жди! Надо всем сообща действовать, тогда толк будет...

— Твоя правда. Об этом и в листках все пишут, — нам в казармы товарищи подбрасывали... И народ рабочий только об этом и толкует. Вернетесь в тыл — не спloшайте!

— Будь спокоен, отец, — сполним...

Шепотом передали команду. Остатки сменяемого полка двинулись в путь. Хилые малярики уходили из мертвого леса, держась с всеподавляющей солдатской силой. Ноги их подгибались от слабости, но руки крепко сжимали винтовки... Они знали, что впереди — война за свободу.

Над снегами, между деревьями, вьются струйки дыма: под снегом, в земле, в блиндажах и «лисьих норах», на глубине сажень живут питерцы-маршевики. Они жгут в своих норах костры, от которых стены окопов покрываются толстым слоем сажи...

С наступлением ночи пехота выползает из окопов. На солдатах почерневшие от копоти шинели. Ноги поверх сапог обвязаны соломой.

На позиции тихо... Во тьме белеют запорошенные снегом искалеченные деревья.

Маршевики нарушают тишину мертвого леса приглушенным кашлем и бранью. Они ждут часа, когда их, как всегда, погонят на ненавистную ночную работу — укреплять позиции.

Раздается команда, и пехотинцы отправляются в путь, проваливаясь по колено в рыхлый снег, с трудом пробираясь сквозь снежные сугробы. Это сразу утомляет их. Усталость беспощадно обрушивается на людей. Измученные неизменным однообразием действий, слов, команд, окриков, — они с трудом, медленно и неохотно идут к месту работы. Маршевики прерывисто дышат — постоянное пребывание в душливых окопных норах катастрофически быстро нарушило функции легких и сердца.

Отдыхавшись, солдаты-лесорубы расчищают снег и подрубают деревья маленькими солдатскими топориками. Снег сыплется с ветвей... Под ударами, охая, падают деревья, зарываясь в снег.

Солдаты, идущие в сторону немецких позиций, с трудом волокут колья и проволоку. Пехота подолгу копается в снегу, загоня колья и натягивая на них проволоку. Идет снег, тут же покрывая новые заграждения. Когда поблизости нет начальства, солдаты швыряют проволоку и колья куда попало, быстро засыпая их снегом.

— Нанялись мы им, что ли?

— Они в своих блиндажах с жиру бесятся, а нам в «лисью нору» по селедке в день да по сухарику суют... Их бы в нашу шкуру, сюда на часочек!

Когда приходили боевые приказы — одни с запада, другие с востока, — лес оживал. Воздух прорезал свист пролетающих снарядов, все сотрясалося от взрывов. Солдат заставляли стрелять, преодолевая нещадный огонь немецкой артиллерии, жар, шедший от горевшего леса, удушье от пороха и гари.

Лес дымился и шипел...

Огненные языки ползли по расщепленным стволам, казалось раскинувшим в ужасе и мольбе обуглившиеся руки.

Внезапно стрельба затихала, и лес опять становился мертвым.

Три года на участке мертвого леса все сводилось к жестоким и бесполезным схваткам.

Сводки сообщали: «На Западном фронте без перемен».

На Западе в припадках отчаяния были жалкие, слабодушные интеллигенты:

«Мы не знаем, живы ли мы еще. Мы беспомощны, как дети. Мир так страшен. Мы стали грубыми, скорбными и поверхностными — и я думаю, мы погибли. Если мы вернемся с фронта, мы придем усталыми, упавшими духом, выдохшимися, беспочвенными и лишенными надежды... Мы уже не сможем ориентироваться... Смерть, кромсание, уничтожение, сгорание, окопы, лазарет, братская могила. Других возможностей нет»¹.

Есть жалкие люди! Есть!

На русском фронте были перемены! Солдаты уже постигали всю преступность самодержавия и навязанной им империалистической войны!

* * *

В предрассветной морозной мгле над русскими блиндажами прошуршали немецкие снаряды.

Разрыв! Другой! Третий!

Прапорщики, из числа тех, которые в количестве двухсот — двухсот пятидесяти тысяч человек командовали ротами Российской империи, прислушивались к падению снарядов. Все молчали...

В блиндаже запищал фонический телефон: «Ти-ти-ти...»

— Слушаю.

У офицера посерело лицо, и, прикрыв трубку ладонью, он полушепотом сказал остальным:

— Полковничек изволил приказать: «Шагом-арш, маршевики! По снежку в атаку!» (Отнял ладонь.) Да... Так точно... Да... Слушаю...

¹ Авторское переложение отрывка из романа Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929).

Всходило солнце... Прапорщики осматривали, в последний раз перед атакой, местность.

К группе подошел штабной офицер:

— Почему медлят?

Обращение в третьем лице и тон были оскорбительны. Один из прапорщиков, задыхаясь от бешенства, крикнул:

— Ножниц у нас нет — проволоку резать нечем, винтовка одна на пятерых, — какая тут атака? Вы бы лучше... там, в штабе... подготовкой озаботились...

— Не рассуждать!

Возмущенный прапорщик замолчал. Медленно холодевшие на утреннем морозе руки машинально сжимали бинокль.

— Господа, время не ждет — отправляйтесь!..

Прапорщики пошли к окопам подымать людей. Сонные маршевики шурились, ослепленные солнцем, и не понимали, что, собственно, происходит. Подчиняясь команде, они медленно, неохотно выползали из окопов. Снег беззвучно падал на одетых в белые халаты людей.

— В атаку!

Застрочили русские пулеметы. Немцы в ответ немедленно открыли губительный ураганный огонь. Заработали германские минометы.

С глухим звуком ныряли в снег снаряды, взметая белую сверкающую пыль, — казалось, что по всему лесу взрываются снежные гейзеры. Как подкошенные, один за другим валились в снег раненые и убитые маршевики.

Впереди чернели непроходимо густые ряды немецких проволочных заграждений.

Вдруг, перекрывая вой снарядов и свист пуль, кто-то отчаянно закричал:

— Стой, бра-атцы!

И все увидели выпрямившегося во весь рост солдата, который, широко раскинув руки, как бы преграждая путь остальным, продолжал яростно кричать:

— Русский солдат силен! Без ножниц — руками и брюхом проволоку пропорет! Так, что ли? Братцы, назад в окопы! Ни за что погибаем! Хватит с нас!

Прапорщики стреляли в солдат и тщетно кричали:

— Вперед!

— Без нас!

И солдаты повернули к окопам.

Фронт окаймлен облачками шрапнелей — их сотни. Они отливают на солнце золотисто-розовым цветом. Постепенно они меняют очертания, тают и уплывают в ледяную лазурь неба.

Холод жжет пальцы ног и медленно ползет к коленям. Солдаты, забившись в окопы, притоптывают ногами. Ненужные винтовки с замерзшей смазкой валяются рядом. Руки, в грубых варагах, стынут. Солдаты хлопают себя по ребрам... Учащенное дыхание вырывается из ртов, оседает на ресницах, покрывает их инеем. Ресницы слипаются...

Снова кричат прапорщики:

— Вперед!

— Стрелять буду!

— Вста-ать!

Питерцы-маршевики не шелохнулись. В окопах сидят, команде не подчиняются, к приказаниям равнодушны.

Из далекого блиндажа с обычной жестокостью кричит в телефон командир полка:

— Ну, что вы там копаетесь?!

— Никак невозможно...

— Придется еще раз поднять роты!..

— Роты не пойдут!

— Начальник дивизии приказывает.

— Доложите ему, что это невозможно..

Вечером снова пришел приказ выступать. На рассвете примчался из штаба полковник. Ротные командиры докладывают:

— Считаем своим долгом предупредить — роты нервничают.

Полковник приказывает:

— Построить людей! Я их живо успокою!

Роты стоят неподвижно.

— Здорово, братцы!

Молчат роты, на приветствие не отвечают.

Полковник сжал кулаки.
— Загладьте свою вину — доблестью искупите! Не пойдете в атаку — всех под расстрел!
Роты стоят неподвижно.
— Не пойдем! Всех, ваш-сокродь, не перестреляете. Озверел полковник.
— Кто не пойдет — шаг вперед!
— Дураков нет! Все не пойдем.
Стоят питерцы-маршевики. Уперлись... Насмерть стоят!

Полковник и офицеры ушли совещаться. Маршевики неподвижно стоят — ждут...

Бегут обратно ротные.

— Атаку отставить! Справа по отделениям, ша-гом-арш!

Ликуют солдаты:

— Наша взяла!

— Надо всем сообща действовать, тогда толк будет.

* * *

С такой же несокрушимой жаждой борьбы, с какой поднялись на бунт маршевики в мертвом лесу, — подымались по всему фронту напоенные яростью русские солдаты на новую войну — Гражданскую...

Мы готовились к бою достойному и справедливому. Мы знали, что рано или поздно — он свершится. Наш солдатский глаз умел распознавать виновных и брал их на прицел... Мы призывали солдат Запада следовать нашему примеру, и клич наш пронесся над Польшей, Галицией, Богемией, Пруссией, Баварией, Рейном, над землями Фландрии, Шампани, Арруа...

— Вста-ать! Вста-ать всем солдатам мира! В бой против тех, кто вгоняет нас подивизионно в братские могилы. В бой против тех, кто владеет всем и губит наши жизни...

ВЕСНА 1917 ГОДА

II

1917 год начался крупнейшими политическими стачками, которыми руководили комитеты большевиков.

9 января — в Петрограде, Москве, Баку и других крупных городах России во время стачек происходили уличные демонстрации.

В Петрограде:

18 февраля — началась забастовка путиловских рабочих.

22 февраля — бастовали рабочие большинства крупных предприятий.

23 февраля (8 марта) — работницы прошли по улицам Петрограда с лозунгами против голода, войны и царизма. Рабочие поддерживали женщин забастовками.

Политические стачки приобретали характер грандиозной демонстрации против войны и против строя. На улицах полыхали красные знамена и лозунги, на которых горели яростные слова: «Долой царя», «Долой войну».

24 февраля — бастовало двести тысяч рабочих.

25 февраля — всеобщая политическая забастовка рабочих по всему Петрограду. На улицах непрерывный поток демонстраций с красными знаменами и революционными лозунгами.

События нарастали с каждым часом.

26 февраля — первое столкновение с полицией. Рабочие разоружили полицию. Часть войск перешла на сторону рабочих.

27 февраля — войска в Петрограде перешли на сторону рабочих.

Грянула февральская революция. Ее совершил пролетариат, возглавивший движение миллионов крестьян, переодетых в солдатские шинели.

* * *

...Март!

На площадях, улицах, перекрестках и в садах Петрограда кипела жизнь. Каждый по-своему переживал февральские дни и по-своему откликался на происшедшие события. Бурлили еще не ясные мысли. Интеллигенты, рабочие, солдаты, чиновники, лавочники, мелкие служащие, гимназисты вступали в споры на каждом перекрестке, пользуясь правом говорить, спорить, радоваться и возмущаться...

Не искушенные в политике часто попадались на удочку «ловивших рыбку в мутной воде». Люди в стремительном потоке событий искали бродов, нащупывали дно...

На одной из аллей Лётного сада долговязый семинарист, вскочив на скамейку, исступленно взывает к собравшимся вокруг него любопытным:

— Братья! Иоанн Богослов учил, что богатый должен отдать излишки бедному. Не есть ли святое евангелие — обличение богатых и не сказано ли: «Легче пройти верблюду сквозь игольное ушко, нежели богатому в рай?»

Семинарист страстно приглашает людей на небо.

Слова его впечатляют, но кто-то задает ехидный вопрос:

— Ответьте, почему за девятнадцать веков христианство ни черта не помогло народам?

Семинарист растерялся и неуверенно обещает:

— Очистим веру, братья, и тогда поможем.

Он уступает место какому-то нервному штатскому в широкополой шляпе, который кричит, то и дело поправляя пенсне:

— Товарищи! Поповская религия — обман! Но есть великая, истинная религия — религия труда и прогресса. Мы не признаем поповского бога, но у нас есть своя вера. Мы — религиозные атеисты!

— Браво!

— Мы поднимаемся к вечности.

— Браво!

— У нас есть свой бог!

— Какой бог? Как его зовут?

— Наш бог — это машина.

Такое неожиданное заявление ошеломляет многих, и какая-то женщина возмущенно кричит:

— Сумасшедший!

Человека в пенсне оттесняет новый оратор.

— Товарищи! Тут вам наплели несусветное. Мы на эти выражения должны ответить: проваливай подальше! Нам эти рассуждения не подходят. Что же получается? Я, рабочий, должен котлу, что ли, кадить? Да святится, мол, имя твое, котел?

— Браво!

— Крой его!

— Спросить у этой шляпы не мешает, а кто, между прочим, он такой! Кстати, где же он? Исчез!

Слушающие уже полюбили рабочего, — он скромненький, говорит просто, весело и пока ничем не задевает привычных понятий, — хороший русский мастеровой.

Рабочий продолжает:

— Товарищи, вас тянут вверх, на небо, подальше от земли, потому что на земле им с нами тесно! Они нас боятся...

Толпа настораживается.

— Мы — большевики...

— Что значит большевик?

Голос из толпы:

— Вы еще не знаете? Член Российской социал-демократической рабочей партии.

— Маркс нас учит...

Одна из женщин спрашивает:

— Кто такой Маркс?

— Основатель социализма. Он говорит, что религия есть видимость, опиум для народа. Религия, товарищи, это для тех, кто еще не нашел себя или потерял себя. Понятно? Таким за покорную веру обещают награду на том свете... Если вы спросите: задаром ли устраивает церковь все эти дела, я вам отвечу: нет! За все плати!.. Лавочка у них!

Кто-то из верующих, не выдержав, крикнул:

— Н-но, ты! Полегче!

Гул нарастает, и в нем тонет голос рабочего. Он хочет сказать еще что-то очень важное — о церкви и о войне, об эксплуататорах-буржуях, но его уже не слушают. В гул врывается женский визг:

— Такие, как он, церкви обирают! Золоторотцы!

В толпе зашумели:

— Он обманщик.

— Он церковь оскорбил!

Сквозь толпу протискивается огромный парень. Он пьян и ищет случая подраться:

— Слезай, эй!

Парень толкнул рабочего.

Кто-то кричит:

— Товарищи, большевика в обиду не давать!

Толпа мгновенно разделилась на два враждующих лагеря. Началась свалка.

Кто-то испуганно спрашивает:

— Из-за чего дерутся?

— Из-за бога...

С разных сторон, пересекая Летний сад, сбегаются люди. С торжеством победители выводят из свалки рабочего. Дитина с подбитым глазом, мрачно ругаясь, смывается...

Рабочего жалеют. Какая-то женщина платком обтирает ему лоб. Рабочий дрожит от гнева.

— Эх, и народ же еще темный! Многие еще обману поддаются! Долго нам придется учить их уму-разуму...

* * *

Вся страна бурлила... Страсти накалялись.

Большевики, получившие в начале февральской революции возможность легальной пропаганды, немедленно возобновили выпуск «Правды» и фронтовой газеты «Окопная правда». Пользуясь любой возможностью общения с народом и армией, большевики с каждым днем приобретали все большее влияние среди народных масс. Каждый день приносил новые подтверждения тому, что антинародная политика Временного правительства мало чем отличается от старого режима. Решение вопроса, наиболее волновавшего народ — о разделе земли, — откладывалось под любым предлогом. Вопрос, не менее волновавший людей — о мире, — подменялся лозунгом «война до победного конца».

Лживая политика Временного правительства и двурушническая агитация меньшевиков и эсеров беспощадно разоблачались большевиками.

Митинги шли по всей стране... вспыхивали по всему фронту...

* * *

Среди болот Полесья, в страшном мертвом лесу, у подножья сожженных стволов, стояла наспех сколоченная трибуна для приехавшего из Петрограда оратора. Когда собрали всех солдат и офицеров, прибывший взобрался на трибуну и объявил, что приветствует товарищей от имени петроградского пролетариата.

Строй солдат стоял смирно...

Оратор провел рукой по волосам и начал:

— Товарищи! От того или иного шага русской демократии, то есть от нас с вами (оратор сделал жест, который должен был означать, что русская демократия и есть слушавшая его шестнадцатая рота)... зависит судьба так счастливо, так победоносно завершившейся революции. Каждый, — я говорю каждый, ибо мы теперь равны, — должен отдать все для того, чтобы демократия, свобода и равенство были защищены навсегда! Пусть сияет над Россией вечный свет свободы! Ура, товарищи!

Рота загудела «ура».

Всегда расторопные унтер-офицеры, стоявшие ближе всех к «трибуне», бережно взяли слабо сопротивлявшегося оратора за ноги и за руки и, старательно покачав, аккуратно поставили его рядом с трибуной, так как на трибуне уже стоял солдат-маршевик, поглядывавший с недоброй улыбкой на оратора.

Как только затих шум, маршевик заговорил негромко, но подчиняюще-уверенно и отчетливо:

— Я хочу ответить товарищу. Он говорил относительно свободы и равенства. Возразить, конечно, нечего, но хотелось бы уточнить вопрос. Надо разобраться: равенство — кого и с кем? Если вы говорите о равенстве собранных здесь рабочих и крестьян с имущими, хотя бы вот с некоторыми господами офицерами (это был дерзкий выпад, и многие из солдат, довольные, переглянулись), — то вы говорите неправду. В самом деле, сколько имущества — земли, денег, инвентаря — имеет хотя бы этот товарищ (пожилой солдат, на которого указал говоривший, заволновался) и, например, господин полковник? Вы не скажете, вы не посмеете сказать, что они равны. Значит, даже на таком простом и живом примере приходится убеждаться в том, что нужна серьезная поправка к словам предыдущего оратора. Поправка эта заключается в необходимости ликвидировать существующее неравенство, а оно будет существовать, пока не будут уничтожены буржуи и помещики. Теперь о свободе, о революции. Опять все это одни слова. «Свобода». Для кого свобода?.. Одни могут «свободно» сидеть в Питере и «свободно» (оратор подыскивал выражение)... зарабатывать рубль за рублем, копейку за копейкой. А другие? Есть солдаты, более тридцати месяцев находя-

щиеся на позиции. А попробуй кто-нибудь из них уйти из окопов — вы же прикажете стрелять в него. Так в чем же их свобода? Объясните, пожалуйста.

Солдаты задвигались. Маршевика перебил офицер:

— То есть как «уходить из окопов»? А кто будет защищать Россию?! Ее же надо кому-нибудь защищать от немцев.

Возглас не произвел впечатления.

Маршевик негромко ответил:

— Какую защищать Россию? Я же вам говорю — надо вдуматься в смысл слов: для одних есть одна Россия, для других — другая.

Эта фраза показалась офицерам чудовищной. Неприкосновенное, столетиями прививаемое, хранимое, священное понятие Великой Неделимой России как будто начисто отрицалось... Россия, родина, русское: ее язык, земля, ее история и вера, ее просторы — «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить!» — все это было смешено несколькими враждебными словами, предвзятым злым умыслом. Офицеры были целиком во власти своих привычных понятий о родине, и самый факт попытки так резко сместить эти понятия вызывал в них реакцию, настороженную, защитную и враждебную. Слова о другой России были оскорбительны, вызывающи — они противоречили несомненному: была и есть одна Россия! Повидимому, маршевик над всеми глумился. Черт знает что такое! Враждебность в словах говорившего была, была несомненно!

Офицеры возмущались:

— Господа, посмотрите на него, послушайте его. Разве это простой солдат? Этот тип — из интеллигентов... Куда он клонит?

Маршевик едва сдержал улыбку, а солдаты, недоумевая, прислушивались и к маршевику и к тому, что нарочито громко говорили офицеры.

Маршевик спокойно продолжал:

— Надо, я говорю, понять, что для одних царская Россия была хороша, а другие ее ненавидели, боролись против царского режима и шли из-за этого на каторгу. И Временное правительство от царского — недалеко ушло.

Приехавший из столицы гость истерически взвизгнул:

— Это кошунство, запретите ему говорить!

Маршевик усмехнулся:

— Руки коротки! Я продолжаю. Если мы спросим мобилизованных рабочих и крестьян, желают ли они воевать еще год, два, а то и три, — они ответят: «Нет, и воевать не за что, и сил больше нет. Да и земля зовет!»

Солдаты почувствовали, что говоривший, наконец, пришел к единственно правильному выводу — ведь истинная правда, что у солдат нет больше сил воевать и воевать действительно не за что. Ведь именно поэтому в феврале они не пошли в атаку — наперекор всему начальству. Хватило смелости.

Офицеры возмущались: ведь слова этого маршевика означали измену родине и союзникам, хаос, позор! И вообще черт знает что! Они считали, что война вот-вот кончится — в лучшем случае победой, в худшем — почетным миром. На этот раз союзники обязательно помсгут. Будут и торжества и парады. Издадут манифест! Будут награды и производства в следующие чины; соединение с французскими и английскими войсками, визиты. Потом мирная конференция или конгресс.

Этот, не отличающийся большой глубиной, комплекс представлений среднего офицера о конце войны обязывал по долгу совести возразить маршевику, но чутье подсказывало, что эти мысли не стоит высказывать вслух, так как они противоречат новым веяниям.

Нужно соблюдать такт и осторожность.

А между тем маршевик говорил:

— В России народ делится на классы...

Слово «класс» вызвало у солдат представление о железных дорогах: I класс — синий, там генералы ездят. Кондуктор подойдет и отдаст честь: «Виноват-с, ваше превосходительство, — а генерал помашет своим билетом и закричит: «сезонный» или «годовой»... Поди проверь, он те проверит! На шермака могут ездить... II класс — желтый и вообще господский, — барыни с детьми, разные господа в котелках. III и IV классы, понятно, для народа... И получается: народ делится на классы. Одни ездят так, другие эдак.

— Правильно, ничего не скажешь. Давай дальше!

— Класс, враждебный нам, — это помещики, купцы, промышленники-капиталисты... А наш, рабочий класс —

это пролетарии и крестьянство... Кому же выгодна война? Разберем. Вот вы — нажились вы от войны?

Солдаты заулыбались:

— Ложка — вот и все наше имущество.

Маршевик подводил итоги:

— Не нажились. Коней, коров потеряли. Бабы вам об этом в письмах пишут. Что делается — всякий знает. Значит, война выгоды вам не дает. А капиталистам война на руку, они все для войны поставляют.

Логика говорившего потрясающе действовала на солдат. Разговор шел о понятных, кровных делах...

Один из офицеров попытался сбить маршевика:

— Вы не учитываете одного — когда война кончится, все устроится само собой...

— Неверно, господа офицеры, опять надо думать о существе дела. Как война кончится, кто ее кончит? Что будет, если войну кончит Временное правительство, даже если оно кончит войну с «победным концом»? Во-первых, пока мы будем ждать «победного конца» — мало кто из нас уцелеет; во-вторых, господа, сидящие в правительстве, и капиталисты без боя не отдадут народу то, что принадлежит ему по праву. Разве Временное правительство обещало нам равенство? Для того чтобы сказать: «Земля отдается крестьянам» — много времени не нужно, двух секунд хватит. А с февраля прошло сколько времени? Они не сказали и не скажут этого! А какое может быть равенство для безземельного крестьянина?

Солдаты впились в лицо товарища.

— Ай да маршевик!

Опять вмешался тот же офицер:

— Все решит Учредительное собрание!

Удар был меткий. Действительно: а Учредительное собрание? Оно все сделает. Какие-то надежды, возлагавшиеся на всероссийское Учредительное собрание, поддерживаемые пропагандой Временного правительства, еще теплились в солдатских умах.

— Что же может решить Учредительное собрание, которое будут созывать господа буржуи и помещики?

Ответный удар вызвал растерянность среди офицеров и оживление солдат. Они зашумели, перебивая друг друга:

— Правильно! Они там засели и решают, как им вздумается, а мы за них — умирай!

— У них там по пять тысяч десятин, вот они и заворачивают!

— Поди они дураки? Будут землю отдавать-то?

— Нам первое дело лес и выгон взять.

— Чтоб они о нас позаботились? Нет, не было того и не будет!

— Обманутые мы с малолетства, вот что! В ум и в сердце раненные...

— Терпение носим — ай не пора ли бросить?

Людям вспомнился бесконечный ряд обид, обману-тых надежд — больших и малых, личных и общих.

Маршевик внимательно всматривался в их лица.

— Вот вы и разберитесь на досуге. Только одно со-ветую: словам эдаких меньшевиков (жест в сторону приехавшего) не верьте. Слов у них, что у дяди Якова — товару всякого.

Солдаты засмеялись. А меньшевик стоял, дрожа от бешенства, и мучительно вспоминал — где он видел этого солдата. При последних словах маршевика он вздрогнул: осень 1912 года, лес, сходка, его поражение и тот же голос рабочего, обративший его тогда в бегство...

— И последнее, товарищи: спрашивайте себя всегда — что принесет пользу моему классу? Ну вот, пока все... Может, еще кто-нибудь поговорит?

Маршевик спокойно, не спеша сошел с трибуны. Солдаты уступали ему дорогу и одобрительно хлопали в ладоши.

Офицеры притихли. Полковник, не проронивший ни одного слова, заметил, что на него все глядят, и, привычно быстро оценив обстановку, понял, что, как командир полка, обязан ответить. Уповав на бога, он поднялся, помолчал и, оправив шашку, задумчиво произнес:

— Господа офицеры и солдаты... и господа солдаты... (Солдаты хитро переглянулись, отметив вежливость обращения.) Не слушайте вы этого большевика!

Определив партийность маршевика, полковник про-считался.

Он, оказывается, большевик? Чего ж скрывал? Это не так давно ставшее известным слово казалось солда-там давно знакомым, своим: «большак» — большой. Оно

вызвало ряд ассоциаций: «большак в семье», «большак — дорога»...

— Да послушайте же вы меня, старого солдата!

Солдат возмутили эти слова, потому что их командир был полковником, а не солдатом и даже с виду не походил на солдата: «выходка» у него другая, голос другой...

— Я с вами и в огонь и в воду.

— Для чего в огонь, для чего в воду? — спросил рослый солдат, из кадровых. Он запомнил, как говорил маршевик, и задал вопрос, следуя его примеру.

Полковник почувствовал себя оскорбленным и растерянным.

— Как для чего?

Полковник не хотел понять или прятал от себя смысл вопроса, честно и непосредственно заданного солдатом и означавшего: готов ли ты пойти вместе с нами воевать за правду?

Полковник поглядел на офицеров, смущенных и молчаливых, прятавших глаза. Не говоря больше ни слова, он сошел вниз, ничего не видя, охваченный лютой яростью к солдатам за то, что они хотели знать правду: точно ли он, полковник, пойдет с ними, с народом.

Подобные, разумеется с различными частностями, митинги проходили во всех фронтовых частях.

* * *

Отшумели первые недели февральской революции.

Группа гвардейцев офицеров возвращалась с фронта в столицу.

На одной из узловых станций они вышли из вагона и заглянули в буфет. Всю дорогу их не покидало зудящее чувство раздражения и оскорбления. Офицеры непрерывно сравнивали все, что они видели и слышали, с тем, что было до революции. Это состояние доходило у некоторых до степени психоза. Их доводила до бешенства «вся эта солдатчина — совдепы, комитеты».

Они возмущались тем, что на станциях не было воды, что окна не протерты, что все забито толпами солдат, что поездные бригады не имели прежнего молодежавого

и подтянутого «путейского» вида. Все привычное смешалось, разрушалось...

— Ясно, порядок и Россия — гибнут!

Больше всех нервничал маленький поручик с заметным шрамом на лице...

Солдаты казались им серым скопищем беспощадных и вызывающе-дерзких людей. Степень перемен была непостижимой. Офицеров угнетало зрелище солдат в расстегнутых, не по форме одетых шинелях, сердило отсутствие поясов и кокард. Слух раздражали громкие, веселые солдатские голоса:

— Ванько-о!

— Я-у!

— Тащи винтовки сюда-а!

Их пугала какая-то «вездесущность» солдат. Это больше всего преследовало и ужасало их. Все, решительно все было занято солдатами. Солдаты заполняли поезд, взбирались даже на крыши вагонов, толпились в буфетах первого и второго классов, в привокзальных скверах, в помещениях, где на дверях были дощечки с надписью: «Вход посторонним строго воспрещен», на постах управления — всюду. Они всем распоряжались уверенно, по-хозяйски.

Офицеры, делая безразлично-строгие лица, держась вместе и ежеминутно, по любому поводу ожидая столкновений с солдатами, пытались пройти в буфет первого класса. Они то бледнели, то краснели, приходя в ярость от необходимости протискиваться, ощущать бесцеремонные толчки солдат, не отдававших им честь, ждать очереди и быть — «как все»... Настоящее пугало их, о будущем они не решались думать.

Те самые солдаты, которых они, как им всегда казалось, так любили, с которыми они должны были идти всегда вместе, которые были для них воплощением народа, их русского народа, — эти солдаты стали им ненавистны. Даже видимость трогательных, традиционных чувств исчезла, как дым, как только их пути разошлись. Не любовь влекла их к народу, а возможность властвовать над ним. Они прятались за удобные для них формулы: «Во имя спасения России», «Война до победного конца». Эти формулы были для них привычны, а главное — они не позволяли уводить спор в те опасные глубины, к которым его неумолимо вели большевики. Эти

глубины были для них обрекающе-безнадежно страшны. Одни это понимали цинично и ясно, другие — смутно-испуганно.

Офицеры распаяли в себе ощущение «мученичества», но, несмотря на это, упорно протискивались к буфетной стойке.

В конце марта в Петрограде, перед возвращением на фронт, они встретились в офицерском собрании, чтобы посидеть в «интимной обстановке», за рюмкой коньяка. Это были сынки петербургской знати и крупных дворян-помещиков, не обремененные умением постигать ход исторических событий и движущих их сил.

Маленький поручик, со шрамом на лице, нетерпеливо допытывался:

— Ну, как вам понравились все эти «Libertées»? ¹. Летом тысяча девятьсот шестнадцатого года мне Петроград был куда милее...

— Конечно, государя жаль, но он допустил ошибочные шаги, он окружил себя совершенно неподходящими людьми. Немецкое влияние, бездарные министры... Затем нельзя было допускать оголение Петрограда. В сущности в тысяча девятьсот пятом году положение спасло то, что гвардия не была послана в Маньчжурию. Можно же было после Стохода понять, к чему клонится дело, и отозвать в столицу хотя бы остатки первого и кавалерийского гвардейских корпусов. Наконец, уж если на то пошло, почему нельзя было назначить ответственных министров? В конце концов можно было найти приличных людей даже в Думе... Например, Родзянко, Пуришкевич... ну, кого-нибудь еще из этих... либералов. Умеют же в Англии с ними ладить. Вообще очень многому следует поучиться у англичан.

— Прекрасная страна, я там бывал. Отлично кормят, великолепные портные, недурные виллы, а главное: какое умение держаться, какое воспитание! Там не может быть уличных скандалов.

— А я, знаете, думаю, что можно было объявить приказ о льготах и преимуществах для солдат после войны — ну, наделить их чем-нибудь, — есть же какие-то

¹ «Свободы» (франц.).

земли у инородцев, в Туркестане... Наиболее толковым унтер-офицерам дать производства... Да боже мой, сколько можно было сделать... И предотвратить эту несчастную революцию.

— Вы правы, но, как гласит пословица, «после драки кулаками не машут».

Маленький поручик, улыбаясь, сказал:

— Как будто, несмотря на такие скандальные вещи, как Советы рабочих и солдатских депутатов, с Временным правительством ужиться можно. Наши новые министры ведут себя прилично. Все же какое-то странное двоевластие... Но вообще «не так страшен черт», как нам показалось... Помните — на станциях, в поезде? Мы ведь, *entre nous soit dit*¹, испугались товарищей солдат...

— Говорят, что у офицерства не будут отнимать права. Вот и сейчас мы сидим с вами, как в былые хорошие времена. А «товарищей» уже стараются утихомирить. Меня уверяли, что особых перемен больше не предвидится. Временному правительству пора понять, что мы революцией уже по горло сыты...

— В городе все толкуют об... ну, как сказать... — Поручик запнулся и, чтобы подчеркнуть, что он не желает даже вспомнить слова «Учредительное собрание», сказал по-французски: — *Assemblée nationale*², вы слышали? Уверяют, будто то, что она решит, — будет обязательно для всех. Значит, возможно, что когда всем осточертеет «свобода», — а это скоро произойдет, я в этом уверен! — тогда народ призовет к порядку...

— А союзники? Вы думаете, они безразлично относятся к нашим делам? Нет, нет... Им нужно дотянуть с нами войну «до победного конца»...

Маленький царскосельский поручик задумался. Он с грустью вспоминал июль 1914 года, свою роту, «ура», зной, голубое небо и очарование Царского Села...

— «До победного конца»... Увы, труднее всего иметь дело с солдатами: они помешались на политике. Перед отъездом стрелки спрашивали меня: «Вы с нами или против нас?» *Mon Dieu*³, что мог я им ответить? «*Ma foi*,

¹ Между нами говоря (франц.).

² Национальная ассамблея (франц.).

³ Боже мой (франц.).

mon roi, ma dame»¹. Но ведь им так не ответишь? Вот и крутишься, как бес перед заутреней...

В этих офицерских беседах уже было заметно влияние сплотившихся под флагом буржуазной революции крупнейших контрреволюционных сил...

Если бы маленькому поручику тогда сказали, какими путями в ближайшее время пойдет большинство таких, как он, — он счел бы это сумасшествием, нелепостью, но все данные для такого прогноза *были*, и эти прогнозы уже *ставились* теми, кто владел глубоким методом анализа общественных явлений, — большевиками.

Поручик был бы возмущен одной возможностью подозрения его в том, что он может покинуть поле боя и уйти к немцам, изменить поочередно ряду властей, нарушить слово, быть палачом своих соотечественников. Тем не менее он и тысячи таких, как он, изменили отечеству: стали шпионить в ротах и полках в пользу врага, переходили на сторону немцев. Позже они переметнулись к союзникам, когда те начали войну против единственно законной власти в России — советской; вместе с ними и без них разоряли русские земли и убивали своих соотечественников, без различия пола и возраста. Все эти поступки абсолютно противоречили понятиям о чести и долге русского гражданина и должны были караться смертью. Но эти понятия были забыты с молчаливого согласия Временного правительства.

С первых дней февральской революции враждебный большевикам класс буржуазии и их приспешники предавали Россию «союзникам» и врагам, продолжали обманывать народ словами «порядок», «право», «благородная помощь союзникам», «родина», — не смея прямо сказать: какая родина, какой порядок, какое право, помощь во имя чего... Предатели были объявлены устами Временного правительства истинными сторонниками свободы и демократии, основными силами буржуазной революции. Тайные подготовлялись программы дальнейших контрреволюционных действий. Представители буржуазии, совместно с прежним командованием царской армии, в доверительных беседах проверяли и дополняли их главные черты.

¹ «Моя вера, мой король, моя любимая» (франц.).

Программа намечалась такая:

«Защищать родину, продолжать войну с Германией, всемерно обеспечивать «порядок», откладывая, конечно, нужное решение вопросов о земле, труде и так далее — на будущее время, желательно на конец войны или в крайнем случае до Учредительного собрания, которое не следует созывать слишком поспешно, ибо созыв такого собрания — дело сложное, ответственное, требующее вдумчивого подхода и основательной подготовки».

Анализ этой программы, обеспечивавшей доверие буржуазии и союзников, давал совершенно иной результат:

«Ведение войны и «порядок» позволят нам сохранить вооруженную силу. Тыл не должен дурно влиять на армию, его надо обезвредить, то есть убрать большевиков. Всякий боевой успех сделает армию послушной. Ожидающиеся действия союзников надломят Германию. Армия усмирит революционные элементы, и вопрос о формах правления будет решен так, как это нужно нам».

Еще более углубленный анализ раскрывал всю преступность программы:

«Правление случайных штатских — нонсенс, чепуха. Сила решит все. Согласятся и на конституционную монархию: Николая Николаевича или Михаила — регентом. Кирилл — фигура неподходящая. А там — видно будет».

Упоминание о самой возможности конституционной монархии на всякий случай делалось в форме какой-то вынужденной покорности. «Если Учредительное собрание решит, мы, конечно, подчинимся... воля народа...»

Представителям буржуазии казалось, что они дождутся еще лучших времен. Долгожданная власть была в их руках, а без Николая II легко обойтись. Полнота власти сулила перспективы еще более прекрасные, чем те, что мерещились некоторым из них в осенний вечер в Павловске, в 1912 году...

Знакомство с отечественной и иностранной историей напоминало тем, кто развивал вышеприведенные сообра-

жения, — о нерушимом покое дворца в Букингеме¹. Но иногда они же содрогались от страха при воспоминании о Гревской площади²...

Новое Временное правительство, бывшее в сущности простым приказчиком миллиардной «фирмы» «Англия и Франция», открыто и решительно не признавалось большевиками. В предвидении дальнейшего развития исторического хода событий и новых, закономерных, грандиозных революционных побед они с первых же дней противопоставляли ему возникшее параллельно с ним первое рабочее правительство — Совет рабочих и солдатских депутатов...

* * *

Добравшись из госпиталя домой, в Петроград, юноша-доброволец наслаждался кратковременным отпуском.

Война раньше времени сделала его взрослым. Горький опыт окопных лет бесследно уничтожил его прежнюю детскую преданность «вере, царю и отечеству» и привел его к горячему, страстному убеждению в необходимости уничтожения старого чудовищного режима.

3 апреля 1917 года он шел по знакомым улицам, взволнованный встречей с детства дорогим ему городом, радуясь революционному кипению народа... Но какая-то неясность в понимании происходящих событий раздражала и омрачала его радость. Острое чувство беспокойства заставляло его проверять свои мысли. Эта проверка, казалось, должна была дать успокоительный результат: все в порядке — революция произошла. Но тотчас же беспокойство охватывало его вновь. Совершенно очевидно: произошла ошибка, она касалась чего-то важного, большого... Однако товарищи из Совета рабочих и солдатских депутатов утверждают, что сделано все, веками ожидавшееся, оплаченное кровью лучших людей. За-

¹ Королевская резиденция в Лондоне.

² Старинное название площади перед городской ратушей в Париже, место казни французского короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты.

крепляйте завоеванную свободу. И подумать только, как быстро все произошло, а казалось, что о революции и мечтать пока нечего. Сколько даром вытерпели! И жизнь же теперь пойдет!

Но юношу все-таки не оставляла мысль об ошибке. Он хотел во что бы то ни стало до конца все узнать, понять. Раньше вопрос для него был ясен: «Долой самодержавие!» Да и сейчас все ясно: царизм кончен, а дальше будет социализм — замечательная, необыкновенная жизнь! Если товарищи из Совета так спокойны, значит действительно все в порядке. «Там ведь не «кто-нибудь», а депутаты, народ политический. Однако в чем же, господи, дело и почему мне не все ясно?»

И в госпитале и в дороге он осторожно, боясь насмешек, расспрашивал солдат и получал один и тот же ответ: «Николке по шапке дали, теперь жизнь будет». Но эти ответы не удовлетворяли его.

Внимание юноши привлекла толпа рабочих, шедшая с красными флагами и букетами цветов. Он подошел и спросил, куда идут. Ему на ходу ответили: «К Финляндскому вокзалу... Встречать...» Кого встречать — он не понял, но, заинтересовавшись, пошел вслед за толпой.

Шел народ, шли солдаты. Солдаты давали шаг. Юноша радостно смотрел на них: «Ишь, черти, лохмачи, ратнички милые вы мои. Хорошие... Народ поддерживали!» Вдруг показалось, что мысль набрела на что-то важное. Привычный ход мыслей возобновился, царизм свергли, хор-рошо! Царизм свергли все вместе — народ и солдаты! И впредь надо все делать вместе... Вместе! Вместе! Показалось, что именно в этом и дело, что ошибка найдена. Найдена! И как это ему раньше непонятно было? Прежде сычами жили, друг от друга, от самих себя прятались, неба не видали. Тут до слез, до спазм в горле вспомнились мгновения необычайного света и радости, когда солдаты на фронте целовались: «Долой самодержавие! Дожили! Вместе достигли!...» В этом все дело, в этом! Братцы, хорошие, милые мои! Наро-од! А сейчас опять как будто не вместе. Каждый по-своему думает.

Юноша шел взволнованный, готовый страдать, любить, действовать... Его взгляд внезапно остановился на офицере, который вел роту.

Офицер шел сутулясь и, казалось, не обращал внимания ни на людей, ни на улицу, ни даже на свою роту... Шел, выражая движением плеч, отсутствующими заплывшими глазками, равнодушно скользившими по лужам, булыжнику и тумбам, всей своей физиономией с набухшим большим носом, что ему на все наплевать. Если бы не служба, поверьте, он не вел бы сейчас роту на Финляндский вокзал...

Юноша, как загипнотизированный, не мог отвести взгляда от офицера, особенно от его лица. Нос, цвет усов, скулы, челюсти — да что же это? Да кто же это? Откуда? И вдруг понял — да это же старый режим! Багровомордые, усатые, скуластые, с желваками «узаконенного образца», рыкающие, рывкающие — городовые, становые, околоточные надзиратели, смотрители, вахтеры... Да как же так?.. Снова неразрешенный вопрос! Непостижимая ошибка опять откуда-то свалилась, сшибла, придавила. Глаза не отрывались от красного флага и шедшего рядом офицера, воплощавшего, как казалось юноше, старый режим.

Рота шла.

— Ать-ва-и-ире!

Юноша тоже, по привычке, шел в ногу. Как же так, как же так, как же так? Неужели никто ничего не замечает? А вдруг Россию спровоцировали?

Задерганный, измученный тремя годами окопной жизни человек тщетно пытался понять: что же происходит? Ведь революция!

Он уцепился за выхваченный им из всего окружающего страшный образ: красный флаг и рядом старорежимный офицер. Какая странность, неприятность! Кто-то, где-то, как-то ошибся. Несомненно, надо поправить! Сказать всем, народу: не годится, чтобы «такой» ходил перед ротой и рядом с красным флагом. Надо выйти к народу и сказать. И все будет в порядке. Разве глаз у народа нету?.. Впрочем, почему же никто не замечает?.. И снова мучительный приступ волнующих дум...

События развивались стремительно, и сложность происходившего многим была неясна. Юноше, только что вернувшемуся с фронта, было почти немислимо во всем самому разобраться.

Многие, как и он, еще не знали и не понимали, что в то время как большевики бросили в первые дни революции все силы на непосредственное руководство народом и армией, меньшевики, пользуясь этим фактом и тем, что большинство лидеров РСДРП (большевиков) еще не вернулись из тюрем, ссылок и эмиграции, опутав народ лживыми обещаниями, — захватили депутатские места в Советах. Они неверно ориентировали массы; поддерживали представителей буржуазии; уверяли народ, что буржуазная революция — истинная революция, и тем водили многих в заблуждение. Они и не помышляли о мире, которого так хотел народ. Они его обманули.

Юноша шел, не замечая хода времени, повинаясь общему движению, неотступно наблюдая за офицером.

Офицер командовал ротой подневозльно и оскорбленно: «Служба, знаете, комитет требует».

— Напра-о! Правняй-сь!

Он закурил, дав роте команду «Оправиться», но вдруг затоптал папиросу и, привычно одернув пояс, шашку и револьвер, зычно разослал команду:

— Для встре-ччи слев-ва, ш-шай, н-на кра-ул!

И только тогда юноша заметил, что он стоит вместе с толпой у Финляндского вокзала.

Солдаты держали винтовки «на караул» и, по уставу круто повернув головы, косили глазами.

Толпа заполнила всю площадь. Здесь были и матросы, и солдаты, и рабочие, и интеллигенты, и студенты, и гимназисты. Женщины принесли букеты цветов. Площадь пестрела знаменами и лозунгами, вспыхивавшими алыми пятнами в свете прожекторов. Раскрывались окна домов. Остановилось уличное движение.

— Кого это так встречают?

Наконец юноша увидел того, кого все ждали. Его вынесли на руках и бережно опустили на землю. Это был человек небольшого роста, в штатском.

Стараясь как можно скорей избавиться от всех церемоний, неизбежных при встрече, он шагнул в сторону, где стояла группа рабочих, безошибочно узнав в них своих старых питерских товарищей...

Юноша увидел, что прибывшему помогли подняться повыше. В темноте он не мог различить, что это было — трибуна или автомобиль... Потом в свете прожектора

увидел — броневик... Прибывший поднялся и одним движением, простым и естественным, снял кепку, приветствуя всех. Открылся великолепный лоб философа. Он всматривался в людей и, казалось, говорил каждому в отдельности совершенно простые, свои, ясные и вместе с тем мудрые слова.

Толпа затихла. Никто не шептался, не кашлял, не глядел по сторонам, не курил... Слушали все! Слушали из окон соседних домов. Слушали опоздавшие, взобравшись на трамвайные и фонарные столбы. Слушали, приставив ладони к ушам. Слушали, одергивая зашевелившихся. Слушали всем существом. Слушали, вникая в каждое слово. Слушали, учащенно дыша от волнения.

В скупых, совершенно понятных каждому, как бы весомых словах он открывал, потрясая сознание людей, доселе им неизвестное, сокровенное, самое важное на свете.

Люди порой погружались в глубочайшее удивление, не постигая, как это до сих пор они не додумались сами... Как просто и как верно! Понятия *правды и свободы* приобретали настоящий, отчетливый, совершенно точный смысл. Прежние неподвижные, застывшие между землей и небесами представления о боге, царе и прочем, неясные, смутные, хранимые в душе мечты о счастье и правде, — заменились законами бытия, до трепета жизнеутверждающими, повелительными и убеждающими.

Казалось, говоривший человек обнимает весь мир своей мыслью. Он устанавливал необычайно точно и ясно причины и связь явлений. Навсегда врезались в мозг и душу эти впервые услышанные глубокие слова. Первое их воздействие, первое впечатление от них было неповторимо. Людям хотелось протиснуться ближе к говорившему. Люди приходили в отчаяние, когда ветер отнес слова.

Людям хотелось под влиянием всего ими услышанного, раскрывавшего грандиозные перспективы, — сразу куда-то идти, действовать.

Теребя соседа, юноша, впервые в жизни получивший ответ на все главные, мучившие его вопросы, шептал:

— Да кто же это говорит? Кто?

— Неужели вы не знаете? **Л е н и н!**

Ленин закончил свою речь, навсегда вошедшую в историю мира, всеобобщающей формулой, советом, указанием, которое он дал людям всей силой своего гения, всей силой своей любви к народу, всем своим большим сердцем:

— Да здравствует социалистическая революция!

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАТОРЖАН

III

Поезд приближался к Севастополю... Он шел по самому берегу моря. Тьма нависала над безлюдными берегами... Проступали неясные очертания старых, знакомых мест. Возвращавшиеся с каторги матросы не роняли ни звука. От нахлынувших горьких воспоминаний больно щемило сердце... Давно-давно они не были здесь...

На берегу, у сетей — силуэты рыбаков... Тьма все гуще и гуще, — и возвращающиеся к морю погрузились в неистребимую печаль, неуходящую тоску прежних лет... Они переживали вновь ушедшие гробовые годы, им слышался гул тысяч матросских ног.

Ррах-ррах-ррах!

Они вздрагивали от окриков:

— Ать-ва-и-ире!

Вот и они — приморские низкие, окрашенные охрой флигеля флотского экипажа.

На взморье росли старые кривые деревья. Здесь вешали матросов в назиданье: чтобы не было повадно помышлять о том, о чем помышлять запрещает присяга, на кресте и евангелии даваемая.

Возвращавшиеся были недвижны. Их давила тяжесть воспоминаний. И нет сил, нет способов, которыми хоть одного из этих матросов можно было бы заставить забыть прожитые годы и ослабить нечеловеческую ненависть к их мучителям. И нет сил, нет слов, чтоб выразить их безмерную любовь к великому другу всех матросов — Ленину. За ним пошли они в 1905-м, за ним пойдут и в 1917-м!

Возвращавшиеся оцепенели... Они не узнавали берега... Им казалось, что это и Либава, и Кронштадт, и Севастополь, и Сахалин... Вдали, в бухте, окруженной

громадой гор, вдруг загорелись огни. Прожектора метались по небу, и небо над Черным морем покрылось светящимися пятнами, как при игре полярных сполохов. Низкий рев сирен стлался над морем и отдавался в горных долинах. Бухта выбрасывала все больше и больше света. С кораблей доносились зычные, настойчивые гудки. Большой сбор!

Черное море готовилось к встрече любимых сыновей — героев пятого и двенадцатого годов. Черное море помнило о «Потемкине» и «Очакове».

Поезд шел по самому берегу ревущей и сверкавшей огнями бухты.

Возвращавшиеся подались вперед, чтобы быть ближе к сверкавшей огнями бухте, к флоту, старую любовь к которому не истребило ничто.

Поезд остановился. Из вагона в свете боевых прожекторов эскадры вышли старые матросы. Встречавшие подхватили их на руки. Толпа обнажила головы.

Вернувшиеся задыхались от волнения... В взволнованной тишине были слышны их рыдания... При свете прожекторов все увидели их слезы... Толпа матросов внимала скупым словам благодарности.

Вернувшихся каторжан повели к старым местам их службы: в их экипажи и на их корабли.

Ранним утром они пошли к берегу, на скалы, на былые места тайных сходов. Там ждали их друзья — рыбаки, бывшие матросы. Они подсели к старым товарищам, перебрасываясь давнишними, полузабытыми словечками. Рыбаки воткнули в песок весла и набросили на них брезенты, чтобы солнце не палило дорогих гостей. Потом не спеша, торжественно разостлали на песке холст, придавив его крупной морской галькой, чтобы не сорвал ветер.

Гости молча сидели, вдыхая запах тины, соли, камыша. Все возвращало старым матросам их любовь, их силу, их веру...

Солнце палило. Севастополь был слепяще бел. На морской зыби чуть стукались бортами шлюпки.

Рыбаки вынули из плетеных кошелок скумбрию, помидоры, огурцы и хлеб.

Старший рыбак пригласил гостей. Чинно и осторожно сотрапезники резали хлеб. Оглянувшись по старой привычке, хотя в этом не было нужды, рыбак вынул из шлюпки бутылки вина.

Из первой бутылки наполнили чайные стаканы, вымытые в море, еще влажные и составленные «грудкой», в знак единения. Старый рыбак поднял стакан и дрожащим голосом зашел:

Оч-чаков! Бор-рэц за своб-боду-у...

Все истово, горячо подхватили...

Когда кончили пить, один из матросов сказал:

— Да будет вольный флот на Черном море!

Все повторили и выпили, блюдя обычай и уважая друг друга.

Помалу шел тихий морской разговор: когда где скумбрия шла, кто когда в поход к Анатолии ходил... И за разговором подымали стаканы:

— Да будет вольный флот на Черном море!

И свобода, и друзья, и запахи моря — все вернулось к старикам, и счастье тихо качало их.

Скалы закрывали север, а на западе вечное, в памяти навсегда оставшееся море, сливавшееся на горизонте с небом. Старики глядели на горизонт, на бухту, узнавали корабли в блеске дня, говорили об этих кораблях, безошибочно называя их имена, отмечая все внешние перемены, охваченные глазом на расстоянии целой мили. Все было нужно, важно... Они наслаждались теплым счастьем, упивались этим разговором, возвращавшим им жизнь.

— Да будет вольный флот на Черном море!

Скумбрия жирна! Капли жира стекали по пальцам, падая на гальку и испаряясь под солнцем. Скумбрия прекрасна! Вот этими руками ловлена, ешь!

— Выпьем, други! Как хорошо!

Друзья глядели на море и вспоминали дальние плаванья: Анатолию, Константинополь, Румынию, Александрию, Мальту... Имена звучные, знакомые. Море соединяет их. Друзья знали их, видели их под солнцем, раскаляющим скалы.

Гости глядели на возвращенное им море, пахнувшее, испарявшее соли в необозримые выси. Море!

Люди, хмелея (они почти забыли вкус вина), рождали планы, дерзкие и великолепные. Они не видели ни малейшей фантастики в них. Что недоступно вот этим рукам?!

Старые матросы были еще полны сил, дерзости и жажды новых опасностей. Они делились друг с другом мечтами о том, что будет, когда все страдающие на море и на земле подымутся на борьбу за свободу.

Рефракция искажала шедшие корабли. Очертания их расплывались в зное. Над скалой — греческие руины, приют уже исчезнувших контрабандистов и пиратов.

— Выпьем!

Молодой, слушавший старших, рыбак встал и, гикнув, начал танец. Все подпевали танцору.

Парень блестел от пота, сверкало его играющее тело, взбрасываясь и изгибаясь. Хо-оппа! Оп-па!

Гальки летели из-под его ног. Парень танцевал...

Гуляют сегодня черноморцы!

Друзьям мало берега. Им тесно. Им нужно море. Темные руки подняли черную смоленую шлюпку и бросили ее на воду. Шлюпка качалась, как все в этот день. Дай море!

Друзья скоро пойдут в белых рубахах с синими воротниками на серьезное дело... А сейчас не мешай! Дай море!

Шлюпка вырвалась из бухты. Весла гнулись и скрипели... Как хорошо, оказывается, грести! Почему раньше было трудно?.. Друзья, горячие, как камни на берегу, навалились на весла. Смола, размягченная солнцем, одуряюще сладко пахла. Шлюпка ушла в открытое море.

Опьянев от хода шлюпки, от крика чаек, от блеска стремительных дельфинов, от простора, — матросы громко, во всю силу глоток кричали «ура» в честь моря. Тогда один очаковец, переполненный счастьем, поднялся на нос шлюпки, готовясь во всем как есть броситься в море. Друзья держали его за руки, целовали, стараясь успокоить, усадить... Но очаковец, плача и смеясь, оттолкнул их и закричал. полусерьезно:

— Прочь, не мешать!..

Люди в шлюпке, бросив весла, смеялись и шумели от избытка сил.

Очаковец опять поднялся и, окинув все быстрым, — чтоб навсегда запомнить мгновенье, — взглядом, полетел в море.

— Дай море! Наше море!

Он рассекал воду, и брызги, разлетаясь, сверкали на солнце.

— Го-гоо!..

Друзья гребли, догоняя очаковца и восторгаясь им.

— Море, наше море! Нам тут — может завтра — драться придется... Ночью будем перебрасываться, куда надо...

— Разве мы не понимаем, сколько еще дел...

— Зови нас, Революция! Зови нас, товарищ Ленин!

— Навал-лись!

Шлюпка на берегу...

Солнце зашло...

Друзья распластались на песке у костра. Поднялся и зашумел ветер. Кончался день, второй счастливый день в их жизни!

Бесшумные парусники, неся красные и зеленые огни, шли в гавань.

Друзья убирали шлюпку. Они любовно скребли и терли ее, вкладывая в работу все свое умение. Укладывали концы, вычерпывали воду, складывали и убирали брезенты. Все движения так отчетливы и легки. И снова — радостное удивление: как хорошо все делать без принуждения, когда ты свободен!

Золотые руки у матросов! Эти руки сумеют сделать все на свете... Все будет наше!

IV

Мы идем легким, стремительным шагом. Это новый шаг — шаг Красной Армии! Земля поет под нашими ногами...

У нас избыток сил! В нас через край хлещет энергия мира! Мы впитали в себя весь гнев угнетенных народов... Старый мир трепещет перед нами!

Страх и смерть не существуют для нас!

Мы молоды!

Это мы — творцы прекраснейшей из революций. В боях мы обрели справедливую, свободную жизнь — жизнь победоносную, торжествующую, яркую, брызжущую солнцем! Она в наших руках, в руках лучших бойцов мира — бойцов-созидателей.

Ленинград — Москва
1929—1939 гг.



СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Год 1912-й. Глава первая	
I. Санкт-Петербург	15
II. Павловск	73
III. Усадьбы империи Российской	86
Год 1913-й. Глава вторая	
I. Новобранцы	105
II. Кронштадт — эскадра	140
Год 1914-й. Глава третья	
I. Убий!	184
II. Объявление войны	188
Год 1915-й. Глава четвертая	
I. Тысяча девятьсот пятнадцатый год	214
II. В Галиции	216
III. Галицийская битва	229
IV. Отступление	236
V. Окопы	238
VI. Маршевые роты	252
VII. Бунт	262
Год 1916-й. Глава пятая	
I Стоход	274
II. Госпиталь	305
Год 1917-й. Глава шестая	
I. Мертвый лес	316
II. Весна 1917 года	325
III. Возвращение каторжан	346
IV	350

Редактор *А. М. Колесень*

Художник *О. Е. Бабиц*

Технический редактор *Т. Ф. Мясникова*

Корректор *Д. М. Милицина*

Сдано в набор 8.05.56 г. Подписано к печати 24.08.56 г.
 Формат бумаги 84 × 108^{1/32} — 11 печ. л. = 18,04 усл. печ. л. +
 + 1 вкл. ¹/₁₆ печ. л. — 0,103 усл. печ. л. 17,783 уч.-изд. л.
 Г-24195.

Военное Издательство Министерства Обороны Союза ССР
 Москва, Тверской бульвар, 18.
 Изд. № 1/8906. Зак. 890.

1-я типография имени С. К. Тимошенко Управления Военного Издательства
 Министерства Обороны Союза ССР

Цена 6 р. 35 к.

6 p. 35 к.

260

359

6